

Юлиан Семёнов

ТРЕТЬЯ КАРТА (ИЮНЬ 1941)

1. ГАННА ПРОКОПЧУК (I)

Женщина медленно шла по городу, который теперь был другим, несмотря на то что по-прежнему синяя дымка стояла над Монмартром и сияли на жарком июньском солнце купола храма («Боже мой, ведь здесь все было другим год назад, всего триста шестьдесят пять дней назад!»), и речь горожан, как и раньше, казалась беззаботной из-за того, что французы умеют смеяться над своими слезами.

Женщина свернула в маленький парк Монс Элизе. Тяжелые балки солнечных лучей чернили пыльную листву платанов. Раньше здесь всегда слышался гомон звонких детских голосов, и Ганна любила приходить сюда и сидела, закрыв глаза, и ей казалось, что сейчас, вот-вот сейчас, на колени вспрыгнет Янек, обовьет ее шею своими теплыми руками, а затем подбежит младший, Никита, станет отталкивать Янека, сопеть курносым своим носиком и потом заплачет: если ему что-то не удавалось сразу, он всегда плакал так горько и безутешно, что сердце разрывалось.

Но сейчас в парке детей не было, и никто не прогуливал пуделей на зеленых газонах, и старушки с седыми волосами не сидели с вязаньем на острых коленях, и юноши не играли в свои странные металлические шары – таких игр никогда не было в Польше. Пусто было в парке и тихо, одно слово – оккупация...

«Только бы снова не думать об этом проклятом «зачем», – испугалась Ганна. – Так можно сойти с ума. Да, я идиотка и последняя дура, да, я поступила глупо, преступно, но нельзя все время думать об этом, нельзя постоянно казнить себя – тогда я лишусь сил и уж ничего не смогу сделать».

Ганна заплакала, потекли быстрые слезы; она увидела себя со стороны, открыла сумочку, достала платок, высморкалась («Никитка так же сморкается – жалостливо»), поглядела в маленькое зеркальце на покрасневшие веки, припудрилась, подвела ресницы и подставила лицо жаркому, пепельному солнцу.

«Нельзя приходить туда с зареванным лицом, – сказала она себе. – Я должна выглядеть красивой. Чиновники помогают только привлекательным женщинам. Они не любят опустившихся просительниц и боятся истеричек. Все чиновники хотят быть дипломатами, они мечтают на раутах с послами болтать, они о фраках мечтают и фэйф-о-клоках... Это архитектура помогла мне понять людские характеры, – удивилась своей мысли Ганна. – А ведь это так, действительно это так. Легкость и красота стекла, алюминия и бетона не просто облегчают конструкцию – они облегчают жизнь, потому что делают ее красивой. Корбюзье прав: архитектура – главный воспитатель человечества; если людей «обречь» на красоту вокруг них, они станут лучше, они не смогут поступать так, как поступают, когда живут в каменных казематах, где нельзя двигаться свободно, и видеть свое отражение, и чувствовать солнце, постоянно чувствовать солнце... Будь проклята эта моя архитектура и мои солнечные города – кому они нужны сейчас? Мне нужны мои маленькие, их сердитое сопение, когда они лезли ко мне на колени, отталкивая друг друга, мне нужно босое шлепанье их ноженок, когда они кралась ко мне по утрам, высунув свои розовые языки от страха, счастья и напряжения, – только бы не разбудить

меня, только бы прыгнуть ко мне на кровать, и залезть под одеяло, и уткнуться своими курносыми носенками мне в уши, и замереть счастливо... Ой, сейчас я снова заплачу, а через полчаса надо быть там, а зареванной бабе обязательно откажут, и я сойду здесь с ума, в этом тихом, пустом и теперь уже чужом городе...»

Среди русских и украинских эмигрантов ходили слухи, что редактор «Парижского вестника» Богданович создает особый отдел, который будет помогать с пропусками, чтобы люди могли вернуться в те места, откуда их разметало за последние два года войны.

Ганна решила пойти к Богдановичу: хоть он русский, а не поляк, но все же он должен понять ее лучше, чем немец, да и язык немецкий она знает слабо: а французские чиновники лишены всякой силы – выполняют лишь то, что им предписывают оккупационные власти.

В редакции, которая помещалась на Ваграме, Ганну принял секретарь редакции Сургучев, участливо выслушал ее просьбу, попросил подождать в приемной, предложив почитать газету.

– Господин Богданович освободится через десять минут. Как это по-украински, – улыбнулся он, – будь ласка? Так, кажется? Будьте ласка, обождите его здесь.

Ганна поблагодарила его такой же, как у него, обязательной воспитанной улыбкой и раскрыла газету. Машинально, наметанным глазом человека, который умел создавать формы, она отметила, как нелепо сверстаны полосы – полное нарушение пропорций. Она всегда чувствовала пропорцию и свет. Ее проекты получали первые призы на международных конкурсах архитекторов в Гааге и Париже, поэтому-то она и приехала в Париж из Варшавы, бросив Ладислава и мальчиков, из-за того, что Ладислав сказал ей тогда: «Или мы, или твоя работа», – и нет ей прощения, потому что надо было согласиться с ним, и мальчики тогда были бы рядом, и ничего ей больше не нужно, только б чувствовать их подле себя. Ладислав мог не понимать ее, даже обязан был ее не понимать, ведь никогда еще и никто не мог по-настоящему понять друг друга: мужчина – женщину, женщина – мужчину, и ей надо было смириться с этим, а она решила тогда, что мальчики, повзрослев, поймут ее правоту, и вот теперь она должна сидеть в этой душной, маленькой приемной, читать газету, которая сделана безвкусно, с нелепо громадным подвалом какого-то Монастырева о «великом идеологе национал-социализма, выдающемся трибуне и борце докторе Геббельсе», и стараться найти логику в статье полковника Карташова. Ганна стала читать шепотом, чтобы ей были понятнее русские слова – лишь произнесенное слово делается по-настоящему твоим: «Не дай вам бог сказать о поджигателях войны, что это масоны. Помилуйте, все наши «передовые» гг. Милюковы, Бунины и Осоргины начнут травить вас общественным презрением как мракобеса! Но мы не боимся этих кличек и заявляем, что войны нужны только большевикам, евреям и масонам, войну поджигают масоны, и ведут ее только одни они!»

– Госпожа Прокопчук? – Ганна услышала за спиной негромкий голос. – Вы хотели видеть меня?

– Здравствуйте, господин Богданович. Благодарю за то, что у вас нашлось для меня время.

– По-русски вы не говорите? Я плохо понимаю вашу мову...

– Я не знаю никакой мовы, – резко ответила Ганна. – Я знаю свой язык – украинский... Может быть, мы объяснимся по-польски?

– Нет, нет, ляхов я тоже не понимаю. По-немецки?

– По-французски, пожалуйста.

Богданович чуть поморщился:

– Ну что же, давайте по-французски. Что вас привело ко мне? Я в свое время читал о ваших солнечных городах... Вы ученица Корбюзье?

– Да.

– Рождены в России?

- Нет. Я родилась в Кракове, а потом жила в Варшаве.
- Варшава – русский город. Он входил в состав империи, – заметил Богданович. –

Итак?

– В Кракове остались мои дети. Семья... Я бы просила вас помочь мне вернуться туда. Мальчикам нужна мать, особенно в такое тревожное время...

– Вы правы, вы правы, госпожа Прокопчук. Мать нужна детям всегда, а особенно в трудное время. По национальности вы...

- Украинка. Польская подданная.
- Ваш муж?
- Лесной инженер Ладислав Стахурский...
- Поляк?
- Да.

– А почему вы пришли к нам, госпожа Прокопчук?

– Мне казалось, что...

– Что вам казалось? – Богданович начал ставить вопросы быстро, словно он допрашивал женщину. – Что вам казалось?

– Мне думалось, вы, как славянин, сумеете понять меня...

– Мы занимаемся русскими, госпожа Прокопчук. Только русскими. Если бы вы были русской подданной, мы бы завели на вас карточку и вошли в сношение с немецкими властями.

– К кому я могу обратиться, господин Богданович? Посоветуйте мне, пожалуйста...

– Когда мы обращались за помощью к украинцам, они не считали своим долгом помогать нам советом, госпожа Прокопчук.

– Я обращаюсь к вам как мать...

– В наш век, увы, следует разграничивать и это понятие.

– Матерь божия была одна, – оказала Ганна, чувствуя, что сейчас снова заплачет. –

Разве можно в чем-либо винить матерей?

Богданович озлился, лицо его снова как-то неуловимо дрогнуло.

– Тех, которые оставляют своих детей, да.

Ганна поднялась – резко, словно ее ударили:

– Мне казалось, что в газете работают интеллигентные люди.

– Вы не ошиблись. Интеллигентные люди имеют право и обязаны отстаивать свою точку зрения. Повторять общепризнанное – удел черни. У вас все?

– Да. У меня все. Я хочу сказать вам на прощание, что бог накажет вас за вашу черствость, господин Богданович.

– Мне отмщение, и аз воздам. – Богданович тоже поднялся, после того как цепко и ернически оглядел фигуру женщины. – Честь имею.

Ганна шла к выходу, чувствуя на спине, шее, ногах, на волосах, уложенных без этого омерзительного, ставшего модным перманента, неотрывный взгляд Богдановича.

«Сейчас он окликнет меня, – подумала женщина, взявшись за медную холодную ручку, чересчур дорогую и вычурную на плохо окрашенной, потрескавшейся двери, – я знаю, что он сейчас скажет».

– Госпожа Прокопчук... – Богданович кашлянул негромко.

– Да, – ответила Ганна, не оборачиваясь.

– Вы можете оставить свой телефон. При случае я постараюсь обговорить ваш вопрос с немецкими властями.

Ганна медленно повернула голову, и взгляды их встретились.

– Я оставлю мой телефон представителю немецкой власти, – ответила Ганна, – мне не нужны посредники.

Богданович усмехнулся:

– Как знаете. Во всяком случае, принимая решение, они обратятся ко мне за консультацией.

– Так ведь я украинка...

– Как же, как же... Но украинского отдела в Париже нет, слава богу. Так что решайте. Мне, во всяком случае, было бы любопытно навестить вас.

... Два года назад, когда Ганна решила принять приглашение, пришедшее из Парижа, и уехала от Ладислава и мальчиков, муж сказал, что будет считать ее отъезд окончательным разрывом, и она устало согласилась с этим, потому что бесконечные ночные разговоры (попытки объяснить ему, что едет она не из-за прихоти и не потому, что ищет каких-то новых ощущений, а лишь по необходимости работать) до того утомили обоих, что стало ясно – прежнее, привычное, принадлежащее только им двоим кончилось, ушло безвозвратно.

В Париже она находила вначале счастье и спокойствие в творчестве: работала в огромной архитектурной мастерской, и проекты ее вызвали восторг у коллег. С первого гонорара она отправила деньги в Краков и письмо Ладиславу – доброе, грустное, с просьбой приехать с мальчиками в Париж. Считала дни, раскрашивая их в разные цвета. Она верила, что каждый день недели имеет свой особый цвет: суббота – это обязательно густая зелень с проблесками легкой и яркой желтизны; среда – день перелома, предтеча субботы, резкие оранжевые линии; воскресенье – это грустный день для тех, кто творит, а не работает, и для Ганны это был самый плохой день, ибо он отрывал ее от постоянной увлеченности делом, а она еще не имела достаточно денег, чтобы снять себе мастерскую, оборудовать ее и работать по воскресеньям – тогда бы и этот день был зеленым, ведь нет ничего прекраснее зеленого цвета, потому что это весна, или июньское лето, и тишина, и пение птиц – невидимых, но близких.

Через две недели, когда четырнадцать листов бумаги были закрашены ею в цвета счастливого ожидания, из Кракова возвратились деньги – без какого-либо объяснения. В тот же вечер она ужинала с коллегами и после уехала с Мишелем Шенуа к нему, в Иври. На рассвете она тихонько поднялась с кровати и попросила Мишеля не звонить до понедельника. Она поехала на телеграф и отправила телеграмму в Краков: «Если хочешь, я вернусь». Но и на эту телеграмму Ладислав не ответил. И тогда у Ганны началась странная, пустая, обреченная жизнь – по ночам и счастливая, отрешенная, испепеляющая – днем, в мастерской.

Мишеля она больше видеть не хотела, потому что он был чем-то похож на Ладислава: такой же большой, нескладный, обидчивый – она боялась увлечься им; ведь если в браке прожито десять лет, тогда это накладывает отпечаток на все последующее: привычка – вторая натура.

Ганна хотела уйти от себя, от прежней Ганны, она хотела, чтобы разум ее освободился от постоянной тоски.

Она знала, что мужчин к ней влекло право, завоеванное ею, редкостное у женщины право свободы поступка. Она видела, что здесь, у них в мастерской, женщины рассматривали мужчину как свое будущее, как гаранта своего, и это мужчин пугало, потому что люди жили какой-то шальной, странной жизнью, быстро влюблялись, так же быстро расставались с любовью или с тем, что любовью казалось, ибо ощущение тревоги было постоянным, и каждое утро – рассветное, серое, сумеречное, солнечное, счастливое, тяжелое, – любое утро было таким неизвестным, что будущее становилось явным, лишь когда чрезмерно бодрый диктор парижского радио начинал читать сводку последних известий, – «слава богу, еще один день без войны».

А когда утром первого сентября Ганна подошла к приемнику, повернула белую кругляшечку и бодрый голос диктора сообщил, что сейчас Гитлер бомбит Варшаву, она странно посмотрела на человека, который лежал в ее кровати, курил, тяжело затягиваясь черным «Галуазом», и спокойно, как о ком-то другом, подумала о себе: «Вот и пришло ко мне

возмездие. Вот и остались Янек с Никиткой одни. А я дрянь. И все мои проекты – ерунда, потому что все уже давно шло к тому, чтобы разрушать, а не строить».

Она тогда заварила кофе, очень крепкий, сама пить не стала – горло все время перехватывала спазма; смотрела на своего приятеля задумчиво, отстраненно, а на прощание сказала ему:

– Знаешь, у тебя уже нет лица. На меня смотрит череп.

В их архитектурной мастерской, однако, жизнь продолжалась такая же, как и прежде: сыпались заказы из Америки, Бразилии, Аргентины и Мексики; по вечерам мужчины (многие из них ждали призыва и уже загодя ходили в полувоенной форме – это было модно) разбирали женщин (которые теперь по-другому смотрели на них – война заставляет иначе любить тех, кто будет защищать тебя с оружием в руках) и разъезжались по кафе, которые были открыты так же, как и в августе, только на окнах появились черные шторы светомаскировки.

Ганна теперь никуда не ездила: все свободные часы и дни она просиживала в организациях Красного Креста, в американском консульстве, в японском посольстве, стараясь получить разрешение на въезд в Польшу, но нигде и никто не мог помочь ей или, быть может, не хотел. А потом в швейцарском отделении Красного Креста молоденький, очень нервный и быстрый клерк, маленького роста, с обезьяньим лицом, предложил Ганне поужинать, и тогда, добавил он, «мы поговорим о вашем деле более подробно».

Он увез ее к себе, и Ганна, с трудом скрывая отвращение, осталась у него, а через два дня, когда она пришла за пропуском, ей сказали в представительстве, что Пауль Фроман срочно уехал в Берн в связи с болезнью его ребенка и вернется, видимо, не раньше чем через три месяца.

«Кому же верить? – думала сейчас Ганна, вернувшись в пустой Монс Элизе. – Кого просить о помощи?»

Она вспомнила прыгающее лицо Богдановича, его быстрые пальцы, и чувство омерзения овладело ею.

«Да, – решила она, – надо идти к немцам. Больше не к кому. А если и они откажут, я пойду пешком на границу, я не знаю, что стану делать, но только я должна все время что-то делать, иначе я сойду с ума».

И впервые вдруг она разрешила себе услышать тот страшный вопрос, который родился в ней в день бомбежки Варшавы: «А что, если их уже нет, моих мальчиков? Что, если я осталась одна?»

И этот второй вопрос показался ей таким страшным, что она ощутила **тяжкую** брезгливость к себе, как в ту первую ночь, когда поехала к Мишелю и легла в его широкую, холодную и скрипучую кровать с синим балдахинном, наивно полагая, что отречение от прошлого принесет избавление в будущем. Можно отринуть любимого или врага – нельзя отвергнуть самого себя, и невозможно забыть прошлое.

...В таинственной и непознанной перекрещиваемости человеческих судеб сокрыто одно из главных таинств мира.

Отец Исаева-Штирлица, профессор права Петербургского университета Владимир Александрович Владимиров, уволенный за свободомыслие и близость к кругам социал-демократии, был женат на Олесе – дочери ссыльного украинского революционера Остапа Никитовича Прокопчука.

Там же, в Забайкалье, родился у них сын Всеволод.

Отбыв ссылку, Остап Никитович Прокопчук с сыном Тарасом вернулся на Украину, а потом, опасаясь нового ареста, переехал в Краков. Здесь, в Кракове, Тарас женился на голубоглазой, черноволосой Ванде Крушанской, и накануне первой мировой войны у него родилась дочь Ганна.

Остап Никитович и Тарас написали в Петербург письмо, сообщая Владимиру Александровичу Владимирову, что у Всеволода появилась двоюродная сестра, но письмо это адресату доставлено не было, потому что Владимиров с сыном в это время был в швейцарской эмиграции.

А потом началась война, свершилась революция, и лишь тогда двадцатилетний Всеволод Владимиров, не Максим Исаев еще, а уж тем более не Штирлиц, узнал от члена коллегии ВЧК Глеба Ивановича Бокия, что есть у него в Польше сестра Ганна, оставшаяся сиротой – Остап Никитович погиб в пятнадцатом году, а сына его, Тараса, расстреляли в восемнадцатом. Найти девочку и привезти ее в Россию он не мог: режим Пилсудского зорко следил за восточными границами Речи Посполитой и никого в красную Совдепию не пускал, украинцев тем более.

Мать Исаева-Штирлица, Олеся Остаповна, умерла, когда мальчику было пять лет, – скоротечная чахотка в сибирской ссылке многих свела в могилу. Он помнил только теплые руки ее и мягкий украинский говор – тихий, певучий, нежный.

Глеб Иванович Бокий однажды пошутил:

– Плохой ты хохол, Владимиров, песен наших не знаешь.

– Я знаю, – ответил тогда Всеволод, – я помню две мамины песни, только мне слишком больно вспоминать их...

...А потом он перешел на нелегальное положение, и с двадцать второго года жил за кордоном, и не мог знать, что сейчас люди в таких же черных мундирах, какие носил и он, готовили в Париже двоюродной сестре его Ганне Прокопчук участь страшную, но по тем временам типическую, ибо в раскладе национальной структуры гитлеризма понятие «славянство» было не расчленимо на составные части русского, украинского, белорусского, сербского или польского: речь шла о тотальном уничтожении культуры, семени и крови этого единого племени.

И если бы литератор или историк был вправе озадачить себя раздумьем, мог ли в те дни, накануне самого страшного в истории человечества сражения, брат Ганны Прокопчук помочь ей – допустив на миг возможность такого рода помощи, – то ответ определенный никто дать бы не смог, поскольку подчиненность частного общему, как жестоко она ни проявляет себя, существует и опровергать ее не гуманно. В этом нет парадокса, ибо риск во имя сестры был бы отступничеством по отношению к ста пятидесяти миллионам сограждан, которым он, Штирлиц, служил по закону долга – не приказа.

2. ПРЕАМБУЛА (11 ИЮНЯ 1941 ГОДА, БЕРЛИН)

Когда слуга легким движением рук взял со стола пустые кофейные чашки и, ступая неслышно, вышел из каминной, адъютант Гейдриха штандартенфюрер Риче подвинул Узнеру, начальнику отдела III-A шестого управления РСХА, карлсбадскую пепельницу, полюбовался диковинными гранями сине-красного тяжелого стекла и несколько удивленно заметил:

– Подумать только, в истоке этой прозрачности – обычный песок. Впрочем, трибун начинается с беззащитного писка младенца, а у истоков красоты атлета – звериный вопль роженицы... Можете курить.

– Благодарю, штандартенфюрер.

– Так вот, я продолжу мое размышление вслух... Кампания на Востоке ставит перед нами совершенно новые задачи. Армия после побед во Франции, Норвегии и Югославии заняла исключительное положение в обществе – героев недавних боев наш гитлерюгенд знает теперь лучше, чем ветеранов движения. После того как мы сокрушим большевизм, армия может оказаться самой серьезной силой в рейхе, сильнее СС, нас с вами. Поэтому задача, с моей точки зрения – я хочу подчеркнуть: с моей точки зрения, – будет заключаться в

том, чтобы постепенно привести на ключевые посты в армии наших людей. Для этого мы должны быть готовы предпринять определенного рода шаги. Надо доказать обергруппенфюреру Гейдриху, который раним и доверчив, что ОКВ[55] проводит свою политику, особую политику, эгоистическую. Как это сделать? В основном бить нельзя, это несвоевременно сейчас, ибо нам предстоит война. Щелкнуть надо в мелочи – это выгоднее по целому ряду причин. Во-первых, это самый болезненный и самый неожиданный щелчок. Во-вторых, такого рода щелчок оставляет путь для компромисса, если в нем возникнет необходимость. Я предлагаю обсудить возможность нанесения нашего щелчка, используя группы оуновских[56] уголовников – абвер давно работает с этими головорезами.

Они поняли друг друга без разъяснений: Риче хотел начать свое дело, чтобы выделиться. Приглашая к сотрудничеству Узнера, он и ему давал такую же возможность.

...Узнер побеседовал со своим помощником Айсманом в тот же вечер.

Работоспособность Узнера была поистине фантастическая: он успел цепко просмотреть справки по оуновской агентуре, отделил все ненужное и углубился в изучение досье на трех националистических лидеров – гетмана Скоропадского, Андрея Мельника и Степана Бандеру. Потом он пробежал материалы, собранные на их ближайших сотрудников, друзей и доверенных лиц, которые зарекомендовали себя как надежные и ловкие агенты гестапо, неоднократно проверявшиеся отделом Мюллера. После того как Узнер понял, «кто есть кто», и прикинул комбинацию, в которой этим «кто» отводилась роль слепых исполнителей, он записался на прием к Шелленбергу.

Выслушав Узнера, бригадефюрер Шелленберг сказал задумчиво:

– Украина исчезнет с карты мира. Национализм славян с точки зрения нашей расовой теории – это бумажный носовой платок, который, используя, выбрасывают. Конечно, сейчас следует соблюдать такт и позволять ОУН надеяться на создание государства. Но вы-то прекрасно понимаете, что вне славянского мира Украина существовать не может, а великая идея фюрера предполагает исчезновение славянства с карты мира... Однако играть сейчас, использовать их в этот период мы обязаны – смешно отказаться от услуг ассенизаторов. Мелюзга – они очарованы великим.

Закурив, Шелленберг откинулся в кресле.

– Это все, – закончил он, и быстрая улыбка мелькнула на его тонких губах, казавшихся сломанными из-за постоянной печати сарказма, таившейся в них.

Той же ночью адъютант Гейдриха пригласил к себе помощника шефа гестапо Мюллера.

Помощник Мюллера вызвал из Кракова оберштурмбанфюрера Дица и поручил ему практическую реализацию приказа.

А Шелленберг вызвал Штирлица. Через несколько минут секретарь доложил бригадефюреру, что Штирлица в РСХА уже нет, но и домой, в Бабельсберг, он еще не приехал.

– Позаботьтесь, – сказал Шелленберг, – чтобы в понедельник он был у меня ровно в девять часов.

3. СТАРЧЕСКИЕ ЗАБОТЫ (13 ИЮНЯ 1941 ГОДА, БЕРЛИН)

– Политик вроде писателя, – прокашлял Скоропадский, посмотрев на телефонный аппарат с ненавистью. – Это ты потом поймешь, как повзрослеешь, сейчас еще рано. Тебе сорок, а в эти годы только гений становится истинным писателем. Тебе еще жить да жить, пока разумом дойдешь до того, что гению открыто с рождения.

Омельченко согласно кивнул, но глаз от телефонного аппарата не отрывал – настаивал, сукин сын, чтобы гетман позвонил секретарю Геринга еще раз. Ни вчера, ни позавчера

старика с этим оберстом люфтваффе не соединили: «Эншульдиген, майн герр. Занят». Секретарь – он и есть секретарь: змей, нелюдь, одним словом.

– А что ж ты не спрашиваешь меня? – внезапно рассердился Скоропадский. – Чего не пытаешь: почему, мол, похожи писатель с политиком? Только вроде тарана я вам всем нужен, как генерал на свадьбе...

– Гетман, зря вы гневаетесь, право слово, – время дорого.

– А я про что думал, когда начинал разговор? Не об этом, что ль? Об том же, милый. Я вон свои фотографии посмотрел, когда молодой был, – мурло и есть мурло. Ей-ей. Хавало. Лепти кабан. А время эк пообтерло! Время и враги. Сейчас гляжу на себя и диву даюсь: благообразен до неприличия. Горилку пить нельзя, дамы интересуют только в роли массажисток, вот и остается одно – думать. А разве у писателя не так же? Если какой доживет до старости, тогда только и станет делу служить, а не себе самому. – Гетман приблизил свое породистое лицо, выбритое до кремового глянца, к Омельченко и неожиданно перешел на хриплый шепот: – А геринговский секретарь молод. Молодой он, на него надежды нет, ему еще конец не видится. А каково мне унижения терпеть от него? Мне, Скоропадскому?! Раньше-то, знаешь...

Скоропадский оборвал себя, потому что он хотел сказать о старом канцлере, о Гинденбурге, который принимал его и завещал внимание к гетману, рассчитывая впоследствии использовать, и бонзы Геринга поначалу бывали в доме Скоропадского, но потом чем больше побед одерживал рейх, тем надменнее делались оберсты и генералы, тем снисходительнее они были к гетману. Сначала Скоропадский думал, что это неосознанно в них, но потом ему показалось, что именно таким образом все эти мальчишки в погонах хотят провести границу, перейти которую невозможно, ибо снисходительность пострашнее вражды и любой интриги, поскольку в ней обиднее всего сокрыто понимание твоей ненужности.

Вчера, после очередного звонка в приемную рейхсмаршала, Скоропадский неожиданно похолодел от острого приступа ужаса. Он четко разделял свои чувствования: страх он познал в молодости, он теперь ничего уж не боялся – годы не те; страшатся только молодые и несостоявшиеся. Ужас – это категория другая, старческая, в ней есть нечто от бездны, от безответности: «Помру, а что потом? Тьма и безмолвие?» Именно размышления о конце, который неумолимо приближался, были связаны в представлении Скоропадского с ужасом. Он вчера не сразу понял, отчего холодный ужас родился в нем, но потом, поняв, трясущимся пальцем («Завтра же к невропатологу, – машинально решил он, – в старости безо всего можно жить, только без здоровья нельзя») набрал номер Канариса и попросил аудиенции. Тот справился о здоровье, поинтересовался, по-прежнему ли гетман выдерживает пять сетов на корте, но принять старика отказался, сославшись на чрезмерную занятость и предстоящий вскоре вылет «по делам».

Скоропадский долго сидел у аппарата с закрытыми глазами, а потом вызвал машину и поехал в РСХА. После двух часов унижительного ожидания его принял Шелленберг.

– Генерал, бога ради, откройте правду, – попросил Скоропадский, отказавшись от предложенного кофе. – Данила поехал по Европе с вашей санкции?

– Мы не даем санкций, – улыбнулся Шелленберг. – Мы даем рекомендации. Санкции дает аппарат партии.

Скоропадский испытал жалость к себе, ощутив (а особенно остро ощущают только безвозвратно утерянное) молодость этого самого юного, тридцатилетнего, генерала СС и свою одинокую старость, вспомнив былую молодость, которая всегда жестока к старикам, и смежил веки, словно бы не удержав налитой их тяжести.

– Вы в ссоре с сыном, – скорее утверждающе, чем спрашивая, сказал Шелленберг. – Иначе Данила, как добрый сын, успокоил бы вас: он поехал, учитывая интересы не только вашего националистического движения, но и тех, кто вас традиционно поддерживает.

«Значит, не всегда жестока молодость, – облегченно вздохнул Скоропадский, – зря я так о нем сразу. Понял отца, успокоил».

Вчерашний ужас он пережил оттого, что, получив вторичный отказ от секретаря Геринга, подумал: а вдруг сын Данила, разругавшийся почти со всеми прежними друзьями, решил изменить курс? Зря в Лондон, Мадрид и Вашингтон не собираются... Такое не скроешь, да и «друзья» не дадут скрыть: всякие там Красновы, Бискупские, Граббе не преминули бы немедленно простучать по знакомым адресам. Они все от зависти стасканы грызут, им всем приходится просить у здешней власти, и лишь он, гетман, ничего ни у кого поначалу не просил, потому что вывез после революции из Киева икон, золота и картин музейных на три миллиона марок. «Я борец за белую идею, – часто говаривал он, – а те – наймиты, те – служат!»

«Что ж я себе-то так лгу?» – подумал Скоропадский, вспомнив давние свои слова, и изумился этой неожиданной мысли; а может быть, не столько он мысли этой изумился, сколько тому, что поймал себя на лжи: раньше он жил отдельно от лжи, пропуская ее мимо, не фиксируя на ней внимания, принимая ложь как некую объяснимую и понятную необходимость; и лишь сейчас, испытав ужас, а после облегчение, и легкость, и слезливую любовь к бешеному норовом сыну, он понял, что все эти долгие годы с девятнадцатого, когда ему еще и пятидесяти не было, до нынешнего, когда пошел восьмой уже десяток, он постоянно лгал себе, осознанно лгал. Он понял, что чаще всего эта мысль о лжи приходила к нему на теннисном корте, на охоте или утром, после ночи, проведенной с какой-нибудь здешней аристократкой. Но тогда он пропускал эту мысль мимо, потому что днем начинались дела: он консультировал гестапо, помогал абверу, проектировал для Розенберга, выступал на антикоммунистических митингах, он был «гетманом самостийной Украины, попранной большевиками». Однако по прошествии нескольких лет, а особенно, когда погиб Петлюра (и он познал мстительную радость и утратил эту свою радость, ибо погиб не просто враг его личный, а все же союзник против Советов, и он понял всю мелкость своей мстительной радости, и это испугало его и потрясло), он вдруг признался себе, что никакой он не гетман и что гетманство его зависит от тех, кому это выгодно в Европе, и определяется расстановкой сил в здешних парламентах, рейхстагах, сенатах и сеймах, рассматривающих его как фишку, которую можно двигать как хочешь, а нет нужды – так сбросить на пол.

Царский генерал, говоривший по-украински с акцентом, Скоропадский, представляя интересы украинских землевладельцев, использовался поначалу петербургским двором как некая декоративная фигура от помещичье-кулацкой Малороссии; он понимал это и не претендовал на свою линию – он исполнял то, что ему предписывали сверху. Однако здесь, в эмиграции, он с первых дней подчеркивал свою гетманскую особость и негодовал на себя, багровея, когда забывался, и начинал в кругу друзей говорить по-русски: Берлину нужна была, как некогда Санкт-Петербургу, сановитая «украинская» фигура – выскочки от политики нуждаются в титулованных, это льстит их самолюбию.

Скоропадский запрещал себе думать про то, что он, именно он, гетман Скоропадский, виновен в гибели Петлюры. Он-то знал, как все делается. Он тому еврею, который Симона пристрелил, нагана в руки не совал, в глаза его не видел, а попался б тот в доброе время – заporол бы нагайками. Нет, он убил Петлюру иначе, убил, разрешив печатать про него правду; разрешил, рассказав о зверствах Петлюры в том кругу, откуда идут **каналы** к газетам. Он мог бы защитить Петлюру в прессе – как-никак гетман должен быть выше всех добротой, должен уметь прощать, – но он хранил молчание, а когда разные **юркие** говорили, что Петлюра позорит самостийное движение, Скоропадский не возражал, как следовало бы, а вздыхал и сокрушенно разводил руками.

Впервые после долгих лет мстительной радости Скоропадский испуганно подумал слитно о себе, о Петлюре, сгнившем уже в жирной и сырой парижской земле, о своих немецких хозяевах и покровителях. Когда Гитлер расстрелял своих ближайших друзей –

Эрнста Рема и Штрассера, адъютант Рема ночевал у Скоропадского – гетман гордился этой дружбой, часто повторял, что «Рем понимает его, как никто другой, а Рем – второй человек империи». Узнав о расстреле Рема, гетман, хватив для храбрости стопку водки, отправился к секретарю рейхсмаршала.

Тот сказал сухо, подчеркнуто сухо: «Борьба есть борьба».

А давеча, у Шелленберга, когда ужас ушел, но появилась гнетущая усталость, Скоропадский, потеряв контроль над собой, сказал:

– Я решил было, что помощник рейхсмаршала не хочет говорить со мной из-за Данилы, два раза к нему звонил. Я было подумал, что Данила решил в самостоятельность поиграть...

– Ну, мы бы ему этого не посоветовали, – заметил Шелленберг и добавил, ожесточившись отчего-то: – Не дали бы мы ему, гетман. Так что спокойно звоните секретарю рейхсмаршала: у нас сейчас много дел, поэтому вам приходится так долго ждать.

«Что ж ты мне о делах правду не говоришь, милый? – подумал Скоропадский. – Об этих ваших делах Бандера с Мельником знают, а гетман вроде бы лишний?!»

...Омельченко снова посмотрел на телефонный аппарат, и Скоропадский послушно набрал номер, опять-таки объяснив себе, что сделал он это, вспомнив вчерашние слова Шелленберга о «делах». Он подумал, что все человеческие деяния и мысли подобны той игрушке, что пекли в доме деда на сочельник для детей, – длинные гирлянды из сдобного теста.

«Все одно за другое цепляется, одно другим порождается, – подумал гетман, – потому в монахи и уходят, что устают от пустой суеты. Когда один, и стены белые, и общение с другими – в молитве или за молчаливой трапезой, – тогда только и будет спокойствие и мысль».

– Гетман Скоропадский, – сказал он, откашлявшись в трубку и досадуя на себя за это: грохочет ведь в ухе маршальского секретаря.

– Я помню о вас, – ответил секретарь иным, как показалось Скоропадскому, голосом. – Я приму вас завтра в девять часов вечера в Каринхалле.

«Вот ведь как машина у них работает, – враз забыв вчерашнее, свои обиды и страхи, подумал Скоропадский. – Шелленберг – Гиммлеру, тот – Герингу, вот и у секретаря мед в голосе».

Будучи человеком маленьким, Скоропадский ошибался, поскольку в своих умопостроениях он исходил из преклонения перед большим. Являясь хоть именитым, но эмигрантом, он не мог понять структуру государства, предоставившего ему убежище, и относился к этому государству как к некоему фетишу, абсолюту. Шелленберг ни о чем не говорил с Гиммлером, ибо не имел права информировать рейхсфюрера до тех пор, пока не посетит своего непосредственного шефа, руководителя РСХА Гейдриха. Гиммлер, следовательно, не мог беседовать о Скоропадском с рейхсмаршалом, да и не знал его имени толком: слишком мал и незаметен для него был этот эмигрант в эполетах.

Все было сложнее и проще. Ведомства Геринга, отвечавшие в предстоящей кампании не только за авиацию, но и за экономику рейха, внимательно анализировали разногласия, возникшие между аппаратом Розенберга, уже утвержденным рейхсминистром восточных территорий, офицерами Гиммлера, которым фюрер отдал всю полицейскую власть в будущих имперских колониях, и канцеляристами Бормана, которые имели право назначать партийных гауляйтеров на «новых землях».

До вчерашнего дня Скоропадский не интересовал ведомство Геринга: как никто другой, секретарь Геринга знал позицию своего шефа – ни о каких вассальных славянских государствах не может быть и речи. В то же время разведке люфтваффе было известно, что абвер тренирует особый батальон «Нахтигаль», составленный из оуновцев. Канариса в этом поддерживали чиновники Розенберга. РСХА, Гейдрих, наоборот, считал эту затею ненужной: зачем «мараться с недочеловеками»? Секретарь Геринга поэтому решил пригласить

Скоропадского для беседы – какой-никакой, а все же украинец. Люфтваффе нужно было принять решение для того, чтобы занять позицию, единственно верную в глазах фюрера. Насколько полезной эта позиция могла стать для интересов рейха, его, как, впрочем, всех в гитлеровском государстве, не очень-то заботило: нацистский режим предполагал примат персональной преданности фюреру и его идеям – все остальное вторично.

...А вот Канарис не случайно уклонился от встречи с гетманом, ибо он относился к числу тех, для кого судьба великой Германской империи стояла куда выше судьбы параноика Гитлера.

Будучи разведчиком серьезным, Канарис отличался расчетливой жестокостью, гибкой мягкостью, большой впечатлительностью, поразительной по своему коварству хитростью и – одновременно – сентиментальностью. Столь противоречивые качества, приложимые к понятию «разведчик», кажутся невозможными, слишком уж диаметрально противоположными, лишь людям непосвященным. Обращая за рубежом в лоно «друзей империи» тех, кому стратегия национал-социализма уготовала судьбу страшную, Канарис ясно представлял себе будущее людей, которых он патетически называл «моими верными помощниками». Он понимал, что люди эти, сослужив службу его делу, затем выйдут из игры («Двум тузам, – говаривал Канарис, – третья карта мешает»), будут изолированы (в лучшем случае), но, зная механику нацистского государства, которое жило по законам банды: «Не оставляй свидетелей», – он понимал, что скорее всего «верные помощники» будут ликвидированы гестапо. Поэтому, привлекая к сотрудничеству того или иного человека за границами рейха, Канарис старался делать для него все, что мог. Конечно же смешно утверждать, что лишь умение моментально приспособиться к собеседнику, **обтечь** его, впечатлительность, позволявшая чувствовать слово контрагента за мгновение до того, как оно будет произнесено, сентиментальность, жестокость, резкость, ум, – смешно конечно же утверждать, что именно эти качества сделали его руководителем имперской военной разведки. Всякий человек – если только судьба уготовала ему **призвание** и он смог ощутить это свое призвание и подчинить ему себя без остатка, навечно, словно балерина или пианист, – обязан быть человеком стержневой, основополагающей идеи. Только в том случае **инструменты**, то есть мягкость, жестокость, юмор, доброта, хладнокровие, окажутся необходимыми в деле, которому человек **призван** служить.

Идеей, потребовавшей от адмирала Канариса развития заложенных в нем качеств, была идея государственная, великогерманская. В отличие от Гитлера адмирал не был зоологическим расистом. Он, как и Бисмарк, полагал, что Германия должна стать главной, определяющей силой Европы. Он, как и Гитлер, считал, что жизненное пространство ограничивает развитие великой германской нации. Он согласился служить Гитлеру потому лишь, что тот указал немцам путь на Восток. Поклонник Бисмарка, адмирал, казалось бы, отступничал, ибо железный канцлер завещал Германии дружбу с Россией. Но Гитлер призвал к походу на Восток, качественно новый, на Россию, ставшую коммунистической, и, таким образом, Канарис свято верил, что служил он никак не Гитлеру, но лишь современной европейской идее, которую тот – по нелепой, но весьма распространенной в истории **случайности** – выражал устремленное, жестче и бескомпромиссней, чем все другие лидеры.

Канарис вдохновенно работал против Австрии и Чехословакии, полагая, что возвращение в лоно империи этих «исконно германских территорий» угодно провидению. Он был – в определенной мере – согласен с Гитлером в планах удара по Варшаве, и его агентура держала там руку на всех важнейших «кнопках» в президентском дворце «Бельведер», особенно после того, как умер Пилсудский и на смену ему пришли политиканы с французскими амбициями. К Пилсудскому адмирал относился с чувством обостренного интереса: социалист, судимый царскими жандармами, ставший впоследствии ярым националистом, антисоветчиком, польский маршал поначалу казался Канарису человеком, с которым можно договориться о совместных акциях против России. Однако, натолкнувшись

на непримиримую позицию фюрера: «Никаких дел со славянами, даже с такими, как Пилсудский!» – Канарис вынужден был оставить свой план.

Но когда Канарис узнал со всей точностью, что Англия и Франция объявят войну рейху в случае военного вторжения в Польшу, когда он доказал, что Берлину не удастся разбить единство Парижа и Лондона, часть военных, причем часть незначительная, «бисмарковская», поняла, что Гитлер толкает нацию к краху: война на два фронта – безумие, которое ввергнет немцев в катастрофу более страшную, чем версальская. Именно тогда Канарис обсудил со своими друзьями, крупными прусскими юнкерами, земельными магнатами, вопрос о смещении фюрера. Он был готов к этому. Его представители вступили в контакт с Лондоном. Однако заговор не удался: старые генералы слишком долго думали о последствиях, перед тем как предпринять решающий шаг, хотя, казалось бы, об этом больше всех нужно думать молодым, а не старым. Но – и в этом парадокс политики – именно молодые опасны, именно молодые не думают о последствиях, именно молодые ищут максимума, не довольствуясь вполне достаточной **нормой**, ставя на карту не что-нибудь – жизнь.

Впрочем, жизнь у друзей Канариса была такова, что за нее стоило сражаться под знаменами Гитлера, когда он следовал научной доктрине Клаузевица – Мольтке, и без Гитлера, если он изменял букве этой доктрины.

Друзьям Канариса, прусским юнкерам, было что защищать: сотни гектаров пашен и лесов, принадлежавших им; замки, охотничьи домики с каминами и мраморными бассейнами; миллионные счета в банках рейха, Швейцарии, Испании; акции в крупновских, геринговских и мессершмиттовских «концертах смерти».

...После того как заговор, ставивший своей целью сохранить имеющееся, не удался, а войска Польши были сломлены в течение первых семи дней, Канариса охватил страх: вдруг Гитлер узнает о его контактах с Лондоном? Самое действенное средство против страха – работа. Его работа, работа шефа военной разведки империи, служит фюреру, а интересы Гитлера и нации – как это ни ужасно – сделались неразделимы в дни побед.

После разгрома Франции, Норвегии, Югославии и Греции Канарис должен был наново проанализировать самого себя, свою позицию на будущее, ибо он хотел не просто служить, а **творить** стратегию военной разведки великой Германии. Естественно, он бы исполнял предписанное, не правь империей Гитлер. Он бы с радостью выполнял указания Людендорфа или Гинденбурга: военный, шовинист, антикоммунист, он радовался возможности подчиниться приказу, хотя и признавал себе, что те капли греческой крови, которые были заложены в нем, мешали ему до конца счастливо ощущать себя «настоящим» немцем; «скепсис» – слово греческое, и оно жило в нем постоянно, словно его второе «я».

Когда Балканы, Норвегия, Польша, вся Западная Европа были разгромлены, Канарис почувствовал высокое одиночество великой Германии на поверженном континенте. Это ощущение одиночества было могучим, вагнеровским, ницшеанским, победным, но – одновременно – тревожным, чреватый ожиданием **главного**.

Канарис понимал, что главное еще предстоит. Англия при поддержке Америки противостояла рейху открыто, находясь с ним в состоянии войны. Россия, разбитая на квадраты, исследовалась офицерами генерального штаба как объект удара. Канарис все время повторял: «Сначала повергнуть большевистского колосса, а потом продиктовать условия мира Лондону». Поражение России заставило бы британцев согласиться с очевидностью: немецкое превосходство таково, что для судеб мира разумнее соблюсти баланс сил, континентальной – великогерманской и островной – великосаксонской. Канарис понимал, что мировое владычество невозможно. Национальный примат вероятен только на континенте – и то лишь в том случае, если удерживать этот примат разумными способами, а отнюдь не такими, которые предлагает Гиммлер. Лишь опора на **верных** людей, считал Канарис, может обеспечить торжество великогерманской идеи; лишь поддержка коллаборационистов типа Павелича, Лавалья, Хорти, Дегреля, Квислинга, Тиссо, Недича,

Антонеску, Филова может гарантировать длительное и процветающее германское владычество. Институты генерал-губернаторов и протекторов типа Франка и Зейсс-Инкварта неминуемо должны вызвать взрыв протеста со стороны наций, открыто называемых «свиньями», «недочеловеками», «неполноценными тварями».

Как разведчик агрессивного, **далекого** плана, Канарис знал: говорить человеку, любому человеку, в глаза то, что ты о нем думаешь, неразумно, недипломатично, бесперспективно. Человеку надо говорить лишь то, что он хочет услышать. Человеческий слух, как и зрение, да в общем-то и мысль, выборочен и целенаправлен. Когда человеку хорошо, его глаз и слух фиксируют приятное, исключая все то, что не соответствует его состоянию. В то же время, когда ему плохо, человек чаще обращает внимание на то горькое, униженное и оскорбленное, что окружает его, но в иное время им не замечается.

Во имя торжества идей великой Германии следовало, считал Канарис, «обрекать» националистических лидеров на постоянно хорошее настроение. Он был убежден, что политику творят личности; именно личность, «ввергнутая» в постоянное наслаждение, подобна пластилину – она поддается лепке. И в протекторате и в генерал-губернаторстве, верил Канарис, можно найти или создать такие национальные силы, которые сами будут проводить политику, угодную Германии. Они, эти силы, поставленные в условия земного рая, окажутся теми волшебными флейтистами, которые сами заведут своих крысят-соплеменников в воду.

Гитлер шел к цели, сокрушая все на своем пути, не желая оставлять иллюзий; Канарис хотел иллюзии сохранить – он думал о далеком будущем.

Проводя дни и ночи в совещаниях и инспекционных поездках по районам, прилегающим к русским границам, Канарис благодарил судьбу за то, что фюрер решил сначала ударить по Советам. Год, который надо будет отдать кампании на Востоке, позволит Англии сделаться неприступным бастионом. Две равнозначные силы – Берлин и Лондон – неминуемо утвердят статус-кво в этом мире, и священная для каждого немца великогерманская идея Бисмарка сделается фактом истории. Главное – разгромить Россию. Задачи, которые возникнут после этой эпохальной победы, подчинят себе Гитлера, заставят его следовать за логикой развивающихся событий, а не безумствовать, выдвигая новые задачи, когда не решены главные, отправные. В крайнем случае, если параноик пойдет дальше и не удовольствуется великой победой на континенте, армия скажет свое слово. После победы на Востоке армия станет такой силой, которая будет значительно превосходить силы Гимmlера и Бормана. Тот, кто не захочет считаться с волей солдат – истинных победителей, – будет смещен, изолирован, уничтожен. А сейчас главное – разгромить Россию. Этому следует подчинить все. Это, и только это, решит будущее великой Германии.

Поэтому-то Канарис и отказался встречаться с гетманом Скоропадским. Он точно знал «кто есть кто». Он знал о связях гетмана с окружением Геринга; он знал, что Шелленберг отправил сына гетмана как своего агента в Европу и Нью-Йорк для организации подпольных групп украинских националистов, которые должны будут выполнять задания террористически-разведывательного характера против заокеанского колосса. У него, у Канариса, иные планы. Гетман – старый, уставший, а потому опасливый человек. Он может давать советы, но советы его продиктованы **опытом** прошлого, тогда как политику надо жить настоящим. Скоропадский сейчас не нужен Канарису. Ему нужны другие люди, не разложившиеся еще в условиях эмиграции, люди, готовые работать с **кровью**, не останавливаясь ни перед чем. Таким человеком адмирал считал Степана Бандеру. Он имел основание думать, что Бандера сделает все, что ему будет предписано.

Ничто в рейхе не проходило, не могло и не должно было проходить мимо аппарата Гимmlера.

После беседы со Скоропадским секретарь Геринга решил, что старый гетман отправит в Краков, к Бандере и Мельнику, своего посланца, который затем проинформирует его

беспристрастно обо всем, что там увидит. Решение это совпадало с затаенной мечтой Омельченко, директора книжного издательства оуновцев. Омельченко рвался в политику. Он боялся опоздать к пирогу, поэтому он так торопил гетмана.

Но пропуск иностранцу мог выдать только аппарат Гиммлера. Люди СД заинтересовались миссией Омельченко – он подобен лакмусовой бумаге, за ним следует посмотреть. Он поможет СД точнее понять, что же таков ОУН сейчас, в эти дни, – в плане реального интереса, проявленного гестапо, а никак не иллюзорного, который позволяли себе иметь Канарис и люди из ведомства Розенберга.

4. КУРТ ШТРАММ (I)

...Только сначала, в первый день, боль была пронзительной, особенно когда руки зажимали в деревянных колодках, ноги прикручивали ремнями и человек в крахмальном белом халате садился напротив Курта и начинал медленно зажимать в тисках ногти – сначала мизинец, потом безымянный палец, а после указательный.

Когда они проделывали это первый раз, Курт извивался, кричал и мечтал только о том, чтобы поскорее потерять сознание и не видеть, как ноготь постепенно чернеет и как сквозь поры медленно сочится кровь.

Но потом, после первого дня, отсиживаясь в карцере, в темном подвальном сыром боксе, где нельзя было подняться во весь рост и лечь было нельзя, он понял, что, извиваясь, доставляет радость этому доктору в крахмальном белом халате и эсэсовцам, сидевшим в темноте, за лампой, которая была в глаза жарким, раздражающим веки лучом. Понял он и то, что каждое движение во время пытки усиливает боль, превращая ее в особенно пронзительную и безысходную.

«Все кончено, – понимал Курт отчетливо, и лишь это понимание правды делало его способным думать: в таком положении иллюзии превращают человека в предателя, глупца или безумца. – Теперь для меня все кончено. Жить надо честно, но самое, наверное, важное для человека – это суметь честно уйти, ибо самое большое испытание – это все же не слава, любовь или болезнь, а смерть, именно смерть».

...Курт прижался затылком к холодной стене карцера и ощутил капельки воды, и ему было приятно это ощущение. Ему почудилось, что затылком прижался он к мощному стволу осеннего дуба после ночного дождя, когда лес становится серо-черным и небо близким, словно утешитель, спустившийся к людям, а капли воды на деревьях медленными, как слезы старух. Весной-то капле быстрая и подобна слезам детей, а у них слезы всегда конец смеха или его начало, нежные, безбольные у них слезы.

«Неверно, – поправил себя Курт. – Мы забываем самих себя. В детстве бывают самые безутешные слезы. Просто с годами детские горести кажутся нам сущими пустяками, и мы не понимаем, как не правы, потому что первая обида, первая боль, первое горе определяют человека на всю жизнь, особенно если обида незаслуженна, боль случайна, а горе необъяснимо. Счастливые дети вырастают более честными и смелыми, чем те, которые росли в горе».

Он заставлял себя не думать о том, что кончилось, и о том, что предстоит: сейчас, или позже, ночью, или завтра, а может, сейчас уже и есть завтра – он ведь не видел света с того момента, как его затолкали в машину после встречи со связником.

«Они не могли взять связника, он из Швейцарии, у него дипломатический паспорт, – в который раз успокаивал себя Курт. – Они могли выслать его, заявить протест, но они не могли его арестовать, как меня, и не могли обыскивать и пытаться. Такого еще ни разу не было. А может, я просто не знаю? Нет, я бы знал, Гуго Шульце наверняка сказал бы мне об этом – он связан с гестапо, потому что они охраняют его экономический офис, он поддерживает с ними добрые отношения, он всегда думает о возможном будущем... Снова

я говорю глупости. Не говорю, – поправил он себя. – Думаю. Я ведь думаю. Господи, – ужаснулся он, – неужели я все это говорю вслух?! Нет, не может быть. Они, наверное, только и ждут этого. Надо все кончать. Надо, чтобы они рассвирепели. Тогда они скорее забьют меня, и все кончится. В первый день они могли убить меня, когда их было пятеро и когда они повалили меня и били сапогами по ребрам, но я, черт бы меня подрал, невольно защищался, и прятал голову, и прижимал руки к ребрам. Надо было дать себя убить. А я жил иллюзией».

Чтобы заглушить досаду, поднявшуюся в нем, Курт заставил себя переключиться. Он решил поспорить, вспомнив свое безапелляционное: «Счастливые дети вырастают более честными и смелыми».

Он потерял затылком о стену карцера, заставляя себя спорить, чтобы не думать о главном: о том, что **грядет**.

«Наверное, это будет нечестный спор. Во мне нет желания спорить, – признался он себе. – Но я должен думать о чем угодно, только не о том, о чем они спрашивают. И мне есть о чем думать, потому что, когда я сказал про счастливых детей, в самой глубине души думал о себе и восхищался собой, таким счастливым в детстве, таким любимым «паппи» и «мамми», моими нежными, самыми лучшими и самыми красивыми на свете «паппи» и «мамми». А Гуго воспитывался в доме деда, потому что отец его жил в Чили, а мать сошлась с каким-то венгерским помещиком и торчала в Монте-Карло; дед был суров и ни разу не поцеловал мальчика, и запрещал ему играть с детьми поваров, лакеев и шоферов, которые жили в их замке, и заставлял целые дни сидеть с учителями, изучать латынь, древнегреческий, музыку, логику, а за неуспехи наказывал розгами. Но Гуго все же сильнее меня, добрее и смелее. Да, это так. Потому что я чувствовал весь идиотизм происходящего в Германии после смерти Гинденбурга, я только чувствовал и ни с кем не решался поговорить об этом, а Гуго не побоялся сказать мне, что время пассивного сопротивления прошло, да и пассивное сопротивление – не сопротивление вовсе в условиях нацизма, а одна из форм трусливого самооправдания».

...Его вытащили на допрос ночью – он определил это по сонным лицам тюремщиков. Курта втолкнули в камеру, и на него сразу же обрушился град ударов: гестаповцев сейчас было не пятеро, как в первый день, а семь человек.

«А я еще любил цифру «семь», – успел подумать Курт и заставил себя стать человеком, который отринул иллюзии, а не животным, инстинктивно защищающимся от ударов.

Сначала он ощущал тупую боль, значительно более легкую, чем ту, когда металл входит в кожу, отделяя ногти от голубоватого, нежного мяса, а потом еще больше расслабился и начал молиться: «Только бы скорее. Господи, я не предаю, я ни за что не предаю, но только пусть то, что должно случиться, случится скорей, будь милостив ко мне, господи, я молю тебя о скорой смерти, ни о чем больше, не о жизни ведь...»

Но смерть не пришла: в камеру вбежал седой штандартенфюрер с юным лицом и закричал тонким, визгливым голосом:

– Прекратить свинство!

Курт выплюнул два передних зуба – Ингрид Боден-Граузе говорила, что у него зубы, как у американской актрисы Дины Дурбин, такие же красивые, лопаточками, особенно два передних.

– Сами можете подняться? – спросил штандартенфюрер, когда они остались одни.

Курт попробовал опереться о пол ладонями. Правая ладонь слушалась его, а левая тряслась и была ватной, и он понял, что один из этой семерки наступил ему каблуком на пальцы, и левая рука сейчас неподвластна ему, ибо она лишилась боли.

«Мы живем до тех пор, пока чувствуем боль, – подумал Курт. – Если бы этот седой задержался на полчаса, все бы кончилось».

– Я помогу вам, – сказал штандартенфюрер, взял Курта под мышки и взвалил на металлический стул. – С этим свинством покончено раз и навсегда, Штрамм. Я забрал вас к себе. Сейчас придет доктор, и мы приведем вас в порядок...

«Как это у них называется? – подумал Курт. Он мучительно вспоминал слово, которое говорил ему Гуго. – «Спектакль»? Или «кино»? Нет, не «кино». «Кино» – это когда заставляют сидеть, не двигаясь, сутки или двое. «Спектакль» – это когда при тебе насилуют жену. Нет, то, что сейчас будет делать этот седой, у них называют иначе. Как же это у них называется? «Ибсен» – вот как это у них называется. Он сейчас будет поить меня кофе и угощать бутербродом. Он будет играть роль моего друга, в надежде, что я потянусь к нему: человек, посаженный в зверинец, тянется к человеку, пусть даже тот в форме палача. Ну, играй. Я посмотрю, как вас этому научили».

5. ОЩУЩЕНИЕ ИЮНЬСКОЙ ДУХОТЫ

На Восточном вокзале Берлина было душно. Раскаленная за день крыша дышала тяжелым жаром. Запахи были странными здесь: Штирлицу казалось, что вот-вот должно шипуче пахнуть молоденьким шашлычком, как тридцать лет назад, на ростовском перроне, когда они с отцом ездили лечиться в Евпаторию – у мальчика начинался ревматизм. Там продавали нанизанные на плохо оструганные деревянные палочки маленькие шашлычки, шипучие, мягкие, обжаренные на угольях до такой степени, что мясо вроде бы и сыроватое, но в то же время пропеченное, пахучее, сочное, аж каплет сало бурыми пятнами на мостовую; в этом, казалось тогда мальчику, и есть проявление человеческой, да и всякой иной на земле случайности: почему капнуло именно здесь, а не рядом?

...Пятно от шашлыка на мостовой, постепенно исчезающее под палящими лучами июньского солнца; бранчливые пассажиры, берлинский вокзал, июнь сорок первого, обостренное, тревожное желание жить, чтобы быть нужным...

Штирлиц посмотрел на часы: до отхода поезда на Бреслау осталось десять минут, а его спутников – директора украинского издательства Омельченко с женой – до сих пор не было.

Позавчера Штирлиц вызвал Шелленберг – он теперь сидел в новом кабинете, получив погоны бригадефюрера: в стол были вмонтированы два пулемета, сигнализация связывала шефа политической разведки со специальной комнатой охраны, где круглосуточно дежурили пять унтершарфюреров СС, в столе же (делали на заказ в Голландии) была встроена аппаратура записи и фотографирования. Шелленберг, скрывая горделивую **значительность**, продемонстрировал Штирлицу стол, который, как он заметил, «фиксирует мое новое качество в иерархической лестнице охраны порядка рейха».

– Вы поедете в Краков с одним из оуновцев, – сказал Шелленберг. – Омельченко, издатель и конспиратор, – довольно смешная личность, с потугами на европейское мышление. Он близок к гетману Скоропадскому.

– Я, признаться, слаб в славянской проблеме, – заметил Штирлиц. – После Югославии, впрочем, я убедился, что проблема эта занята, ибо она **сконструирована** так ловко, что трудно определить грань между национальной болью и европейской политикой.

Шелленберг закурил:

– Вот я и предоставляю вам возможность уяснить существо вопроса. Выезд назначен на конец недели, так что у вас есть время. Сначала вы встретитесь с генералом Бискупским, он у нас отвечает за русские дела. Потом повстречаетесь с гетманом Скоропадским. Материалы на Бандеру я запрошу в абвере, формуляр на него достаточно интересен – адмирал знакомил меня с этим формуляром. Я порой жалею, что лишен литературного дара: сюжеты разведки родили Бомарше и Мериме – блистательная беллетристика.

– Литература, – уточнил Штирлиц и, вопросительно посмотрев на пепельницу, перевел взгляд на бригадефюрера.

– Да, да, курите, пожалуйста, – поняв его, сказал Шелленберг. – Хотите мой «Кэмел»?
– Благодарю, я лучше буду продолжать смолить мое «Каро».
– Вы умеете загонять массу оттенков в фразу, Штирлиц. Вы говорите так, как должен писать помощник лидера – с тремя смыслами, упрятыми в два слова.
– Благодарю.
– Напрасно благодарите. Вы ведь не помощник лидера.
– Кто знает, кем вы станете через десять лет.
– Штирлиц, не провоцируйте меня. И через десять лет я буду тем же, кем являюсь сейчас, только с большим багажом опыта.

Штирлиц потушил спичку и поглядел в глаза шефу: лицо Шелленберга стало маской, непроницаемой маской жестокости и воли, даже аккуратная нижняя челюсть выдвинулась, словно у бригадефюрера внезапно открылся «волчий прикус».

«А ведь хочет в лидеры-то, – мгновенно отметил Штирлиц. – И боится признаться себе в этом. Зря я это брякнул. Политик не прощает то, что открылось другому, особенно тому, кто под ним; равнозначному по величине он тоже не простит, но вида не подаст, хотя должен будет в чем-то уступить, затаив злобу. Урок на будущее: не раскрывайся – старайся раскрыть сам».

Шелленберг попросил секретаря принести кофе, угостил Штирлица ликером «Иззара», подаренным ему испанским военным атташе, начал говорить о скандинавских рунах (излюбленная тема Гиммлера), для того, решил Штирлиц, чтобы не впрямую ответить про «беллетристику и литературу», но внезапно раздался звонок белого телефона – прямой аппарат связи с рейхсфюрером, – и Шелленберг, слушая шефа, снова изменился в лице: оно стало мальчишеским, озорным, счастливым – с ямочками на щеках.

Штирлиц поднялся, но в это время пришел помощник Гиммлера и передал Шелленбергу пакет. Шелленберг поблагодарил помощника шефа чересчур экзальтированно, устыдился этой своей экзальтированности, поняв, что ее не мог не заметить Штирлиц, и Штирлиц подумал, что ему надо было бы уйти раньше, как только раздался звонок, но Шелленберг остановил его, словно поняв желание своего сотрудника, и протянул листок бумаги:

– Ознакомьтесь.

Лицо его было по-прежнему озорным, а ямочки на щеках то появлялись, то исчезали: бригадефюрер, перед тем как принять какое-то важное решение, играл губами, словно старая актриса во время утомительной гимнастики перед зеркалом – чтоб морщинок подольше не было.

Штирлиц положил листок на колени.

«Еще до приезда английского посла в СССР г-на Криппса в Лондон, особенно же после его приезда, в английской и вообще в иностранной печати стали муссироваться слухи о «близости войны между СССР и Германией». По этим слухам: 1) Германия будто бы предъявила СССР претензии территориального и экономического характера, и теперь идут переговоры между Германией и СССР о заключении нового, более тесного соглашения между ними; 2) СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи с чем Германия стала сосредоточивать свои войска у границ СССР с целью нападения на СССР; 3) Советский Союз, в свою очередь, стал будто бы усиленно готовиться к войне с Германией и сосредоточивает войска у границ последней.

Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в Москве сочли необходимым ввиду упорного муссирования этих слухов уполномочить ТАСС заявить, что слухи эти являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны.

ТАСС заявляет, что: 1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий и не предлагает какого-либо нового, более тесного соглашения, ввиду чего и переговоры на этот предмет не могли иметь места; 2) по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операции на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям; 3) СССР, как это вытекает из его мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными; 4) проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата, осуществляемые, как известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия Красной Армии как враждебные Германии по меньшей мере нелепо.

ТАСС».

– Каково? – спросил Шелленберг, угадав тот миг, когда Штирлиц прочитал текст.

Штирлиц кашлянул («Нехорошо я кашлянул, слишком осторожно, нельзя мне так. Мелочь, конечно, но сейчас мелочей быть не должно»), снова спросил глазами разрешения закурить и сказал:

– Начинаем...

Шелленберг охватил лицо Штирлица медленным взглядом и, словно бы сопротивляясь самому себе, ответил:

– Да.

– Очень скоро, – так же утвердительно сказал Штирлиц.

– Двадцать второго.

– А когда начал Наполеон?

– Вы думаете...

– Я боюсь думать, бригадефюрер. Я боюсь думать вообще, а об этом особенно.

– Канарис считает, что они сильны. Розенберг утверждает, что мы победим, сделал ставку на национальную проблему. Наш с вами шеф убежден, что Советы развалятся сами по себе после первого же удара и всяческие ставки на их внутренние проблемы наивны и нецелесообразны.

– Доказательства?

– Вот вы и представите доказательства, Штирлиц. Создана бригада. Подобная загребской. Только руководить ею будет не Веезенмайер – дипломатам там делать нечего, – а оберштурмбанфюрер Фохт. Да, да, он уже утвержден, – поймав недоумевающий взгляд Штирлица, быстро, будто бы досадуя на что-то ему одному известное, добавил Шелленберг. – Группу курирует человек Розенберга, и это должно быть понятно вам. Сейчас не время для игр в амбиции.

– Этот Омельченко едет с группой или со мной?

– Омельченко едет с вами. Фохта и Дица, который представляет гестапо, вы встретите в Кракове. Вам предстоит, помогая Фохту и опекая Омельченко, ответить на мои вопросы, Штирлиц. Первое: сколь перспективна линия советников Розенберга во всем этом славянском вопросе? Второе: какова в этом же вопросе истинная линия абвера, конкретно – советников адмирала Канариса? Это все.

– Бригадефюрер, я позволю высказать свое мнение априори. У красных не будет квислингов.

– Данные? У вас есть по этому поводу какие-то данные?

- Есть. Их история.
- Историю пишут, Штирлиц. Ее пишут люди. А людей надо создавать. Тогда история будет **сделана** такой, какой мы хотим ее видеть.
- Я могу познакомиться с материалами?
- Да.
- Благодарю.
- Это все, – закончил Шелленберг. – В остальном я полагаюсь на ваш опыт.
- Мне не совсем понятна главная цель моей работы, бригадефюрер.
- Вы ознакомитесь с материалами, поговорите с лидерами националистов из ОУН, повстречаетесь с коллегами. – На этом слове Шелленберг сделал ударение, явно намекая на Фохта и Дица, которые представляли иные ведомственные интересы, не совпадавшие с интересами его, Шелленберга, организации. – Думаю, вам станет многое понятно. Если запутаетесь и не сможете принять решение – что ж, в этом случае сноситесь со мной.

«Центр.

По словам моего шефа, начало войны назначено на 22 июня.

Командирован в Краков для беседы с «фюрером» ОУН-Б Степаном Бандерой. Просмотрел материалы, собранные на него. Судя по досье, Бандера является уголовным элементом. Данные о его террористическом прошлом могут позволить – в случае целесообразности – отдать его под суд за грабежи, налеты на инкассаторов, шантажи, выполнявшиеся, впрочем, по приказу отсюда, из Берлина. Фигура эта – по ознакомлению с материалами гестапо – «сделанная», произносящая слова выученные, заложенные в него здешними инструкторами. Сейчас, из материалов гестапо, видно, что Бандера предпринимает все возможное, чтобы о нем узнали фюреры рейха. Он выдвигает какие-то планы, отношение к которым здесь весьма юмористическое. Однако тут считают, что Бандеру следует продолжать субсидировать, ибо он готов на выполнение любого задания, не остановится ни перед чем. Ему принадлежит фраза: «Наша организация должна быть страшной, как и наша оуновская власть». Его окружение весьма слабо: как правило, дети сельских священников и мелких буржуа, они малограмотны и совершенно лишены какой-либо мало-мальски привлекательной социальной идеи. Сильны они в одном лишь – живут по законам мафии и не остановятся ни перед чем в стремлении получить землю, посты, деньги. (Бывший главарь ОУН Коновалец и нынешний его преемник Мельник гордятся тем, что были офицерами австро-венгерской армии, связаны с миллионером Федаком родственными связями, играют в аристократизм. Бандера лишен прошлого – оно у него преступно, уголовно, кроваво, – он, видимо, будет сражаться за свой «кусочек пирога» особенно яростно; что касается демагогических лозунгов, то над этим, видимо, работают здесь, в Берлине, его непосредственные руководители, которым он подчиняется беспрекословно.)

В последние дни имел встречи с начальником управления по делам русской эмиграции в Берлине генералом Бискупским Василием Викторовичем. Встречи эти подтвердили факт приближения агрессии.

Центр всей работы с «русским фашистским союзом» сейчас перенесен в генерал-губернаторство. Шеф варшавского филиала – бывший начальник контрразведки Деникина журналист Сергей Войцеховский, брат которого застрелил советского торгпреда в Варшаве Лазарева. Его связник по линии гестапо – Борис Софронович Коверда, убийца Войкова. Войцеховский, ранее связанный с разведкой польгенштаба, сейчас передал всю свою агентуру гестапо. Второй центр находится также в Варшаве – Пшескок, 4. Шеф – Владимир Шелехов. Руководитель «Народно-трудового союза нового поколения» Вюрглер работал до войны в японском посольстве, сейчас на прямой связи с абвером. Лидер РОВС генерал Ерогин ведет переговоры об открытии школы для будущих русских офицеров. Бискупский сказал также, что он курирует русские организации в протекторате

Чехии и Богемии и в Словакии. Из тамошних организаций он выделяет РНСД – «Русское национальное и социальное движение», связанное непосредственно с НСДАП, считающееся русской референтурой Бормана. В главных – Владимир Леонтьевич Кузнецов. Так же силен, по словам Бискупского, «Профессиональный союз инженеров и техников» во главе с Запорожцевым Николаем Семеновичем. Бискупский ознакомил меня с речью Запорожцева: «Германия уже сейчас готова принять колониальное хозяйство – она имеет колонистов, полицейский и административный аппарат, знающий положение на местах. Наша задача – провести немедленный опрос всей эмиграции: кто и куда хочет вернуться. Необходимо срочно выучить советскую терминологию, ибо нам предстоит быть посредниками между колонистами и массой населения». По словам Бискупского, очень силен «Общеказачий союз» во главе с Василием Тимофеевичем Васильевым и «Вольное казачество» во главе с Билым и Макаренко. Последнее занимает особую позицию, ибо настаивает на создании великого казачьего государства от Кубани до Дона. По словам Бискупского, вместе с войсками в Россию будет отправлено более двадцати тысяч человек – для работы в бургомистрах.

После исследования вопроса о «русском фашистском союзе» возвращаюсь к оуновцам: по поручению Шелленберга я встретился с референтом иностранного отдела НСДАП Эгоном фон Лоренцем. Инструктируя меня по поводу Бандеры, Мельника и прочих, по его словам, «уголовников и проходимцев, проходных пешек нашего шахматного гамбита», он сказал следующее: «Идея государственности, которой одержимы костоломы из ОУН, позволяет нам играть перспективно, всячески потворствуя националистам, разрешая им надеяться на то, что они – в случае столкновения с Советами – эту свою государственность получают. Естественно, мы с вами отдаем себе отчет в том, что ни о какой государственности славян речи быть не может – тем более о независимом украинском государстве: территория от Прута до шахт Донбасса обязана стать и станет землей, принадлежащей немецким колонистам. Однако сейчас необходимо играть на бредовой идее ОУН. Понятно, что никакая националистическая идея, кроме великой расовой идеи фюрера, невозможна в Европе. Однако следует помнить, что марионетки крайне болезненны и ранимы в плане ущемленного честолюбия. Поэтому необходимо внешне соблюдать определенного рода декорум, повторяя Бандере и Мельнику, что мы с пониманием относимся к их предстоящей миссии. Всю работу в Кракове вам предстоит проводить с учетом этого момента: мы выставляем на шахматный стол наши украинские пешки для того, чтобы расплатиться ими, когда придет время, выгодное с точки зрения нашей перспективной политики на Востоке». Лоренц добавил также, что группы ОУН должны быть под абсолютным контролем немецких руководителей и ни одно их мероприятие не может быть проведено вне и без санкции германских властей. «Это, – добавил он, – альфа и омега наших взаимоотношений с головорезами, которых пока что приходится терпеть».

Связь в Кракове – по обычному методу.

Немедленно сообщите, в каком направлении продолжать работу. Дайте санкцию на действия.

Юстас».

«Юстасу.

Если убеждены в предстоящей войне, сообщите точные данные: главные направления ударов, силы, которые примут в них участие. Продолжайте сбор информации о националистах. Связь в Кракове получите.

Центр».

Омельченко оказался человеком плотненьким, маленьким, юрким, постоянно потеющим, с застывшей улыбкой на широком, по-девичьи румяном лице. Жена его была статной, красивой женщиной на том **изломе**, который обычно наступает к сорока годам –

либо хороша будет до горделивой старости, либо вот-вот сделается такой каракатицей, взгляд на которую оставит наиболее прозорливых мужчин холостяками.

– Познакомьтесь, пожалуйста, господин Штирлиц, – улыбаясь еще шире, быстро рассыпал слова Омельченко. – Моя жена Елена.

– Очень приятно.

Елена кивнула головой, и что-то странное, похожее на усталое презрение ко всему, появилось на ее лице.

– Она по-немецки смущается говорить, – суетливо пояснил Омельченко, расплачиваясь с носильщиком, – только по-русски.

– По-русски? – удивился Штирлиц. – Или по-украински?

– Нет, Леночка русская, по рождению русская. По духу, конечно, наша, да и бабка ее, мне думается, была все же не москалкой, а украинкой. Она потому не говорит на украинском, что кажется ей, будто недостаточно хорошо знает. Такой, видите ли, характер: или чтоб все с блеском, или – никак.

– Прекрасный характер, – заметил Штирлиц, предлагая руку Елене, чтобы помочь ей войти в вагон.

В хозяйственном управлении СС места на поезд, следовавший в Краков, были забронированы с соблюдением обязательной субординации: отдельное купе для Штирлица и рядом, тоже отдельное, – для Омельченко с Еленой.

К ужину проводник предложил галеты с жидким кофе – в последнее время выдачу продуктов урезали: начиная с марта на человека выдавали по карточкам два с половиной килограмма хлеба в неделю, полкило мяса и всего двести пятьдесят граммов маргарина.

Елена разложила салфетки, достала из сумки маленький кусок бело-розового сала, порезала его тонкими ломтиками, и стол сделался иным, домашним, милым.

– Ужин победителей, – не взглянув на Омельченко, а только чуть повернувшись к нему, заметила Елена, предлагая мужчинам приступить к еде.

– Не сходи с ума, – по-прежнему улыбаясь, бросил сквозь зубы Омельченко и шумно распахнул свой толстый, свиной кожи портфель.

«Сейчас достанет бутылку, – решил Штирлиц. – Обязательно початую. С хорошо притертой пробкой».

Омельченко действительно достал плоскую бутылочку с пробкой, вырезанной из дерева, – носатый черт с красными глазами, который отчаянно-дерзко показывал длинный синий язык.

– Горилочка, – пояснил Омельченко, оглаживая бутылку, – гетманская. Лучше не бывает.

Елена странно усмехнулась, и Штирлиц понял, что Омельченко лжет, что никакая это не гетманская горилка, а обыкновенное берлинское эрзац-пойло.

*«Он не из корысти, – подумал Штирлиц, – он лжет для того, чтобы было лучше. Есть люди, которые **привирают** в малости, но не для собственной выгоды, а во имя общего блага. В таких людях много от детского: ребята ведь врут, как правило, не сознавая лжи, потому что для них игра – продолжение жизни, а вымысел – грань правды».*

Шумно чокнувшись, Омельченко выпил, грациозным, чисто женским движением положил кусочек сала на сухую галету и понюхал.

– Мальчишкой был, а все равно помню, как мы дома ели, на Житомирщине, в поместье деда. Разве там эти кусочки отрезали? Во, – он показал ладонь, – и не меньше. А цибуля какая, боже ты мой!

– Цибуля? – переспросил Штирлиц.

– Лук. Так мы называем лук. Сладкий, сахаристый, в нос бьет; вкусом – словно патока. А хлеб?! Каравай разломают – дух мучной, словно утренний пар поднимается, полем пахнет, озимью, миром.

– Вы настоящий поэт, – сказал Штирлиц, заметив **проблеск** прежней странной усмешки на лице женщины.

Омельченко, видно, по-своему, особо понял усмешку жены, потому что на какой-то миг замер, будто натолкнувшись на невидимую преграду. Лицо его враз осунулось, стали заметны отеки под глазами и нездоровая припухлость век. Но это было одно лишь мгновение, а потом он снова скрыл себя, заулыбался и начал говорить, что никакой он не поэт, а так, издатель, что поэзия – испепеляющее и единственное, а он отдает все свое время борьбе с большевизмом и лишь крохи сэкономленного досуга – рифмоплетству.

– Поэт – категория постоянная, господин Штирлиц, а я – ртутный, меня **носит** .

– Так ведь, наверное, хорошо, что носит: впечатлений много.

– Когда их слишком много, они начинают убивать сами себя. Это вроде большой кучи конского навоза, которую дурной хозяин долго на поле не вывозит: все должно перегорать в настоящем времени, иначе пропадет.

– А как вам видится будущее? – спросил Штирлиц, и только потому, что, спрашивая, он пристально смотрел на Елену, она не усмехнулась отстраненной своей, умной и горькой усмешкой.

– Когда **свершится** – сяду за стол, – ответил Омельченко.

– Что свершится?

– Ну... Как же... Я имею в виду освобождение Украины...

– А когда это свершится?

Омельченко рассмеялся слишком уж колокольчато и снова разлил водку по рюмкам.

– О, уж мне эти политики: все знают, а делают вид, будто первый раз слышат.

– Вы имеете в виду начало кампании на Востоке? – спросил Штирлиц, зная, что Омельченко вошел в круг **посвященных** .

– Ну конечно! Она, – он кивнул на жену, – если быстро говорить, не понимает, так что можете быть спокойны.

Штирлиц посмотрел на подвижные губы Елены, которые жили своей особой жизнью, словно бы не связанные с ее лицом.

– Вы убеждены в этом? – спросил он.

– Конечно. Чувствовать – как всякий умный человек, да еще к тому же женщина, – наверняка все чувствует, но говорить можно, не опасаясь, что поймет.

– Кто вам, кстати, сказал, что Украина будет **освобождена** ?

– То есть как? – споткнулся Омельченко, даже остановил движение руки – он за галетой тянулся. – Не понял, простите.

– Кто вам сказал об освобождении?

– А что ж с ней будет, как не освобождение?! Уйдут большевики, придем мы.

– Придем мы, – поправил его Штирлиц, – вы будете нас сопровождать.

– Вы им будете служить, – сказала Елена по-русски, – в услужении вы у них.

– Не сходи с ума, – суетливо разливая водку, сказал Омельченко сквозь зубы.

– Русский язык очень трудный, – вздохнул Штирлиц, поднимаясь, – я пытался учить язык фрау Елены, но у меня ничего не вышло. Спокойной ночи. Давайте отдохнем – завтра будет тяжелый день. Спасибо за великолепный ужин.

...Он лежал в своем купе, смотрел на синюю лампочку под потолком и думал, что за перегородкой, где громко говорило неспроста включенное радио, ехал маленький квислинг, которого он, Штирлиц, должен держать при себе и с ним обсуждать проблемы ближайшего будущего, связанные со статутом оккупационного режима на его, Максима Исаева, родине. Иногда все происходящее казалось ему нереальным, невозможным, диким, следствием усталости и разошедшихся нервов, но он обрывал себя, когда кто-то другой начинал в нем так убаюкивающе думать, ибо все происходившее было правдой, и он знал это, как никто другой.

«Я правильно осадил его, – рассуждал Штирлиц, чувствуя, как тело сведено напряжением, как оно ощущает тяжесть простыни, жесткость подушки и клочковатую неровность тонкого волосяного матраца. – Он может жаловаться кому угодно. Я обязан стоять на своем. Я солдат фюрера, а не политикан. А фюрер всегда говорил о завоевании восточных территорий для нужд германского плуга. Восток – это жизненное пространство, необходимое для выведения арийской расы. Славяне – в раскладе расовой политики – идут после евреев и цыган: неполноценное племя, обреченное на вымирание и частичное онемечивание. Неужели Омельченко не знает про это? Хотя, может, и не знает – не зря здесь издан приказ, запрещающий допуск иностранцев к партийной литературе. Наивно? Черт его знает. В чем-то наивно, но по остзейской, тяжелой и медлительной, логике разумно. У несчастного эмигранта своих забот по горло, а тут еще бегай, доставай книгу! Зачем? Информация только тогда опасна, когда она целенаправленна. А так – утонет в ней человек, только пузыри пойдут. Из миллиона – один, кто может понять. Но этот один в картотеке гестапо. Следовательно, этот один – агент. Или сидит в концлагере, если позволяет себе роскошь думать. Третьего не дано. Занятно, что к националистам льнут в первую очередь несостоявшиеся литераторы. Чем это объяснить? Жаждой силы? Желанием приобщиться к политике, которая так богата сильными ощущениями? Или все проще? Считают, что, завоевав место под солнцем, они с немецкой помощью заставят поверить миллионы украинцев в то, что именно их «творчество» гениально?»

Радио неожиданно замолчало, видимо, передача закончилась, и Штирлиц явственно услышал голоса Омельченко и Елены. Перегородки между купе были тонкие, фанерные, поэтому Штирлиц слышал каждое слово. Разговаривали они, видно, давно – для этого и включили радио, но сейчас в пылу спора они не обратили внимания на то, что голос диктора исчез и стало тихо, только колеса перестукивали на стыках.

– У тебя в голове всегда был иной стереотип мужчины, – обиженным, жалостливым голосом, но тем не менее зло и убежденно говорил Омельченко, – тебе нравится молчаливый, сильный, высокий, седой. А у меня шея потная! И тороплюсь вечно! И нечего все на меня валить! Нечего меня винить в том, что жизни у нас нет!

– Можно подумать, что это я по девкам бегала.

– Ты сама меня толкала к бабам своими подозрениями, ревностью, своими дикими представлениями!

– Но, значит, бегал?

– Да ты вспомни, как в первые же месяцы стала меня ревновать черт те к кому. К какой-то жирной старухе! Это ведь ужас был какой-то, ужас!

– Я очень тебя любила, Тарас.

– Нет. Ты никогда не любила меня. Ты всегда любила свою любовь ко мне. А сейчас – чем дальше, тем горше – тебе этой своей любви жаль. Ты жила в другом мире, иначе воспитана была, республиканка при дедушкиных тысячах, а вот пришел хохлацкий разночинец, взбаламутил воду, вскружил голову... Эх, чего там...

– Так ведь не я вскружила тебе голову, Тарас. Не я звала тебя к венцу.

– Поэтому я столько лет и тяну, Лена. Только поэтому.

– А я все эти годы чувствую, как ты несчастен из-за нас. В каждом твоём слове, взгляде, жесте – жалоба на меня, на детей, на всех нас, кого тебе приходится тащить.

– А ты еще и погоняешь. Ты даже не замечаешь, как бываешь жестока, Елена. Ты говоришь мне: «Брось все». А что ты будешь есть, если я все брошу?! Чем ты будешь кормить детей?

– Не надо попрекать.

– Как только я обнажаю правду, ты говоришь «не надо попрекать».

– Бунины живут в нищете, но они чисто живут.

– Ты сможешь жить, как Бунины? Ты ж привыкла кормить детей продуктами с рынка!

– Если ты устраиваешь приемы для своих бандитов, так что же мне, детей лишать того, что вы себе можете позволить?! Я всю твою камарилью терплю только потому, что могу благодаря этому кормить детей свежими продуктами с рынка!

– Господи, ну как можем мы жить вместе, Лена? Я мечтаю о том лишь, чтобы забиться в нору и писать! А ты ведь, верно, думаешь: «Если б хоть писать мог...»

– Не говори за меня.

– Ты всегда за меня говорила. Ты придумывала за меня моих любовниц. Ты всегда стыдилась того, что я пишу. Ты всегда хотела, чтобы я был только издателем. Ты стыдилась меня в доме своих родителей: даже из-за стола уходила, когда я начинал читать стихи...

– Это неправда.

«О чем они, господи? – недоуменно подумал Штирлиц. – Ведь как больные говорят, как тяжело больные... Мир трещит, война начинается страшная, на жизнь или смерть, а они такую ахинею несут!»

– В самом начале, – продолжал между тем Омельченко, – когда я взбаламутил тебя, когда ты еще не увидела меня в моем доме, в нашей с тобой первой конуре, пока ты не поняла, как мне приходится зарабатывать, ты слушала меня, даже любовалась мной – не думай, у меня тоже память есть, а вот потом, когда мы остались одни и когда я стал в твоих глазах тем, кто я есть, вот тогда...

– А зачем ты говоришь за меня?

– Ничего я не говорю... Не жизнь у нас, а зеленая тина...

– Вот бы в ней и утопиться.

– А не пугай. Хочешь топиться – топись. Я слишком устал, чтобы бояться, Лена. Я только хочу **дождаться** и сесть писать. Тогда я смогу обеспечить вас, а мне, кроме хлеба – и ты это знаешь, – ничего не надо. Масло и колбаса нужны вам.

– Мне? (Штирлиц почувствовал презрительную усмешку женщины.) Мне хлеба не надо. А колбаса, ты прав, нужна. Твоим детям.

– Ужас какой нас со стороны послушать, – со вздохом сказал Омельченко. – Вот-вот свершится то, о чем я мечтал эти годы, чему отдавал себя, а тут...

– Не я в этом виновата.

– Я?

– Конечно.

– Бессовестный ты человек, Лена.

– Нет, это ты бессовестный человек! Из-за тебя я научилась лгать, окунулась в грязь, чтоб не сходить с ума из-за любви к тебе – клин клином выбивают, из-за тебя я ненавижу себя!

– Это оттого, что забот при мне не ведала.

– Премного вам благодарны! Спаситель-батюшка! Я родила твоих детей, и ты обязан их содержать! Как любой порядочный мужчина.

– А ты обязана принимать меня таким, какой я есть, – во имя того, чтобы я содержал их так, как содержу! И не болтать, чтобы я «все бросил»! Если я брошу мои дела, ты первая запоешь через полгода! «Бросать» можно дантисту – он ничем не рискует, да и золота припрятано! А я – политик!

– Политик, – с усталым презрением повторила Елена. – Осточертели мне наши выяснения отношений хуже горькой редьки!

«Больное самолюбие – самая страшная форма деспотизма, – подумал Штирлиц. – Этот «политик» с супружницей бичуют себя двумя плетками. Одна из них – ощущение собственной малости, вторая – желание стать могучим. Он хочет стать великим политиком и поэтом, она – настоящей матроной, **хозяйкой**, которая задает тон дому. Нашла кого ревновать! А я обманулся: она показалась мне умненькой. Она же его

действительно ревнует! Ревность – это злодейство в страдательной форме. Только такой злодей особенно несчастен, потому что живет в плену собственных горячечных представлений. А «политик» мучает себя ложным сознанием вины, потому что, если бы он смог подняться до понимания вины истинной, он бы освободился, он бы смог тогда все бросить, сесть и писать, если ему действительно есть что писать. Но он мал и слаб, чтобы понять высшую вину... Да и потом, может ли квислинг понять вину? Фашисты и сильны тем лишь, что исключили понятие вины из практики взаимных обещаний. Но мы все равно разобьем их. Мои здешние хозяева говорят о примате расы. В этом их обреченность. Мы говорим о примате идеи равенства людей. Они говорят о будущем господстве. Пойдут за Гитлером все пятьдесят миллионов немцев? Нет. Пойдут те, кто может носить автомат. А это десять миллионов. За ним не пойдут умные немцы, не пойдут поляки, чехи, французы, сербы, норвежцы, потому что они **окупированы**. Все, кого унизили, пойдут против. Значит, количественный перевес за нами. Сейчас самое главное – выдержать, выиграть время, ибо оно работает на правду больше, чем на неправду. Это факт. Во временном отдалении люди точнее различают, кто был враг, а кто – друг. И человеку нормальному противно зло, он мечтает о добре. В этом – наше спасение. В конечном-то счете **время** служит добру – с этим не поспоришь... Стоп. Спокойной ночи, Штирлиц, пора спать. Завтра мне предстоит не философия, но практика – ОУН».

6. ЭКСКУРС № 1: ОУН

Исследуя то, с чем ему предстояло столкнуться лицом к лицу, Штирлиц исходил из материалов, которые он собрал за эти июньские дни.

Политика, считал он, начинается с карты.

Если рассматривать Австро-Венгрию как некую историческую окостенелость, то кабинетный ученый мог бы составить хронологическую таблицу взлетов и падений, причем общая кривая, даже в моменты наибольшего подъема империи, была бы явно направлена вниз, к упадку. Конгломерат национальностей, связанных лишь честолюбивыми амбициями габсбургской монархии, не мог, естественно, развиваться, ибо развитие предполагает единство интересов значительной части общества.

Если же Австро-Венгрию рассматривать словно таинственные линии на старой европейской ладони, то не надо быть гадалкой, чтобы прочесть прошлое и объяснить его.

Гигантская держава включала в себя исконные земли Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Украины, Италии, Хорватии, Боснии-Герцеговины, Далмации, Словении. Монархи Австро-Венгрии тщательно следили за тем, как составлялись географические карты. Цензоры двора обращали особо пристальное внимание на то, чтобы «коронные» земли империи, то есть собственно Австрия, Каринтия, Крайна, Чехия и Моравия, Далмация и Галиция, были закрашены типографами в одинаково розовый, теплый, будуарный цвет. Всякого рода оттенки – в данном конкретном случае – карались немедленно и жестоко. Типографы, понимая, что им нечего больше делать на свете, кроме как **печатать**, отдавали себе отчет, какой будет их судьба: ошибись они хоть в малой малости – прогонят в зашей и никуда более не пустят. Книгопечатание – заметная профессия и дело имеет не с чем-нибудь, а со словом. Придворные типографы в глубине души кляли свою молодость, когда можно было сделать иной выбор, став лекарем, архитектором, парикмахером, на худой конец. Так нет же – потянуло поближе к искусству, будь оно трижды неладно. Прогонят лекаря, так он в другом городе объявится и снова – лекарь. Не понравится монарху дворец, созданный зодчим, откажут от работы – так ведь можно и не для коронованных особ строить, а для купца или промышленника – все одно уплатят. А типографу несчастному куда? Он ведь печатал-то, он, а не кто другой! С него и спрос – по единственной и неумолимой строгости закона. Ошибка исключена – речь идет не о чем-либо, а о престиже империи. Поэтому

директор монаршей типографии, печатавшей **прибыльные** карты империи, лично по несколько раз проверял состав красок и старался заручиться визой чиновника, близкого к дворцовым кругам. «Коронные» земли должны быть всегда одинакового цвета, чтобы ни у кого – спаси господь! – не могло возникнуть и мысли о чем-нибудь «этаким»...

Воистину политика начинается с карты.

Громадность территорий, втиснутая в типографский лист, манит к себе полководцев, рождает тиранов, подвижников, провокаторов, монархов, трибунов.

Любой человек, мало-мальски знакомый с военным делом, мог понять, отчего Австро-Венгерская монархия была так внимательна к географическим картам: «лоскутная империя», вобравшая в себя земли завоеванные, чужеродные, тщилась тем не менее сохранить амбиции былого величия, уповая на доктрину «агрессии на Восток».

Именно австрийская монархия, испытывавшая брезгливое чувство по отношению к чужеродному славянскому племени украинцев (**общественные** цели которого никак не могли совпадать с целями развивающейся австрийской буржуазии), уже двести лет назад открыла в Вене духовную семинарию для украинцев, а затем, в конце XVIII века, вскоре после присоединения Галиции, во Львове эта же монархия решила создать при университете кафедры, где преподавание велось на «народном языке».

Расчет Вены был точен. Первые выпускники венской духовной семинарии, обращенные католики, пришли во Львов и организовали **особые** кафедры. Вновь обращенный обычно куда как более рьяно служит патрону, монарху, идее, чем тот, кому не надо доказывать свою веру и преданность, кто от рождения облечен доверием окружающих, ибо «если отец и дед нашей крови, то отчего он может быть против нас»? А тот, чьи отцы и деды были против, обязаны не словом, но делом показать себя. А что значит **показать** себя? Это значит исчезнуть как личность, раствориться в идее патрона, подчинить себя без остатка служению **новому идолу**.

Медленно накапливавшийся гнев безземельных, забитых украинских крестьян против помещичьего насилия венские выпускники осторожно повернули на поляков, таких же славянских чужеродцев. Кровавые схватки на межах, поджоги крестьянами польских шляхетских фольварков – все это ищет суда. И суд приходит – «скорый и праведный». И поляки и украинцы, таким образом, должны осознать, что справедливость к ним может прийти лишь из **столицы**, из «далекой и мудрой» Вены.

Все так бы и шло, но столкновения государственных интересов обычно ищут своего разрешения **вовне**, а **не внутри**. Внутри – это редко, это революция, которая немедленно «обкладывается», подобно берлоге, внешними силами, стремящимися навязать революции свой ход развития.

Все так бы и шло, но родился Наполеон, и прошел он по Европе, и всколыхнулись глубинные воды царств и монархий. Вместо России прежней, неведомой и далекой, появилась Россия иная, вошедшая триумфально в Париж, Россия, заявившая себя спасительницей Европы от узурпатора.

И вот уже ситуация меняется. Польской шляхте даются права; а украинцы в Галиции обязаны учить в школах польский язык; ставка теперь делается на давление «с другой стороны». Из Санкт-Петербурга, естественно, протест: «Галиция – славянская область, православие там было испокон веку». Дошло это до Галиции, прокатились по «коронной» земле пожары, полетели головы поляков – не австрийцев, а тех, кого Габсбурги выдвинули, как щит, перед собой: кидаются-то ведь на очевидное, в этом человек нередко подобен быку на корриде – ему бы, бедолаге, на торреро, а он все красный плащ бодает, зажатый в ладони умного мастера кровавого боя.

Петербург пытался продолжать давление. Меттерних с добрым состраданием на рассеяннo-улыбчивых губах внимал, как между французскими экспромтами русских послов и обсуждением вокализмов несравненной Нейбах в Опера все чаще и чаще **затрагивался**

вопрос о Галиции. Отвечать, на это Вена предпочитала не своим языком, но языком соплеменников петербургских послов. Львовский митрополит обратился в Вену с посланием: «Мы, живущие в Галиции, не русские, и язык наш другой, отличный от великоросского».

Таким образом, факт открытого противопоставления русского языка украинскому был инспирирован Веной – после тщательного изучения «опытов» Мазепы и Орлика – через выпускников венской духовной семинарии, во имя сохранения интересов габсбургской монархии.

А после революционных событий 1846 года, когда Вена вновь сменила курс, «поставила» на украинцев, пообещав холопам землю за голову каждого бунтаря-шляхтича, семена межславянской вражды надолго проросли кровавым, пышным цветом.

Возможность польско-украинского единения была подорвана, но оставалась тревожившая Вену проблема русско-украинского, антиавстрийского единения.

Дипломатическая миссия габсбургского двора, аккредитованная в Санкт-Петербурге, зорко наблюдала за всеми процессами, происходившими в России. Развитие великорусского шовинизма находило свое проявление не только в наивных писаниях русофилов. Аппарат жандармского ведомства всей практикой своей ежегодно и ежечасно рождал глухое сопротивление на окраинах громадной империи. Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Эта великая марксистская формула точнее всего подтверждалась той зоологической злобой, с которой царские опричники жестоко и чванливо теснили «ляхов», «хохлов», «татарву», «армяшек» и всяких там прочих «литвинов». Запрещение говорить и учиться на родном языке, русское судопроизводство, русское чиновничество, русская полиция – все это было той почвой, на которой любые семена, подброшенные заботливой рукой иноземного политического «стратега-сеятеля», давали немедленные и быстрые всходы.

В Вене стратеги от политики рассчитали: существование «самостийной» Украины в современной Европе невозможно. Либо вся она будет в сфере средневропейских интересов, являясь составной частью Австро-Венгерской империи, либо останется Украиной, или, говоря языком официального Санкт-Петербурга, **Малороссией**. Естественно, в периоды мирного развития истории об отложении Украины от России – под любыми лозунгами: «самостийности», «соборности», «неподлежности» – речи не могло быть. Но готовить проблему загодя, предвидя возможные конфликты, надо. Необходимо тешить детей иллюзией взрослости. Пусть на Украине появятся люди, мечтающие о «самостийности», – опыт австрийского владычества в Галиции допуская и такую возможность. Пусть они **начнут** : дело Вены – **кончить** . А иного окончания, кроме как включение всей Украины в состав монархии, быть не может. Считать иначе было бы непростительной политической **глупостью** , которая страшнее любого наперед задуманного преступления.

Развитие политических структур подобно бегу стайеров: логика борьбы предполагает смену лидера и ведомого. В начале XX века Вена сдала свои позиции Берлину во всем, хотя дальновидные дипломаты предрекали это еще во время Крымской войны; после разгрома Франции под Седаном Бисмарк вошел в Париж, и величие Австро-Венгрии окончательно сделалось **прошлым** . И уже в 1903 году священник Галицкий, вступил в прямой контакт с Берлином – по линии организации, руководившей тайной борьбой Пруссии против «польского духа». Через десять лет, за год до сараевского выстрела, Берлин, получивший надежные **контакты** во Львове, предложил венски образованной, прусски сориентированной галицийской агентуре развернуть борьбу против поляков и русских.

В рядах русской социал-демократии против тирании самодержавия, против «тюрьмы народов» сражались бок о бок с русскими революционерами украинские, польские, грузинские, латышские. Забываемые в тюрьмах, обреченные на смерть в царских каторгах, большевики были так же опасны Петербургу, как и Берлину, Парижу, Вене. Социальности, классовости надо было противопоставить что-нибудь более знакомое темной массе, облегчающее ей понятие своей общности. А что, как не национализм? И вот уже социалисты,

которым «германец платит», становятся главным объектом в националистической пропаганде: ведь победы они, «социалисты проклятые», – и конец власти, при которой украинский помещик, еврейский банкир и польский заводчик могут вести через третьих лиц свою сольную партию, внимательно присматриваясь к взмахам дирижерской палочки в Берлине.

Именно на этих венско-прусских дрожжах антисоциализма и национализма власть имущих выросли Петлюра и Скоропадский, столь, казалось бы, несхожие в своих лозунгах, единые в одном лишь – национализме. Поддерживая в разные периоды разных марионеток **одной** крови, Берлин оказался преемником венской испытанной политики **стравливания** славян.

Иллюзии по поводу принадлежности «самостийной» Украины к говорящей на немецком языке Европе кончились, когда свершилась революция; когда земли Скоропадских, Шептицких, Федаков и прочих украинских магнатов были отданы крестьянам; когда заводы и шахты перестали быть собственностью ста семейств, но сделались принадлежностью миллионов; когда освобожденный труд воздвиг ДнепрогЭС; когда великие ученые Богомолец и Патон совершили открытия мировой значимости; когда Нью-Йорк и Париж, Лондон и Цюрих аплодировали таланту Довженко.

Революция выбила козыри из рук тех, кто наивно мечтал о реставрации. Гетман Скоропадский сделался декоративным украшением берлинских салонов. Симон Петлюра обивал пороги варшавских и парижских ведомств, но помощи – реальной, финансовой, – получить не мог. Какое-то время казалось, что химерическая ныне идея западноукраинского сепаратизма изжила себя. Однако запасы ископаемых на Украине, подсчитанные экспертами Круппа, Ротшильда и Дюпона, количество посевных площадей и возможные энергетические мощности **продиктовали** политикам необходимость дальнейшей работы в направлении «использования этого района в интересах всемирного прогресса». Барьер этому «всемирному прогрессу» был очевиден – Советская власть Украины. Пришла пора выдвижения новых идей, которые – внешне – должны принадлежать новым лидерам. Именно это и предстояло изучить Штирлицу, встретившись лицом к лицу с Бандерой и Мельником, «создал» которых и заботливо опекал офицер абвера Рико Ярый.

Обер-лейтенант австро-венгерской армии, он был рожден в семье австрийского чиновника, женатого на онемечившейся польке. Австрийский офицер, знавший сызмальства украинский, чешский и венгерский, как свой родной немецкий, Рико Ярый воевал в Италии, отступил вместе с разбитыми частями габсбургской армии, а после недолгой стажировки в генеральном штабе начал организовывать первые кавалерийские части «Украинской Галицийской армии». После того как Пилсудский разгромил австрийских галичан, Рико Ярый ушел в Чехословакию. Там, в Закарпатье, кавалерийские части эти были превращены в «рабочие батальоны», которые при более пристальном рассмотрении оказались шпионско-диверсионными объединениями, работавшими против Советской Украины и Польши.

Когда кончилась великая монархия Габсбургов, кончилась и не успевшая еще толком начаться карьера Ярога, и обер-лейтенант узнал, что такое нужда, голод и холодная каморка у ворчливых хозяев. Там, в Закарпатье, бывший королевский офицер, занимавшийся организацией диверсионных вылазок, встретил изумительной красоты девушку – дочь местного богатея, корчмаря, главы еврейской общины. Юная Суламифь приняла католичество, взяла немецкое имя, скрыла кровь отца своего и вышла за Ярога. С той поры, меняя хозяев, предавая идеи и принципы, он не изменял одному лишь человеку – своей жене.

В Чехословакии делать было нечего. В Вене пахло плесенью – монархия кончилась, как видно, навсегда. Относясь к числу людей смекалистых и быстрых, Ярый отдавал себе отчет в том, что труп уже не гальванизируешь. В Германии грохотали социальные бури. Громы и молнии метал молодой фюрер национального социализма – Адольф Гитлер, живописец, оратор и фанатик. И Ярый поехал в Мюнхен – надо же откуда-то начинать!

Он доказал свою нужность армии, принимая участие в разгроме коммунистических демонстраций. Он познакомился с Ремом и Штрассером – соратниками фюрера. Он скрывал эти знакомства от армейских командиров: Гитлер был тогда вне закона. Но дальним умом своим он понял, что за этими молодыми людьми будущее, ибо они **не смирились**. Они открыто требовали пересмотра Версаля и призывали германцев к столь удобному им **порядку**. А порядок может дать лишь **личность**. Такой личностью в Мюнхене считался Адольф Гитлер.

Именно тогда Рико Ярый получил задание от молодого националистического движения открыть рейхсверу свое знание славян вообще, а украинцев в частности.

Именно тогда в Германии с ведома и одобрения рейхсвера, при его финансовой помощи была создана УВО – украинская военная организация. И первым ее командиром был полковник австро-венгерской армии Евгений Коновалец. Коновалец искал силу и деньги. Силу и деньги полковнику дал офицер той же бывшей армии Рико Ярый. Деньги, естественно, были вручены не напрямую, не так, как их брезгливо суют мелким агентам. Аккуратно, с соблюдением секретности, через голландские и бельгийские банки, при осторожном посредничестве украинского миллионера Федака деньги рейхсвера пошли в карман Коновальцу.

Парадокс заключался в том, что второе отделение польского генерального штаба – стратегическая разведка Пилсудского – так же поддерживало украинских националистов, действовавших в Польше, рассчитывая обратить их против Советов. Поэтому полиция не мешала появлению ячеек, никого из «бандюков местного значения» – кулаков и поповичей – не арестовывала, намечая при этом к вербовке наиболее серьезных украинских функционеров.

Пилсудский, однако, забыл притчу о том, как опасно выпускать джинна из бутылки. Он только-только стал лидером нового государства, и вопрос оформления долгосрочной политической концепции оставался для него открытым. Избыточная же антисоветская **эмоциональность** помешала маршалу серьезно изучить украинскую проблему. А она, как выяснилось, могла быть изучена с двух сторон, учитывая разность европейских интересов.

Стратегический замысел берлинских генералов был понятен. В свое время не вышло с Россией, но появилась Польша, земля, входившая в сферу стратегии «дранг нах остен». С Россией приходилось считаться – политики заключили с Кремлем Рапвальский договор, и армия вынуждена была на определенном этапе подчиниться правительству, свернув открытую антисоветскую подготовку. Что ж, армия готова подождать: не умеющий отступить никогда не сможет перейти в наступление. Не вышло пока что с Россией – почему не попробовать с Польшей! И украинские кулаки, поповичи, помещики, банкирские сынки загомонили вдруг о «самостийной и незалежной». О той, где Петлюра и Скоропадский проходились шомполами по спинам украинских крестьян. О той, где украинские белогвардейцы отбирали хлеб и скот для вильгельмовской армии. Люди Коновальца приходили из-за кордона, от «головного провода» (главное руководство) ОУН, приходили (не открывая, естественно, что «головной провод» находился в Берлине и существовал на гитлеровские деньги), говорили о будущем, о том, как придет «самостийная» власть; а уносили эти люди из «Края» – Польши – сведения чисто шпионского характера, которые поначалу обрабатывались Рико Ярым, а потом ложились в сейфы генерального штаба рейхсвера – полулегального, но тем не менее существовавшего.

В тридцатом году, когда Гитлер вышел из подполья и старый маршал Гинденбург начинал все более внимательно присматриваться к ефрейтору, когда пропаганда национал-социалистов открыто призывала к акциям против Востока, когда «Майн кампф», обосновавшая необходимость захвата территорий на Востоке, продавалась в каждом книжном магазине (а боевикам НСДАП раздавалась бесплатно, чтобы с помощью «цитат из великого откровения национал-социализма обращать в новую веру заблудших»), армия

приняла наконец решение, которого так ждал Коновалец: хозяева приказали **работать**. Ставка – террор. И прогремели выстрелы по городам и весям Западной Украины. Молодые оуновцы (были среди них и обманутые крестьяне, но мало их было, единицы), веруя в то, что сражаются они за независимость, начали палить по польским генералам и губернаторам. Пилсудский ответил так, как было спланировано в Берлине, – ввел в Галиции и по всей Западной Украине оккупационный режим, прошелся мечом по украинским селам. Сухой пороховой запал дал пламя на границах с Советами, ситуация в Европе накалилась, а именно это и было нужно нацистам, рвавшимся к власти.

Это же выгодно было и Пилсудскому: развязаны руки – можно карать всех, кто был против его военной диктатуры, поляков-коммунистов в первую очередь.

Шеф оуновского руководства в Западной Украине Головинский при встрече с человеком от Коновальца дал понять, что те националисты, которые скрываются в Польше, должны иметь программу на будущее. (А как ее объявишь, программу, если просто-напросто требовалось Берлину ослабить изнутри режим Пилсудского, расшатать его и подготовить – в удобный и благоприятный момент – к вторжению извне, чтобы немецкая армия могла выйти к рубежам России.)

В тридцать третьем году, через два месяца после прихода к власти Гитлера, в Берлине состоялось совещание, на котором помимо Коновальца и Ярого присутствовали чины СС, абвера и гестапо. Бледный от волнения Коновалец хрустел пальцами. «Советник» Ярый, получивший чин в СС и назначенный куратором «украинского вопроса», похлопывал Коновальца по колену, словно добрый отец, выведший наконец сына в люди. Впрочем, и он волновался, ибо в люди-то он вывел себя, сделав в свое время точную и **далекую** ставку на другого.

Коновалец, считавший, что сейчас наконец сбудутся его мечты, не ведал, что за три дня перед этим совещанием у одного из помощников Гейдриха состоялось иное, **узкое**, на котором была сформулирована «теория стратегического обмана».

«Играйте украинскими шалунами, – говорил эсэсовцам штандартенфюрер Риче, – посулите им Киев как столицу, обещайте создание независимой Украины. Встречаясь с казачьими эмигрантами, предлагайте им создание великого государства от Запорожья до Волги – мы порвем все соглашения, когда восторжествует мировая идея германской расы. Обман в данном случае будет прощен провидением, ибо мы обманываем белорусских, украинских, русских «недочеловеков», заселяющих плодороднейшие земли и владеющих несметными запасами руды и угля. Все что угодно, лишь бы отторгнуть Украину от России. Пусть они верят нам, пусть верят. Лишь бы делали то, что угодно интересам богоизбранной расы немцев. История нам простит все, если мы свершим задуманное... Увлекайте их идеей национализма: в столкновении с нашей расовой теорией любой национализм исчезнет, испарится, как лужа под ясным полуденным солнцем. Помогайте им сформулировать требования: «самостийность», «соборность» – любые их бредни должны быть оформлены в доктрину с помощью наших экспертов. Чем громче они будут сейчас заявлять о себе, тем легче потом их будет изолировать: распоясавшийся варвар не может не вызывать глубокой и устойчивой неприязни арийцев. Гегемонизм – а мы настаиваем на гегемонии нашей расы – отвергает все иные формы национализма. Время работает на нас, не бойтесь лепить из глины колосса – в него нельзя вдохнуть жизнь, его легко разбить, толкнув плечом: черепков не соберешь...»

И вот на совещании с гестапо, абвером и чинами СС Коновальцу было предложено пересмотреть план работ, выведя на первое место террор и диверсии против СССР: время «веймарских игр в демократию» кончилось, фюрер пришел к власти под знаменем антисоветизма. ООН предлагалось отрегулировать постоянные организационные контакты с абвером и наладить разведывательную сеть в Центральной Европе и на Балканах. Именно по инициативе Ярого в свое время Коновалец обратился в рейхсвер за помощью: он создавал

помимо берлинского «главного провода» ОУН отделения в Берне, Праге, Вене и широкую сеть филиалов во всем мире – тридцать пять надежных антибольшевистских националистических организаций, не вызывавших сомнений у полиции, оказались первыми действующими разведцентрами абвера.

Именно после этого совещания Рико Ярый отправил в «Край» Романа – брата Ярослава Барановского, ближайшего помощника полковника Андрея Мельника. Роман имел встречу с шефом «провода» «Края» Головинским, который вскоре после этого при обстоятельствах, странных лишь при первом рассмотрении, был схвачен польской полицией и убит.

Зверь рождает зверя. Гитлер как политическая личность породил в Европе целый ряд подражателей. Поглавник усташей Павелич взял курс на террор. Первыми от его пуля погибли коммунисты – и сербы и хорваты. «Железная гвардия» в Бухаресте стала призывать к «крови и очищению» – первыми были замучены румынские коммунисты; «скрещенные стрелы» Салаша появились в Венгрии: начались убийства демократов; Бандера и Мельник, каждый по-своему, «поставили на террор» – убивали украинских коммунистов, нелегально переходили границу, жгли дома колхозных активистов, стреляли из-за угла, насильничали.

Убийство министра внутренних дел Польши Пирацкого на уютной и тихой улице Фокзал, в ста метрах от беломраморных ступеней японского посольства, было организовано «новой волной» ОУН во главе с Бандерой. Убийство было **хитрым**, выгодным ультраправым: польские легионы были передвинуты с западных границ страны на восток – исподволь, хитро и планомерно реставрировались времена «санитарного кордона» против большевизма; тысячи польских и украинских коммунистов были брошены в тюрьмы; террор в Западной Украине принял размеры неслыханные – украинские селения, окруженные войсками, затаились, понимая, что их ждет расправа кровавая и беспощадная.

Бандера, будучи «третьей картой», которую разыгрывали разведки Берлина и Варшавы, дал **повод** для этой расправы – потому-то и сохранили ему жизнь.

В тюрьме Бандера честолюбиво рассуждал о будущем; он заново «исследовал» гибель Головинского и пополз среди арестантов слух: «Тут не без Коновальца». И решил Бандера рвать с Коновальцем и создавать свой, новый ОУН. Об этих разговорах Бандеры и его друзей узнал Ярый. Это не могло не интересовать гестапо и абвер: эмигрантский костолом, потерявший влияние в «Крае», Берлину не нужен – зряшный перевод денег. И через несколько лет – торопиться в разведке негоже – Коновалец, разворачивая на улице Роттердама пакет, переданный ему портье, был разорван на куски бомбой. По **странному** недоразумению Ярослав Барановский, помощник Андрея Мельника, брат того Романа, который **заложил** в свое время Головинского, через полчаса после убийства Коновальца зашел в его отель и спросил, не возвращался ли Коновалец, причем назвал он фамилию **секретную**, под которой Коновалец приехал в Роттердам. Барановский был арестован, но вскоре за недостатком улик выпущен. Комбинация нацистов с убийством Коновальца, рассчитанная точно и дальновидно, сработала: теперь и Бандера и Мельник пойдут в Берлин, «поливая» друг друга. Они будут искать в Берлине судей и арбитров. Так Ярый выиграл ОУН, который постепенно разваливался на два: ОУН-Б (младобандеровский) и ОУН-М (старомельниковский). Пока Бандера сидел в тюрьме, Ярый по указанию Берлина санкционировал «избрание» Мельника вождем «главного руководства». Наличие двух сил предполагает присутствие постоянного координатора. Когда Бандера вышел из тюрьмы после краха Польши, он сразу же ринулся к Ярому, и тот, поначалу унизив его **псевдонимом** «Консул-2», потом одарил **пониманием** и **дружбой** абвера. Бандера получил деньги и провел второй конгресс ОУН, на котором себя избрал вождем, а Мельника заклеил наймитом и мерзавцем. Работы у Ярого прибавилось, и он радовался этой работе: два дня в неделю он проводил в беседах с людьми Мельника, два – с людьми Бандеры. И те и другие гнали информацию. Информация была нужна ежечасно: время, отпущенное на подготовку к операции «Барбаросса», подходило к концу.

Рико Ярый держал Бандеру как силу мобильную и резкую. Именно его людей он отправил в Нойхаузен, под Бреслау, – там началось формирование специального батальона СС «Нахтигаль». Германский командир – обер-лейтенант Херцнер, украинский – Роман Шухевич при политическом руководителе Оберлендере.

Мельника использовали как консультанта, перепроверя через него данные Бандеры. Он, так же как и Бандера, формировал походные группы по десять – пятнадцать человек, приданные армии, которые сразу же начнут помогать эсэсовцам расстреливать коммунистов и комсомольцев Украины.

Но о том, что на Мельника возлагались и другие задачи, не имеющие отношения к войне, но имевшие зато прямое отношение к войне честолюбий, к постоянной сваре между ведомствами Гимmlера, Розенберга, Геринга и Бормана, майор СС Рико Ярый не знал и знать не мог, как не знал этого и сам Мельник.

7. ГАННА ПРОКОПЧУК (II)

В немецкой комендатуре Ганну выслушали внимательно: никакого сравнения с Богдановичем. Чиновник был любезен до того, что спросил даже, закуривая, не помешает ли фрау Прокопчук запах табака:

– Я курю черный табак, очень ядовитый и резкий.

– О, что вы, я люблю «Житан», – вымученно улыбнулась Ганна.

Чиновник понимающе кивнул:

– Запах мужчины. Война обделила несчастных женщин...

– Я, признаться, сама курю... Нет, это не запах мужчины, черный табак ассоциируется у меня с солнцем: наши заказчики из Бразилии курят именно такой табак.

– Надоели холода, – так же утверждающе кивнул холеный чиновник, внимательно просматривая документы Ганны.

– Наверно, потом я буду тосковать о снеге, но сейчас я мечтаю о том, чтобы было постоянное тепло.

– Но просите пропуск в генерал-губернаторство, где зимой сейчас холодно. Впрочем, в немецких домах зимой сейчас тоже прохладно. Трудности с углем – война...

– Да, ужасно, – согласилась Ганна послушно, потому что чиновник этот сразу показался ей человеком серьезным и честным; было что-то в его облике грустное, сосредоточенное, и еще Ганне понравилось, что он необидно «угадывает» ее – так могут понимать женщину только сильные и добрые мужчины.

– Госпожа Прокопчук, я внимательно ознакомился с вашей просьбой. Я понимаю ваше состояние, я сам отец. Однако, – он заметил, как Ганна подалась вперед, и успокоил ее, – нет, нет, мы не отказываем вам... Просто-напросто следует соблюсти формальность: мы, немцы, знаете ли, невероятные формалисты. Сейчас в Париже будет создано бюро по делам украинцев...

– Наподобие русского?

– Да, в какой-то мере. А вы что, знаете людей из отдела русской эмиграции?

– Я была у господина Богдановича.

– И?

– Он ответил, что занимается только подданными Российской империи.

– Он ответил вам правильно. Вы же знаете, как англичане пытаются нарушить нашу экономическую дружбу с Советами, – поэтому нам приходится быть особо внимательными в российском отделе, чтобы не дать козырей в руки врагов. Украинские представители по вашему делу снесутся с нами, и, я думаю, мы им поможем. Рю Пуасси, 42. Там квартира господина Прокоповича – обратитесь сегодня же.

Чиновник, беседовавший с Ганной, был руководителем референтуры РСХА, которая занималась украинцами во Франции. Уже год, как референтура собирала материалы на председателя петлюровской «Украинской рады» Прокоповича: тот не очень скрывал свою антипатию к Германии и Гитлеру – за тяжкие годы эмиграции прозрел. Сначала он надеялся на Францию и Англию. Ждал, когда те загонят в угол Советы – экономическим бойкотом, дипломатическим непризнанием, самим фактом своей «разумной и доброй» мощи. Однако по прошествии лет, а особенно после разгрома Польши, Прокопович понял: ничего Запад не сделает для его «Рады», нечего на них надеяться; если уж за себя постоять не могут, как за других постоят?! И Гитлер был ему неприятен. Всем эмигрантам, которые жили в рейхе, было запрещено продавать в магазинах и выдавать в библиотеках «Майн кампф» Гитлера и «Миф XX века» Розенберга (не хотели, чтобы даже «карманная эмиграция» узнала о конечных целях великой Германской империи). Но Прокопович сумел достать эти труды и изучить их с карандашом в руке. Он понял, что Гитлер и Розенберг готовят украинцам, как, впрочем, и русским, судьбу, подобную той, которую британцы навязали неграм в Африке. Поэтому Прокопович от всяких контактов с Андреем Мельником и Степаном Бандерой категорически отказался.

С Прокоповичем несколько раз **беседовали** «доброжелатели» из земляков, убеждали его в необходимости сотрудничества с новой властью, советовали **влиять** на Берлин постепенно, самим фактом диалога с национал-социалистами, говорили, что германский национализм как идейное течение в конечном счете не сможет не принять национализм украинский, направленный не вовне, а вовнутрь, в свою нацию, ни в коей мере не претендующий на мировое или европейское лидерство.

Прокопович не внимал советам украинских посредников, состоявших на штатной службе в «Антикоминтерне» – филиале геббельсовского министерства пропаганды, или у полковника Мартина, в секторе агитации СС, или у доктора Тауберта, в восточном отделе министерства пропаганды, или у профессора Менде – главного розенберговского эксперта, руководителя восточного отдела Германского института по изучению заграницы. Он теперь отстаивал уж и не политическую линию, а просто-напросто личное свое достоинство. Не признаваться же, право, что все эти годы брошены псу под хвост и дело, в которое он верил, – химера и вздор?! (Когда он найдет силы признаться себе в этом, гестаповцы **устроят** ему летом сорок второго года **инфаркт миокарда** со смертельным исходом.)

Но в июне сорок первого года референт, занимавшийся парижскими украинцами, хотел знать о Прокоповиче все, прежде чем сформулировать свои рекомендации Берлину. Для этого надо собирать материал: гестапо не торопится, когда речь идет о людях типа Прокоповича. Вопрос надо изучить со всех сторон, исследовав все возможности. Ганна будет принята Прокоповичем: об этом позаботятся люди из его окружения, завербованные гестапо еще в начале тридцатых годов. Запись беседы с этой талантливой украинкой ляжет в сейф референта. Люди типа Прокоповича с каждым не говорят – они разборчивы в знакомствах. Ганна Прокопчук относится к числу тех, перед кем он может открыться неведомой гранью: глядишь, именно эта грань сделает парижского украинца удобным для охвата его секретными службами рейха.

...Референт, однако, ошибся: бывший украинский лидер, выслушав Ганну, сказал, тяжело вздохнув:

– Не ждите от меня помощи, милая. Я бессилен сделать что-либо, потому что марионеткой быть не умею, я Прокопович, а не Лаваль. Мы для них – ничто... Горько: я это понял слишком поздно, когда изменить ничего нельзя, ибо сидеть на двух стульях допустимо на банкете – не в политике. Не гневайтесь, я человек конченный.

Когда Ганна вышла из кабинета Прокоповича, грустный и доброжелательный секретарь (агент гестапо, он поддерживал контакты с руководителем ОУН-М Мельником – естественно, с санкции и по указанию СД – для того, чтобы консультировать и анализировать все

высказывания, мнения, замечания, поведение бывшего главы «Рады») тихо и проникновенно сказал ей:

– Госпожа Прокопчук, мой вам братский, искренний совет: кому ж его и дать-то вам, украинке, как не мне, украинцу... Подружитесь с германцами. Видимо, не скоро истинные патриоты нашей с вами родины обретут такую силу и такую самостоятельность, что помочь вам смогут в горе не словом – делом... Они вернут вам и Никитку и Янека... Подружитесь, родная, право слово, подружитесь с немцами, они вас не дадут в обиду...

8. РАНИМАЯ И ТРЕПЕТНАЯ ДУША АРТИСТА

Трушницкий закрыл дверь осторожно, но петли были плохо смазаны, и поэтому маленький домик, в котором он снимал комнату, наполнился протяжным и тонким скрипом.

Трушницкий даже зажмурился, представив себе, как этот страшный скрип разбудил старуху Ванду, пана Ладислава и маленьких Никиту и Янека. Он замер у двери и осторожно вслушался в темную тишину дома, но никто не шевельнулся в комнатах, и тогда, успокоенный, он, балансируя руками, как воздушный гимнаст, пошел по маленькой зале в свой закуток.

– У пана хормейстера есть сигареты? – услышал он хриплый голос Ладислава, но перед тем, как понял, кто его спрашивает, Трушницкий успел испугаться: он с детства испытывал страх перед темнотой.

– Я разбудил вас. Простите, – сказал Трушницкий. – Я завтра смажу петли. Что пани Ванда? Ей легче?

Ладислав прошлепал босыми ногами по полу, прикрыл дверь своей комнаты, где спал с сыновьями, и подошел к Трушницкому – костистый, длинный, в белой ночной рубашке; из-за того что пегая борода росла от глаз, вместо его лица зияло темное пятно.

«Всадник без головы, – подумал Трушницкий. – Наверное, это все же очень страшно. Можно только завидовать людям без воображения: они лишены представлений о неведомом, они живут в том мире, который привычен, неинтересен и заземлен. Но зато у них не бывает сердечных заболеваний».

– Пани Ванда завтра поднимется с постели, – сказал Ладислав, и Трушницкий ощутил тяжелый перегарный запах. – Маменька уже сегодня хотела подняться, но я уговорил ее полежать еще один день. Вот вам и наши издевательства над знахарями! Не приведи я к ней пана Крыжанского, завтра б ее унесли на кладбище.

– Будет вам, пан Ладислав... Держите сигарету.

– Спасибо.

Пламя спички осветило огромное лицо Ладислава – тяжелые, словно брылы у породистого пса, складки щек, резкие морщины под глазами, тяжелые надбровья; потом темнота стала еще более осязаемой, оттого что Ладислав прятал сигарету в кулак: работая всю жизнь в лесах, он привык экономить табак – в кулаке он медленнее сгорает, а на пронзительном ветру мгновенно превращается в серый пепел.

– Что ей дал знахарь?

– Ничего. Ровным счетом ничего. Он месмеровец. Он взял на себя ее болезнь. Он водил по ее спине пальцами – у него длинные пальцы, длиннее, чем у меня, и ногти синие. Он пальцами-то водил по матушкиной спине, а я видел, как у него пот выступал за ушами. От напряжения.

– Почему от напряжения? – Трушницкий пожал плечами. – Просто жарко было.

– Это нормальным жарко. А он вне нормы. Он глазами на столе ложку двигает. Смотрит на ложку, а она двигается. Пошли, налью холодного чая.

В маленькой кухне остро пахло кислой капустой. Ладислав зажег керосиновую лампу.

– А может, чарочку? – спросил он, подвигая Трушницкому табуретку. – У меня немножко припрятано.

Трушницкий подумал, что завтра ему нужно быть поутру у Сирого, где соберутся трое из руководства ОУН, и Сирий как-то странно говорил сегодня, что, видимо, репетиции хора придется отменить на ближайшее время, и намекал при этом, что именно ему, Трушницкому, вероятно, выпадет честь первым приветствовать Бандеру. Но в конце концов одна чарка не сможет помешать ему, а нервы напряжены до предела.

– Разве что за компанию, – сказал Трушницкий.

Ладислав налил в чарки мутноватого самогона, принес хлеба, лука и соли.

– Хватит? – спросил он. – Или подогреть щей? Я кормил знахаря великолепными щами.

– Благодарствуйте, сыт, – ответил Трушницкий. – За здоровье пани Ванды.

– За здоровье, – ответил Ладислав и опрокинул чарку в свой рот, похожий на щель в копилке; такую Трушницкому подарила бабушка Анна Тарасовна, когда приезжала к ним в имение с Полтавщины, – пират с открытым ртом, в красной косынке и с серьгой в левом ухе.

Трушницкий отрезал маленькую корочку хлеба, бросил в рот щепотку соли и спросил:

– Каков диагноз?

– А нет диагноза, – ответил Ладислав. – Знахарь не верит нынешней медицине. Он верит в Месмера. Сеанс продолжался полчаса, и матушка сказала: «Боли нет». Он заставил ее встать, и она встала.

– Но пани Ванда две недели пила лекарства...

– Ваши германские лекарства ни к черту не годятся! Они же не помогли матушке, ни на грош не помогли! А пришел знахарь...

– Ну хорошо, а вдруг знахарь пришел в момент кризиса, когда уже сказались действие лекарств? А вдруг получился тот случай, когда знахарь воспользовался – невольно, невольно, – заметив негодующий взгляд Ладислава, пояснил Трушницкий, – тем эффектом, который дала обычная фармакология?

Ладислав затянулся, обжигая большие пальцы, и раздавил окурочек о край грубо сколоченного дощатого стола.

– Я теперь этому знахарю до конца дней своих поверил. Зачем веру-то подрывать?

– А нужна она, вера? – тихо спросил Трушницкий.

– То есть? – Ладислав, словно бы ударившись обо что-то незримое, откинул тело свое от музыканта. – Не понимаю.

– Вера – это искушение, это надежда, пустая надежда, страх, ожидание, а в конце концов неверие, потому что в итоге каждого ждет разочарование и пустота. Лучше уж попросту жить: будет день – будет и пища. Не верю я ничему и никому, и знахарю вашему не верю.

– Так ведь он пришел, пальцы растопырил, потом облился, и матушка встала! – воскликнул Ладислав. – При чем здесь ваше неверие? Позавчера мы думали, что тью-тью: воспаление легких в ее возрасте известно чем кончается. А куда мне без нее? Куда? Я-то еще ладно, как-то продержусь, а Никитка с Янеком?

– Слушайте, Ладислав, я давно хотел спросить: где ваша жена? Она жива?

– Спокойной ночи, – сразу же поднявшись, сказал Ладислав. – В потемках разденетесь, или посветить?

– Разденусь. Извините, бога ради, что я вас неловко спросил, – самогон в голову ударил.

– А то посвечу.

Трушницкий поднялся, чувствуя в теле радость.

– Завидую я людям физического труда, – снова переходя на шепот, сказал он, – им и похмеляться можно, и с утра пораньше пивком побаловаться, а я как на каторге, право слово! Хоть умри, а голову имей прозрачную.

– Сильно страдаете после перепоя?

– Да. Тоска, и печень болит.

– А вы горячих щей. Очень это облегчает страдание – горячие щи, луковица, ломоть теплого хлеба, а потом, когда прошибет и лоб помокреет, тогда полстаканчика и хрустнуть малосольным огурцом.

– Искуситель вы, – вздохнул Трушницкий. – Добрый искуситель. Сказочник. Я, знаете, заслушиваюсь, когда вы своим мальчикам сказки рассказываете.

Ладислав взял со стола лампу, зашел с Трушницким в его закуток с маленьким окошком, выходящим на покосившийся забор, и, наблюдая за тем, как хормейстер ловко раздевался, умудряясь бесшумно скакать, на одной ноге, стягивая широкие брюки, задумчиво сказал:

– Если б я знал, кто моя жена, когда встретил ее, так либо сбежал бы от нее сразу, либо смотрел как на святую. А я на нее как на жену смотрел. Как на свою жену. Мужья, жены – это синоним собственности. Жена. Значит, само собой, моя. Муж? Соответственно. В ком дар божий заложен, тому либо в одиночестве надо жить, либо семью делать, когда дар божий, поначалу обычно скрытый в человеке, станет всем ясен. Словом, жена моя – Ганна Прокопчук.

Трушницкий сел на кровать, больно стукнувшись локтем о маленький столик.

– Это которая в Париже? Архитектор?!

Ладислав затушил лампу, буркнул:

– Спокойной ночи, дорогой сосед.

– Спокойной ночи, милый хозяин... Вы меня прямо как обухом по темени: Ганна Прокопчук, скажите на милость!

– И хватит об этом, – прикрывая дверь, попросил Ладислав, – дети не должны ее знать, не надо несчастным детям знать знаменитых родственников. Если сразу, сызмальства этого не было – в отрочестве сломать может. От меня их оторвет, а прибьется-то некуда. Хотя река без одного берега – и такое возможно, хормейстер, в наши дни.

...Трушницкий проснулся, услышав музыку. Какое-то мгновение он лежал недвижно и слышал, как за стенкой кашляла пани Ванда и просила Ладислава развести горчицы в эмалированной кружке, но музыка все равно продолжала звучать, и была она пасторальна и легка, и Трушницкому показалось, будто приснились ему и хриплый голос пани Ванды, и шлепанье по грязному полу больших ног Ладислава, и лязг посуды, когда тот доставал из буфета голубенькую эмалированную кружку. Трушницкому казалось, что высокая пасторальная музыка была явью, правдой, реальностью, которая обычно является под утро, в духоту, перед грозой.

«Именно потому, что я не хочу открывать глаза, я открою их», – подумал Трушницкий, и в то мгновение, когда он подумал так, музыка исчезла, и он даже поднялся с кровати, чтобы задержать ее в памяти, но она, словно нечто живое, уходила от него белым, странным пятном воспоминания. Вместо музыки он теперь слышал только кашель старухи и отмечал машинально, что кашляла она действительно легче, чем вчера, и не было в долгих, удушливых **затишьях** того страшного ощущения смерти, которое появлялось в первые недели ее болезни; иногда, услышав, как во время тяжелого кашля пани Ванда внезапно замолкала, и не глотала тяжело воздуха, и не сморкалась облегченно, Трушницкий вбегал в ее комнату и видел, как старуха раскачивалась на кровати, выгибалась на подушках, словно акробатка, и руками загребала воздух, чтоб было больше, но дышала все равно с трудом и откашляться не могла. Тогда ее усаживали на кровати, наклоняли голову, и синее лицо ее бледнело, и она начинала хрипеть, будто огромные мехи раздувались в груди, а потом наступало забытье, и лицо ее делалось до странного моложавым и красивым – совсем без морщин...

«Может, действительно ей знахарь помог, а не красный стрептоцид?» – подумал Трушницкий. – Мы всегда в отчаянии бежим к знахарю. А когда над нами не каплет,

смеемся над ним. Уж не от слабого ли знания нашего? Или от невозможности понять неведомое? В церковь-то мы ведь тоже бегаем, когда помощи ждем от господина – в часы радостей кто о нем помнит?»

– Как здоровье пани Ванды? – поймав себя на том, что заученно улыбается, словно верит, что его не только слышат, но и видят через перегородку, спросил Трушницкий.

– Я ожила, – басисто ответила старуха; перегородка была из тонкой фанеры – даже голоса не надо было повышать.

– Ну и слава Христу, – сказал Трушницкий, одеваясь.

Он вышел на кухню, ополоснул лицо, хрустко потер большие свои уши, вспомнив давешние слова Ладислава о том, как у знахаря потело за мочками, вытерся докрасна несвежим вафельным полотенцем и поставил на керосинку чайник.

Воды в чайнике было на доньшке, Трушницкий прибавил фитиля и сел на табурет, дожидаясь, когда забулькает.

*«Господи, – вдруг с тяжелой тоской подумал он, – когда же кончится эта страшная жизнь моя? Когда наконец обрету дом? Пусть бы только на Украину, пусть бы только свою квартирку, чтобы спокойно заниматься музыкой и не таить самого себя, страшась доставить неудобство хозяевам своим присутствием. «Хозяевам». – Он даже усмехнулся этому слову. – Ладислав и пани Ванда мои хозяева. Это реальность, и смеяться над ней нечего. Можно смеяться надо всем – только над реальностью смеяться нельзя, ибо это проявление скудоумия. Даже если мы сами толкаем себя в ту реальность, которая нам омерзительна, которая унижает нас и ранит, все равно принимать ее надо без смеха, чтобы понять **суть**».*

Перед уходом, покашляв в огромный свой кулак, пан Ладислав, смущаясь и, видимо, чувствуя себя неловко до самой последней крайности, попросил:

– У меня вот какое дело... Я ночь не спал после вчерашнего разговора... Вы связаны с германцами, с новой властью...

– Я не связан с новой властью, – сразу же возразил Трушницкий, потому что вспомнил наставления помощника «вождя» – Лебеда: «О наших контактах с представителями генерал-губернатора Франка никому ни слова. Мы – частная организация «Просвита», мы не пользуемся никакими льготами от немцев».

– Да полно вам, пан Трушницкий, вас же офицеры домой подвозили.

– Это случайно.

– Пан Трушницкий, мне некого просить, Ганна не может выбраться из Парижа.

Похлопочите за нее, а? Как-то вы меня разбередили вчера, сердце щемит...

– Она писала вам?

– Несколько раз писала.

– И что?

– Я не отвечал. Она звала туда, деньги переводила, молила. Но ведь я поляк, пан Трушницкий, я могу простить все что угодно, но не то, что можно расценить как оскорбление. Будь проклят мой характер, будь трижды проклят...

– Вчера вы говорили, что дети не должны знать ее...

Пан Ладислав болезненно сморщился.

– Бог мой, – вздохнул он, – разве вы не понимаете? Вы ведь мужчина... Я заставлял себя забыть ее, я должен был заменять мальчикам и мать... Чего не скажешь в сердцах?

– Как вы узнали, что она и сейчас хочет вернуться?

– Один наш офицер был в плену под Парижем. Он встречал там ее друзей... Она может как угодно относиться ко мне, – большое лицо пана Ладислава снова дрогнуло, потому что он тщился заставить себя снисходительно улыбнуться, – но по-человечески мне ее жаль. Она там совсем одна.

– Я, право, ничего не могу обещать вам.

– Не надо никаких обещаний. Вдруг вам удастся замолвить слово, просто замолвить слово...

...Зайдя в «Украинский комитет» (2373 марки в месяц от абвера на аренду помещения), Трушницкий позвонил к Лебедю, который отвечал не только за контрразведку, но и за культурную работу среди националистов, и попросил назначить ему время встречи.

– Да полно вам, друже, – пророкотал в трубку Лебедь. – Заходите хоть сейчас.

Внимательно выслушав Трушницкого, он задал только один вопрос:

– А эта Ганна действительно талантлива?

– Ее считали очень талантливым архитектором в Польше.

– А что ж она, украинка – и за поляка? – досадливо поморщился Лебедь. – Надо же помнить о крови, право слово. Ладно, я проконсультирую этот вопрос с друзьями. Вы, кстати, обратились по своей инициативе?

– Как сказать... – замялся Трушницкий. – Вообще-то больше по своей. Мой хозяин вскользь коснулся этой тяжкой для него проблемы...

– Понял наконец, что только мы теперь можем помочь полякам – никто другой.

– В том-то и дело, – обрадовался Трушницкий искренне и открыто, не понимая в своей неискушенной радости, что обрек на смерть семью пана Ладислава.

Сразу после того, как Трушницкий ушел, Лебедь позвонил оберштурмбанфюреру Дицу, резиденту гестапо, переведенному в Краков из Загреба, и договорился о встрече. Во время беседы, которую Диц предложил провести на конспиративной квартире у доктора философии Юзефа Шимфельда на улице Томаша, в доме двадцать два, Лебедь коснулся вопросов «прикрытия».

– Связанные с нами поляки, – сказал Лебедь, – могут оказаться теми **дырами**, через которые уйдет информация. Не всем моим людям я могу открыть **дату**, господин Диц. Люди есть люди: каждый имеет своего «хорошего» поляка, жида или русского.

– Мы переболели этой болезнью, – согласно кивнул Диц. – Я понимаю вашу тревогу. Предложения?

– Я давно просил выделить нашим людям отдельные комнаты...

– Не все наши люди имеют отдельные комнаты, господин Лебедь, не все **наши**. И так, предложения? – настойчиво повторил Диц.

– Вероятно, тех поляков, которые были так или иначе сконтактированы с нашими людьми, стоило бы на какое-то время изолировать.

– У вас это уже написано? Оформлено в документ?

– Нет, я, собственно, считал, что нашего разговора будет достаточно.

– Отнюдь нет. Мне необходимо получить ваши соображения в письменном виде, чтобы добиться срочного решения этого вопроса в канцелярии генерал-губернаторства.

...Через полчаса Лебедь был на конспиративной квартире бандеровского руководства на улице Реторыка.

– Конечно, – выслушав отчет Лебеда о беседе с Дицем, сказал Ярослав Стецко, ближайший помощник Бандеры. – Пусть к концу дня твое предложение будет на столе у Дица. Теперь по поводу этой Ганны, архитекторши...

– Она, как утверждает Трушницкий, относится к цвету украинской интеллигенции, – ответил Лебедь.

– Ты это, – поморщился Стецко, – ты брось словечко «интеллигенция». Фюрер не скрывает своего презрительного отношения к интеллигенции, и нам этому не грех поучиться.

– Но Прокопчук украинка, – заметил Лебедь, – она же представитель кровной интеллигенции.

– А Корнейчук с Рыльским и Тычиной – эскимосы? Или москали? То-то и оно! Есть предложение ввести в обиход понятие «мыслящая группа». Понятно? Два слова не одно. «Группа» – значит подчинена кому-то. «Мыслящая» – значит целенаправленная. Так-то вот. С

Ганной Прокопчук, конечно, подумаем. Наш фюрер, – Стецко назвал Бандеру на немецкий манер, – обещал связаться с референтом в секретариате генерал-губернатора Франка – тот увлекался, говорят, архитектурой. Вроде их Шпеера.

Следующей ночью Трушницкого разбудил резкий стук в дверь – приехало гестапо.

Обыск в доме был недолгим, а потом пану Ладиславу, мальчикам и старухе Ванде предложили одеться и взять с собой необходимое.

– Но в чем дело? – срывающимся голосом спросил пан Ладислав. – Моя мать перенесла тяжкое воспаление легких, она еще не встает с постели...

– У нас хороший лазарет, – успокоил его офицер, руководивший арестом, – вам не следует тревожиться о будущем матушки.

– А дети? – Пан Ладислав заплакал, и дети тоже заплакали тонкими голосками, а старуха зашлась длинным, рывкающим кашлем.

– Если вы не виноваты, вас освободят, – сказал гестаповец, – собирайтесь поскорее, пожалуйста.

Старуха продолжала хрипеть, не в силах откашляться, – видимо, она хотела сказать что-то, и пан Ладислав потянулся к ней, но моментально сработал рефлекс эсэсовцев на быстрое движение: они бросились на поляка и сразу же завернули ему руки вверх. Он закричал не от боли, а от страха за детей, которые тонко заверещали и хотели было к нему кинуться, но были схвачены за плечи короткопалым солдатом, стоявшим возле двери.

– Господа, послушайте, господа, – дрожаще заговорил Трушницкий, отделившись от стены, – здесь какое-то недоразумение. Я из «Просвиты», позвольте мне связаться с нашим представителем.

– А к вам у нас нет претензий, – сказал офицер и, заглянув в бумажку, которую он держал в руке, обтянутой тонкой лайковой перчаткой, добавил: – Никаких, господин Трушницкий.

Пан Ладислав метнулся взглядом к лицу Трушницкого, потом в ужасе посмотрел на сыновей и закричал:

– Детей хоть спасите! Детей спасите, умоляю вас!

– Господин офицер, – откашлялся Трушницкий, – может быть, вы позволите мне взять детей под свой присмотр? Я смогу содержать их, пока выяснится это недоразумение.

– Хватит. – Офицер деревянным жестом одернул френч. – Ведите арестованных в машину. А вы, – он глянул на Трушницкого, – переселяйтесь из своей каморки в любую комнату, которая понравится.

Маленький Никитка затопал ножками, обутыми в рваные сандалии, губы его побелели, и слезы покатались по щекам.

– Папочка, – закричал он, – папуленька, я к тебе хочу!

– Сейчас, сыночка, сейчас, мой хороший, мы сейчас сядем в машину, я возьму тебя на коленки, не плачь, нежный мой, ну, не плачь. Пан Трушницкий, вытрите же ему глаза, – всхлипнул Ладислав, – и носик утрите, молю вас!

Трушницкий двинулся было к мальчикам, но офицер остановил его:

– Не надо.

Янек старался сдерживаться, ему уже было восемь, но, глядя на бабушку, тяжело поднимавшуюся с постели, тихонько заскулил, как щенок, оторванный от матери, а потом описался, потекла тоненькая струйка от его трясущихся ног, и он, видимо, так испугался этого непроизвольного позора своего, что закричал пронзительно:

– Папочка, ну скажи им что-нибудь, папочка!

– Пан Трушницкий, – захрипел Ладислав, подавшись вперед, – будьте милостивы, помогите же детям!

Старуха наконец кончила кашлять, отерла взбухшие синие губы, посмотрела на сына с укоризной:

– Не роняй себя... Пошли, маленькие, пошли. Вам нечего бояться, вас ждет избавление и отдых, пошли. Это нам бояться надо – грешившим.

9. КУРТ ШТРАММ (II)

Седой штандартенфюрер вызывал Курта уже пятый раз. Сначала он говорил о том, что в его же, Курта, интересах развеять павшее на него трагическое подозрение.

– Человек, с которым вы встречались, – вы знаете, о ком я говорю, – связан в Швейцарии с красными. Это факт, который мы установили со всей непреложностью. Объясните мне, где и как вы с ним познакомились, только об этом я вас прошу.

Курт молчал. Он ненавидел себя за это молчание, ибо понимал, что продиктовано оно иллюзиями, которые он считал изжитыми. Он понимал, что надо броситься на этого седого эсэсовца с юным, без единой морщинки лицом, и тогда придут семеро его помощников, которых он так свободно называл свиньями и палачами, и все будет быстро закончено. Но в Курте еще не было сил ускорить конец, в нем была лишь сила принять его.

– Поймите, – продолжал штандартенфюрер, – вас бы никто не арестовал или, наоборот, гильотинировали бы уже, не будь вы тем, кем были. Вы дружили с семьей генерала Шернера, с семьей генерала Вицлебена, с Гуго Шульце, работающим в секретном отделе экономических исследований при министерстве авиации, с семьей графа Боден-Граузе, который собирает у себя дома много видных и уважаемых людей из министерства иностранных дел. Что вы хотите, у нас в гестапо есть люди, страдающие манией подозрительности. Такова уж профессия, ничего не поделаешь. Я должен их успокоить. – Он улыбнулся грустной улыбкой, очень красивой его лицо. – А успокоить их я могу, получив от вас хотя бы формальные объяснения, и ваше дело будет закрыто, а вы вернетесь к своей службе. Мы не сообщали никому о вашем аресте. Впрочем, вы даже и не арестованы: ордера нет, его никто не решится утвердить, потому что тогда надо бросать тень подозрения на слишком многих заслуженных людей рейха.

– Вы напрасно все это затеяли, – ответил Курт. – Я не буду вам ничего объяснять.

– Вам придется мне объяснить. И не все, а лишь где, когда и зачем вы познакомились с господином из Швейцарии.

Курт отрицательно покачал головой.

– Это все, – сказал он. – Я не считаю себя преступником. Так что скорее заканчивайте формальности, штандартенфюрер.

– Если вы не считаете себя преступником, так позвольте мне убедить в этом мое начальство. Я вас тоже не считаю преступником.

– Это все, – повторил Курт.

– Нет, не все. Вы тоже служили, Штрамм, служили в рейхе, и вы прекрасно понимаете, что поручение, данное руководством, должно быть выполненным. Я получил поручение. И я выполню его. Я получил поручение доказать вашу честность. Я убежден в случайности ваших встреч с врагами. Но вас могли подвести те, кто желает нам горя. Вот я и докопаюсь до того, кто хотел сделать из вас преступника. Или докопаюсь до случайности и докажу причины этой случайности, ибо ничто так не причинно, как случайность. Я ведь не тороплю вас. Но в случае, если вы станете продолжать упорствовать, я...

– Прикажете вогнать мне иглы под ногти? – не выдержал Курт.

– Ни в коем случае. Я буду вынужден вызвать на допросы ваших друзей: господина Гуго Шульце, господина Эгона фон дер Брема, графиню Ингрид Боден-Граузе, и они наверняка помогут мне установить правду.

«Вот оно, самое страшное, – подумал Курт, – это страшнее иглоков, каблуков, карцера. Самое страшное – это когда ты чувствуешь беззащитность моральную, а не физическую».

*«Совершенно секретно,
IV отдел РСХА.
Сектор по борьбе с подпольем в Германии.*

В целях продолжения работы с арестованным Куртом Штраммом прошу установить наблюдение, включая прослушивание телефонных разговоров, за его ближайшими друзьями: экономическим советником министерства авиации Гуго Шульце, бароном Эгоном фон дер Бремом и журналисткой графиней Ингрид Боден-Граузе. Фотографии прилагаются.

*Начальник сектора
штандартенфюрер СС Беккер».*

*«Согласен. Прошу поддержать просьбу Беккера.
Бригадефюрер СС Мюллер».*

*«Не возражаю.
Гейдрих».*

*«О наружном наблюдении за экономическим советником министерства авиации Гуго Шульце рейхсмаршалу Герингу не сообщать.
Гиммлер».*

10. И БУДЕТ ДЕНЬ, И БУДЕТ ПИЩА...

Солнце пробивалось сквозь жалюзи ровными полосами лучей, по цвету похожими на расплавленную сталь. Черные тени безжалостно резали ковер, серебряные тувельки, атласное кресло, на которое брошены были синее платье, пачка сигарет и книга, раскрытая рукой человека, любящего читать и читать умеющего: корешок не был смят, и в том, как была раскрыта книга, не чувствовалось насилия над вещью.

Ингрид долго смотрела на жестокую белизну стальных линий, которые разрезали ее спальню. Она слышала голос садовника Карла – он уже давно подстригал газоны в парке; наверное, он начал подстригать их вскоре после того, как Ингрид вернулась с приема у шведского посла. Только раньше Карл старался работать тихо, чтобы не будить дочь графа, а теперь, по его разумению, спать было грешно, потому что солнце уже в зените и горничная (кажется, это был голос Эммы) звала садовника на второй завтрак.

Ингрид включила радио. Диктор читал последние известия: фюрер сдал в фонд обороны империи медные ворота рейхсканцелярии. По всей Германии проходит кампания, провозглашенная рейхсмаршалом Герингом: сбор металла для победы над англо-еврейскими банкирами. Укрепляются экономические связи с Россией. Премьер Франции Пьер Лаваль принял германского посла и имел с ним дружескую и откровенную беседу по вопросам дальнейшего развития отношений между рейхом и Францией. Выступая на митинге в Загребе, поглавник «независимой державы Хорватской» Анте Павелич заявил, что новый порядок в Европе несет всем народам истинную свободу, которую гарантируют гений фюрера и дуче, мощь их великих армий, доказавших свое мужество и несокрушимую силу в боях против плутократов. Температура в Берлине плюс двадцать три градуса, ветер юго-западный, умеренный, к вечеру возможна гроза.

Ингрид поднялась, внимательно осмотрела себя в громадном зеркале, вмонтированном в стену спальни: когда была жива мама, к девочке приглашали балетмейстеров из

Берлинского театра оперы, и только два года назад Ингрид попросила шофера снять шедший вдоль зеркала станок, за который она держалась, отрабатывая балетные позиции.

Ванная комната была отделана серыми мраморными плитами, и однажды Ингрид пошутила: «Папа, я чувствую себя в моем бассейне, будто в нашем фамильном склепе».

В воду, казавшуюся серо-зеленой оттого, что мрамор был именно такого цвета, Ингрид налила хвойного экстракта; вода потемнела, сделалась темно-желтой, и запахло лесом, далеким, не здешним, а баварским, куда семья Боден-Граузе уезжала на все лето. Но после того как под Варшавой погибли два сына графа, младшие братья Ингрид, а мать, не перенеся горя, умерла, дочь и отец ни разу не покидали Берлин.

Узнав о гибели сыновей, граф сказал:

– Это отмщение за мою пассивность. Нельзя просто болтать о тупости ефрейтора, против него надо было сражаться. Я повинен во всем. Мне нет прощения.

Он сказал это спокойно, так спокойно, как редко говорил дома, и Ингрид больше всего испугало это оцепенелое спокойствие отца. Она любила его больше всех в семье, и она не ошиблась, почувствовав нечто **конечное** в словах отца. Он действительно решил уйти к сыновьям и даже наметил точную дату: сразу же после того, как закончит необходимые формальности, вызовет управляющих из померанских и баварских имений, составит завещание и встретится с теми своими друзьями, которые смогут оказывать покровительство жене и дочери в том случае, если им придется сталкиваться с представителями власти безумного ефрейтора.

Но когда мать Ингрид умерла от разрыва сердца, не перенеся гибели мальчиков, граф – так же методически и рационально – отменил свое решение о самоубийстве до той поры, пока Ингрид не выйдет замуж. Пригласив дочь, он сказал ей:

– Поскольку ты рождена аристократкой, Ингрид, мне нет нужды повторять очевидное: только нуворишам, дорвавшимся до богатств, кажется, что им все дозволено. Ты воспитывалась в роскоши с детства, это было привычным, но я всегда старался внушить тебе, что истинному аристократу дозволено очень немногое. Мальчикам можно было остаться в Берлине, но закон нашей родовой чести не позволил им сделать этого, и они пошли на фронт и погибли, как другие немцы. Я бы не гневил господ, если бы они умерли во имя торжества Германии. Но они умерли во имя гибели Германии, и поэтому я хочу поделиться с тобой кое-какими соображениями.

Голос отца был сух и лишен каких-либо эмоций: волнение старика можно было угадать лишь по тому, как он то и дело ровнял длинными своими пальцами листки бумаги, сложенные в стопку.

– Я помню твоё увлечение Кантом, – продолжал Боден-Граузе. – В юности все должны пройти через это. Считать себя, то есть субъект, первоосновой бытия, который фактом своего появления на свет порождает этот мир, замечательно и мудро. Но время Канта кончилось. Во всяком случае, на тот период, пока на нашей родине безумствует ефрейтор. Всем будет навязан кошмар. Каждому немцу, – повторил старый граф, – уготован кошмар, какого еще не было в истории человечества. Если бы я считал этот кошмар преходящим, если бы он был подобен инквизиции – добрые цели при вандализме их достижения, – я бы смирился, Ингрид. Государством можно управлять только в том случае – особенно в век аэропланов, танкеток, метрополитенов, – если человек, взявший на себя **бремя** управления, подготовлен к этому сложному, мучительному, испепеляющему творчеству. Извини, что я говорю так длинно, я несколько взволнован.

Ингрид никогда еще не видела отца таким. Она положила свою широкую теплую ладонь на его длинные пальцы, и губы отца на какое-то мгновение дрогнули, что-то сделалось с лицом, но это было только на миг. Он продолжал обычным, скрипучим, размеренным голосом:

– Можно принять крест и незаслуженную муку, если веришь, что твоя безвинная смерть принесет пользу делу соплеменников. Легко смириться с лишениями, которые обрушились на тебя и твою семью, если ты убежден, что лишения эти продиктованы целесообразностью и логикой. Но если ты видишь, что страной правит банда, лишенная знаний, лишенная понимания истории, лишенная моральных устоев, правит по законам бандитской шайки, тогда терпение становится актом подлости. Нам, Боден-Граузе, дозволено немного, ибо наше состояние позволяет нам всё. Так вот, нам более не дозволено **терпеть**. Кажущаяся сила ефрейтора, кажущееся его торжество чреватые таким страшным отмщением, которое уничтожит не его – государство; не их шайку – германский народ. К сожалению, единственная сила, которая сможет противостоять ефрейтору, находится не на западе, а на востоке. Год назад умные люди говорили со мной о действиях. Это было до начала польской кампании, но я тогда верил, что запад сломит выскочку. Я отказался продолжать разговор, потому что вели его люди иной идеи. Нет, нет, они нашего круга, это немцы, – пояснил граф, заметив в глазах дочери испуг. – Сейчас я исправил свою прежнюю ошибку... Нет, не ошибку... Я сейчас пытаюсь искупить свою вину... Хотя вина перед прошлым не может быть искуплена. Это подобно тавру, это навечно. Словом, если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты знала те мотивы, которые подвели меня к **действиям**.

– Если с нами что-нибудь случится, – поправила Ингрид.

– Тебя они не тронут. Я перевел на тебя половину имущества, и тебе предстоит порвать со мной: сейчас дети часто рвут с родителями. Предлог я тебе подскажу, посоветовавшись с моими новыми коллегами.

– Ты меня неверно понял, папа. Я не буду бездействовать. Ты прав, нам, людям нашего круга, дозволено слишком мало, чтобы я могла **наблюдать** твою борьбу и всеобщую покорную тупость.

Ингрид опустила в ванну, в белую пушистую пену, которая скрывала под собой темно-бурую воду, и пена была похожа на ту, которая крутится над водоворотами в их речке в Баварии, только там иногда в такую же пену попадала ветка или распластаный лист бука, и они вдруг начинали вертеться и исчезали, затянутые в таинственную пучину незримой, страшной силой.

Наблюдая за водоворотами там, в Баварии, Ингрид впервые задумалась над тем, почему сила истинная, могучая обычно не видна, не фиксируется глазом, являясь одной из высших тайн бытия.

Она внимательно присматривалась к людям своего круга, к мужчинам таких же, как и она, фамилий. Они казались ей лишенными истинной силы. В них все было внешним: ловкость, достоинство, юмор, снисходительность. Но в них не было того, что, как казалось Ингрид, отличает истинного мужчину: в них не было двух чувств – вины и постоянного сострадания к окружающим, что и составляет в конечном счете силу. Считая себя дворянами, продолжателями истинно аристократического прусского духа, мужчины ее круга старались во всем походить друг на друга и не понимали, что этим самым они невольно разрушали свое личностное начало. С детства – видимо, под влиянием отца – Ингрид отстаивала свое право быть именно Ингрид Боден-Граузе, и никем другим она быть не желала. Она не хотела брать, ей, наоборот, хотелось отдавать частичку своего «я» окружающим, но это должна быть она, только она, а не какая-то часть обезличенного кастового «мы».

Без того девичьего трепета, который так сентиментально воспевался в мещанских фильмах гитлеровского кинематографа, она пришла в холостой, неряшливый дом Томаса Шарре, испытателя самолетов на заводе «Фокке-Вульф», и осталась у него, и потом часто оставалась у него – это было ее право распоряжаться собой, и она никому этого права отдать не хотела. Когда Томас предложил обручиться, она отказалась.

– Милый, неравенство уровней, пока оно существует, не позволит нам быть счастливыми. И потом я терпеть не могу слово «супружество». Оно противно слову «любовь».

– Мне казалось, это нужно тебе, – сказал Томас.

– Почему? – Она пожалала острыми мальчишескими плечами. – Существующему неравенству надо противопоставлять личное равенство, надо чувствовать себя свободным, только тогда мы сможем любить друг друга.

Томас разбился, выполняя мертвую петлю в ущелье – надо было проверить устойчивость нового истребителя в условиях горной местности. Ингрид тогда впервые напилась: она пила рюмку за рюмкой и перед тем, как упасть, ощутила тепло и увидела над собой доброе лицо Томаса. Она почему-то услышала его слова, он сказал их за неделю до гибели:

– Только свободный может любить, говоришь ты? Но свободный имеет свободу выбора, замены, поисков. Значит, я волен завтра полюбить другую?

– Ты не сможешь полюбить другую, потому что знаешь, как я люблю тебя, – ответила тогда Ингрид. – Но ты можешь привести другую к себе и оставить ее на ночь, и эта свобода выбора еще больше привяжет тебя ко мне – так что лучше без нужды, пока ты любишь меня, не ищи.

– А ты? Ты бы смогла?

– Конечно, – ответила тогда Ингрид, и, вспомнив растерянного Томаса, от которого осталась только обгоревшая кисть с часами, продолжавшими тикать, она заплакала громко, навзрыд, неутешно, а потом провалилась в долгое и тяжелое забытие.

...Ингрид оделась и вышла в столовую.

– Эмма, – позвала она горничную, – принесите мне кофе, пожалуйста.

Горничная принесла тостики, джем и черный кофе в высоком серебряном кофейнике.

– Граф у себя?

– Граф уехал. Он ждал вас к завтраку, но потом понял, что вы поздно вернулись, и выпил кофе один.

– Как он себя чувствовал?

– Он улыбнулся мне и сказал, что погода обещает быть хорошей.

– Лицо у него было не очень отечное?

– О нет! Он выглядел как обычно.

– Попросите, пожалуйста, заправить мой автомобиль, я уезжаю в редакцию.

– Машина уже заправлена.

– Поблагодарите шофера, пожалуйста. Да, справьтесь у секретаря: Курт Штрамм не звонил?

Горничная вернулась через минуту:

– В ее записях имени герра Курта Штрамма нет.

– Хорошо. Спасибо.

Подумав о Курте Штрамме, она почувствовала нежность. После того как погибли братья, Ингрид перенесла на него часть своей любви к мальчикам.

«Какой он нежный, – часто думала Ингрид, – вроде девушки, и ямочки на щеках, как у девушки, и краснеет так же, и обидчив не по-мальчишески. Но он очень чистый и верный – он никогда не лгал, даже в мелочи».

Она была против того, чтобы вовлекать в борьбу Курта Штрамма. Ингрид считала, что борьбу может выдержать тот, кто готов потерять. Такого рода готовность появляется у тех, кто много прожил и понял скуку жизни, если смысл ее сводится только к еде, сну и дозированным часам службы.

А Курт Штрамм был слишком молод и постоянно счастлив. Он еще не подготовлен к возможному исходу, считала Ингрид. А может, в глубине души она жалела юношу – она-то

знала точно, что ее ждет, и была готова к тому страшному, на что она счастливо и всецело обрекла себя.

...Впервые встретившись с Гуго Шульце, который стал потом ее руководителем, Ингрид сказала ему, что готова делать лишь то, что не входит в противоречие с понятием чести и достоинства. «И еще, – добавила она, – я не умею выполнять чужую волю. Я должна понять и лишь тогда смогу делать». «Вы правы, – ответил Гуго. – Я тоже прошел через это и не призываю вас к изживанию врожденной чувствительности, понимая, как надо ценить это истинно аристократическое чувство. Но, чтобы вы смогли приносить пользу, пожалуйста, согласитесь на предложение одного из наших женских журналов – мы сделаем так, что к вам обратятся сразу несколько, – поработать у них, поехать по Германии и сопредельным странам, написать для них кое-что. Эту просьбу вы сможете выполнить?»

Ингрид скоро уехала в Гамбург и там, как ей и посоветовал Гуго, поселилась не в «Имперiale» и не в «Кайзерхофе», а в маленьком портовом пансионате с холодным туалетом в конце коридора. Это было началом ее «легенды». Ей предстояло – по замыслу одного из руководителей антигитлеровского христианского подполья, связанного с Москвой, – стать особо доверенной связной. Значит, надо было, во-первых, приучить гестапо к тому, что графиня Ингрид Боден-Граузе любит разъезжать по стране и не лишена чудачеств (скорее всего там предположат сексуальную неуравновешенность аристократки, раз она во время своих поездок живет в труппах), а во-вторых, такого рода поездки позволят Ингрид выйти из рамок касты по-настоящему, не духом – духом она никогда не была в касте, – а знанием иной жизни, забот и интересов других людей.

...Ингрид вышла в сад: большая стеклянная дверь была распахнута, и ветер осторожно играл шторами. Ингрид опустилась в большую качалку и, закрыв глаза, слушала, как тяжело, словно бомбовозы, гудят шмели вокруг громадной клумбы, обсаженной желтыми розами.

Первый раз Гуго отчитал ее за то, что Ингрид посмела написать о судьбе двух маленьких девочек, которые жили с больной матерью-уборщицей в ресторане. Девочки приходили на кухню, и мать отдавала им свою порцию супа. Сердобольный повар подкладывал девочкам по куску мяса. Однажды это увидел метрдотель и донес хозяину, который немедленно рассчитал уборщицу. У несчастной открылся туберкулез, и ее положили в больницу. Ингрид написала об этой трагедии для журнала. Репортаж ее не был, естественно, напечатан, потому что вмешалась цензура, но девочек взяли в приют. Редактор с тех пор стала странно смотреть на Ингрид, которая «делает столь скоропалительные выводы из частного случая».

...По дороге в редакцию Ингрид заехала в тот дом, куда изредка навещался Гуго: являясь ответственным работником министерства авиации, он не был связан во времени и обычно завтракал в обществе друзей, либо в каком-нибудь маленьком ресторанчике, либо в тихих особняках на Ванзее. Встречи с Ингрид в этих аристократических домах были понятны и ни у кого подозрений вызвать не могли.

Однажды Гуго приехал сюда с офицером СС из свиты Гейдриха; он не предупредил друзей, что привезет эсэсовца, и пожалел об этом, потому что Ингрид, Курт и Эгон, как и два других человека, сидевшие с ними за столом, не смогли скрыть страха.

Гуго потом посоветовал Ингрид: «Если эсэсовец пригласит вас в машину, любой эсэсовец, шутливо попросите его показать ордер на арест; они любят, когда их боятся, и в том, как он вам ответит, вы прочтаете человека, его суть».

Сегодня Гуго был в особняке один. Он рассеянно предложил Ингрид кофе; не дослушав даже ее отказа, налил себе, пролив две капли на скрипучую от крахмала скатерть, и сказал:

– Через несколько дней начнется война с Россией.

– Этого не может быть...

– Вам надо завтра выехать в Краков. Вас попросят об этом в редакции. Тема: забота национал-социализма о детях – жертвах войны; в Кракове открыт приют для осиротевших

украинских младенцев. Встретитесь там с человеком. Выше среднего роста, в сером костюме, со значком члена НСДАП в петлице. – Гуго открыл альбом с фотографиями Кракова и ткнул пальцем в мост через реку: – Здесь. В восемь часов вечера, возле первой скамейки справа. То есть вот тут. – И он снова ткнул пальцем в едва заметную на фото скамейку. – Человека вы не знаете. По легенде вы Магда, учительница из Ростока. Договоритесь с ним о формах связи.

– На вас нет лица, Гуго...

– А вы думаете, на вас оно есть? – ответил Гуго жестко и даже, как показалось женщине, зло. – На ком сейчас есть лицо? На ком?! Мы были обезличены с тридцать третьего года, но то хоть были маски жизни – шутовские, ничтожные, смеющиеся – а все-таки жизни! Сейчас на каждом из нас маска смерти! Простите, – оборвал он себя. – Простите, Ингрид. Пожалуйста, будьте в Кракове осторожны: это прифронтовая зона. И еще: воспользуйтесь советом Геринга – «сердитесь, сохраняя улыбку». Я не знаю человека, к которому вы едете. Я не знаю, кто это. Понимаете? Поэтому я очень за вас волнуюсь... И перекрасьте ваши черные волосы в белые – для провинции вы не есть эталон арийки... Свяжитесь с Куртом Штраммом, он бывал в Кракове до войны, катался на лыжах в Закопане...

– Я не могу с ним связаться уже третий день, – ответила Ингрид.

Гуго приподнялся со стула и, словно переломившись, потянулся к Ингрид:

– Он не звонил со вторника?!

– Да.

– Вы искали его, и он не отвечал?

– Да. Что-нибудь случилось?

Гуго непонимающе взглянул на Ингрид, закурил, зажал между пальцами ложечку, согнул ее и только потом ответил:

– Нет. Ничего не случилось... После того как возьмете билет на Краков, возвращайтесь сюда – я сам отвезу вас, но не на вокзал, а на одну из пригородных станций.

– Вы хотите посмотреть, не следят ли?

– Да, – медленно ответил Гуго. – Неужели вы были правы, когда не советовали привлекать Курта? Действительно, он ведь еще дитя... У меня в ванной есть краска для волос – сами что-нибудь сможете сделать или нужен парикмахер?

11. МИКОЛА, СЫН СТЕПАНА

Сюда, в Нойхаузен, под Бреслау, зимой сорок первого в длинный, давно уже нежилой фольварк с особенным, немецким, хоть и крестьянским, запахом, ночами, в крытых грузовиках, на бортах которых свежей масляной краской было написано жирно «Обст унд гемюза», из Кракова, Варшавы и Люблина привозили эти самые «овощи и фрукты» – кулацких сынков, отобранных бандеровскими вербовщиками, пропагандистами и громилами из «службы безпеки» на землях генерал-губернаторства. Привозили их сюда, расселяли на втором этаже, подальше от окон, повыше от чужих взглядов, заводили в кабинет со стеклами, замазанными зубным порошком, на беседу с Романом Шухевичем и герром Теодором Оберлендером, который хоть и говорил не по-украински, а на москальском наречии, но понять его было можно, потому как слова он произносил певуче, медленно и глядел добро, с открытой, а не надменно снисходительной симпатией. Потом парням выдавали немецкую форму, но не военную, а «трудового фронта», вручали каждому тупорылый автомат, запас патронов и везли в «овощных» крытых машинах на стрельбище. Там инструкторы, говорившие кто на украинском, кто на чешском, русском или хорватском, обучали парней стрелять «от живота», с ходу, падая на колени, из-за укрытия; бить ножом растопыренное, по-человечески тугое чучело; учили схватываться друг с другом, рвать руку из плеча,

заламывать кисть, ударять «промеж глаз», находить «темечко» для того, чтобы противника повалить в моментальное беспмятство.

Большая часть этих парней уже прошла военную подготовку в группах ОУН. После разгрома Польши эти ячейки были созданы во многих районах генерал-губернаторства, получали от новых властей помощь: им давали помещения, инвентарь, соответствующую литературу и определенную субсидию. Вообще-то новая власть деньгами не швырялась, но все же платила больше, чем русским эмигрантам. (Те получали крохи, еле-еле сводили концы с концами: шеф «Национального союза русской молодежи» получал от гестапо пятнадцать тысяч злотых в месяц, руководитель РОВС генерал Ерохин – столько же, и лишь Буланов, главарь «Русского национально-политического комитета», вошел в контакт с министерством пропаганды, и Геббельс отвалил ему тридцать тысяч – как-никак организация побогаче, чем гестапо, да и потом Буланов пропагандой занимался, за нее всегда дороже платят, чем за простое доносительство.) Молодым оуновцам сообщили об этом факте, пояснив, что на них, на бойцов Степана Бандеры, смотрят иначе, чем на здешних москалей, – в этом знак, который только дурак не поймет.

Но среди подготовленных оуновцев оказались и совсем молодые – немец потребовал цифру, он до цифры охоч: восемьсот человек должны быть откомандированы в батальон «Нахтигаль», что по-русски значит «соловей». Семьсот человек были уже проверены в деле. Среди ста других, которые отличались от остальных людей планеты тем разве, что говорили по-украински, радовались «Рушнику» и жили в мазанках, а не в коттеджах, избах или бунгало, оказался Микола, сын Степана Шаповала, крестьянина, который, когда пришли Советы на западные украинские земли, был, на беду, в генерал-губернаторстве, и земляшка его была распахана, расчищена граблями, и на ней поставили пограничные столбы, опутали проводами и пропустили через них электрический ток: корова дотронется – бьет насмерть, аж язык вываливается, черный, вспухший, в кровавом предсмертном закусе.

Степану дали, правда, землицы взамен приграничной, но возле оврага, затененную, с рыхлинкой. Вот тогда-то и пришли к нему оуновцы, и объяснили ему вину москалей, и пообещали помощь, когда советская власть развалится, а пока дали маленько деньжонок: христианину не сумма важна, а забота, сумму-то он все равно должен своими руками выколотить, иначе дети помрут с голоду.

Будучи человеком совестливым, Степан, когда к нему в феврале пришли, отправил сына Миколу отслуживать добро, да и земельку свою возвращать надо: сам не возьмешь – другой заберет. Когда большая драка начинается, ударять надо первым.

Вначале Микола в фольварке грустил. Не нравилось ему, как нахтигалеvцы вышучивали его, по-барски грубо, заставляя прислуживать – привыкли, видно, дома к этому. Не нравилось, как немецкие хозяева смотрели, особенно когда по вечерам парни собирались в кружки петь песни. Хозяева глядели с пересмешкой и чистили зубы деревяшечками, посматривая время от времени то на парней, то на **беленькое**, что вытаскивали изо рта. Миколу аж передергивало, когда хозяева счищали беленькое пальцами и снова лезли в зубы деревяшечками, не прикрывая рта, словно одни были или с каким скотом бездумным.

Микола заметил, что часть новобранцев тоже на хозяев косилась, но не ведал парень, что они уже прошли кое-какую **школу**, а он был совсем еще новенький, чистый, он своего скрывать не научился. Старшим бандеровские агитаторы объясняли, что это есть временная **политика**, но главное будет дальше. С ними уже проштудировали лозунг Коновальца, взятый у Лойолы, – «Цель оправдывает средства».

Одно было спасение для Миколы – настреляется за день, надерется, напрыгается с вышек на шею «врага», накричится, если другой нахтигалеvский **освободитель** окажется сильнее и руку за лопатки вертанет так, что в глазах зазеленеет, – вернется, ляжет на койку во втором ярусе и забудется, вздрагивая, в тревожном сне.

Когда строевые занятия кончились и каждый в присутствии двух командиров «Нахтигалья» – немецких, обер-лейтенанта Харцнера и Оберлендера, и украинского, Романа Шухевича, сдал зачеты и получил в личное пользование оружие: автомат под номером, кинжал и гранаты, тогда начались занятия по политике.

Из Кракова на немецких машинах приезжали Лебедь, Стецко и Старух. Они объясняли легионерам, как сильна великая Германия и какой гений есть Адольф Гитлер, понятно и доходчиво учили, что как только придет на Украину армия великого фюрера и освободит народ от Советов, так сразу же настанет жизнь райская: начнется царство справедливости, ибо всякий украинец – брат украинцу, а все несчастья происходят в мире только тогда, когда правят коммунисты – свои и чужие, другой крови.

– Господин Лебедь, – спросил Микола по наивной своей молодости, – а как же так – господь наш Иисус Христос, Сын Божий, жидовской крови, а правит душами нашими, давая надежду и утешение бедным и обиженным?

Лебедь улыбнулся, внимательно оглядев юное, не знавшее еще бритвы лицо парубка.

– Парень, – ответил он, – Христос бескровен, он ведь – ты сам сказал – Сын Божий.

– Не, – упрямо не согласился Микола (тут можно со всей искренностью говорить, не под поляками ведь, а со своими), – нет, – повторил он, – кровь у Христа из ладоней сочилась, когда калеными гвоздями распяли тело Его.

– Микола, тебе не легионером, а проповедником быть...

Нахтигалевцы засмеялись; дружное ржание прошло по столам, но здесь были свои, поэтому Микола тоже улыбнулся, однако упрямо продолжая свое:

– Господин Лебедь, а вот когда мы под панями стонали, так ихний холоп, польский-то, наравне с нами страдал...

В помещении сделалось тихо. Легионеры переводили сузившиеся глаза с юного Микола на резко рубленое, молодое еще, но в волевых морщинках лицо помощника Бандеры.

– И ляхи твоего отца не теснили? – спросил после долгой паузы Лебедь.

– Ну как не теснили?! – удивился Микола. – Еще как теснили! И хлеб забирали на армию, и коня! Еще б – не теснили...

– Ну, – облегченно ответил Лебедь, – я об этом и говорю. Чужой по крови, он и есть чужой.

– Так и у Седлецких хлеб забирали, и у Бочковского коня со двора увели! А ведь поляки!

– А вот интересно, что у вас про Советы говорили? – особым, **искренним** голосом спросил Лебедь, и Микола не обратил внимания на то, как слишком уж он открыто улыбнулся ему, приглашая к откровенному разговору.

– Разное говорили, – ответил Микола. – Дядька Остап говорил, что под Советами голодных нет, за школу платить не нужно, в театрах на украинском играют и что песни у них поют не хуже, чем в «Просвите».

– Врет он! – жестко сказал Лебедь. – Как фамилия дядьки Остапа?

– Буряк, – сказал Микола. – Остап Буряк, мы с ним в родстве.

...После первого урока политики Миколу, сына Степана, восемнадцати лет и семи месяцев от роду, направили на кухню постоянным дневальным. Такому обороту дела он обрадовался, потому что ежели черпак большой, значит, и миска своя.

Микола не знал и не мог, естественно, знать, что Лебедь уже обсудил его судьбу с Романом Шухевичем. Лебедь предложил вернуть парня домой, после того как легион передислоцируют в Санок, к русской границе. Однако Шухевич, побеседовав с офицером СС Крюгером, прикомандированным к «Нахтигалю», решил по-иному – оставить Миколу для того, чтобы на его примере воспитать остальных.

– Во Львове, – говорил Лебедь на следующем занятии, зная, что в помещении теперь одни лишь свои, **недоумок** кастрюли драит, – в первый день надлежит вам, хлопцы, ликвидировать комиссаров и чекистов: своих, украинских, спервоначала. Потом москалей, жидов и поляков. На каждого в день я кладу десяток. Всего вас восемьсот. За десять дней, таким образом, мы уберем всех врагов – дышать станет легче, да и место для тех наших, кто приедет следом из генерал-губернаторства, надо освободить. Я главные-то имена назову, а вы запомните. От этих главных круги себе разрисуете, их бесы тоже пятерками живут: вокруг главного – пять прихвостней, у каждого из этих пяти – своих еще с полтора десятка. А это легко, когда много. Один не дрогнет – другой развалится. Особенно бабы и дети: на них жмите, если тот, кто нам нужен, скрылся. Записывать, конечно же, ничего не надо, вы разведка, вам бумага и перо ни к чему, это для интеллигентиков там разных – писать, а нам делать надо. Очи закройте, отдохните малость, в себя поглядите, успокойтесь... Вот так. Готовы?

И Лебедь открыл папку и начал читать списки.

Громадные списки эти начинались с украинских фамилий. Коммунисты и беспартийный советский актив – в первую очередь. Потом пошли русские, польские и еврейские фамилии, которые в свою очередь подразделялись на два сектора. В тот, который именовался «№ 47/12», были занесены имена и адреса офицеров-пилсудчиков, известных своими отлаженными связями в армии. Этот список Бандера не утверждал в абвере. Этот список Бандера не утверждал и с Оберлендером, ибо понимал, что столкнется с возражением; опыт создания гитлеровцами «сил збройных» – польских вооруженных жандармов, надзиравших за украинскими районами в генерал-губернаторстве (при немце они пороли страшнее и безнаказанней даже, чем при пилсудской власти), – подсказал Бандере единственный путь: одним ударом уничтожить потенциального конкурента и врага, верой и правдой служившего одному с ОУН хозяину – Гитлеру.

Список украинских и польских интеллектуалов – цвет Львова, гордость Советского Союза и Европы, причем не только Европы славянской, – был утвержден Оберлендером, и уничтожение тысяч профессоров, врачей, художников и писателей было санкционировано. Второй список как бы прилагался к первому: список – он и есть список, в него, как в трамвай, можно натолкать – не лопнет; удобное это дело – **список** на расстрел: он развязывает руки в главном, а под главным всегда можно протянуть **свое** .

12. БЕСЕДЫ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Уставших с дороги Омельченко и Елену поместили в доме, где жил Роман Шухевич. Им отвели ту комнату, где обычно останавливался Ярослав Стецко, – маленькую, с окном, выходящим на огород, разросшийся, словно сад: лето было раннее и жаркое, а в мае прошли хорошие дожди.

Шухевич, как заметил Штирлиц, был с Омельченко почтителен, несколько даже подобострастен, но в глазах его то и дело мелькала особая игра – такая появляется, если только с врагом говоришь.

Штирлиц решил не мешать Шухевичу и Омельченко: первая беседа самая ответственная, когда притираются разногласия. Он был убежден, что Омельченко завтра расскажет ему все с мельчайшими деталями.

Шухевич, начальник воинских соединений Бандеры, был уполномочен вести любые переговоры с представителями других групп националистов.

«Пусть поговорят, – решил Штирлиц, – эта первая их беседа с глазу на глаз поможет мне войти в здешнюю атмосферу».

... А Штирлица на ужин пригласил Оберлендер. На столе был жареный гусь с яблоками, хлеб и бутылка хорошей горилки – немецких наставников снабжали продуктами из краковских армейских складов.

– Не рветесь из этой дыры в Берлин? – спросил Штирлиц.

– Рвусь. Видимо, урбанизм так же едко входит в моральные поры человека, как бензиновая копоть – в поры телесные.

– Урбанизм – это идея, – заметил Штирлиц, – а всякого рода идея порождает антиидею. Не пройдет и десяти лет, как вы станете яростным поклонником деревенской благости.

– Это рискованное утверждение, – ответил Оберлендер. – Прошу к столу, оберштурмбанфюрер.

– Благодарю.

– Начнем с горилки? Я готовлюсь к русской кампании: у них в отличие от нас сначала пьют, потом закусывают.

– Да?

– Да. И это правильной. Алкоголь дает обострение чувственного восприятия. А разве этот жареный гусь не есть сгусток чувств?

Штирлиц посмотрел на породистое лицо Оберлендера и не сдержался:

– Всякий молодой мыслитель обычно старается утрированно ярко излагать мысль, а сказать-то нечего: философия – наука возраста.

На какое-то мгновение Оберлендер стал словно скованный, даже заметно было, как он напряженно прижал к бокам толстые руки, но потом, расслабившись, резко потянулся к бутылке.

– В отношении молодости вы правы, – сказал он, стараясь не казаться обиженным, – и в отношении философии тоже. Но я – иного типа мыслитель: мне все смешно. Мои сентенции не что иное, как тяга к юмору, которым судьба меня обделила. Впрочем, всех немцев судьба обделила юмором: даже интеллигенты у нас сплошь серьезные, скучные профессора, страдающие так открыто, что это граничит с кокетством.

– Ну, уж если откровенно, вы тоже кокетничаете, говоря, что вам все смешно.

– Знаете, оберштурмбанфюрер, мне приятно с вами, – искренне сказал Оберлендер. – Вы не скрываете своей антипатии; значит, мне не надо вас опасаться – люди вашего ведомства тогда только опасны, когда они проявляют чрезмерную доброжелательность.

– Bravo! – сказал Штирлиц. – Это верно. Bravo!

Оберлендер положил Штирлицу ножку, а себе взял крыло.

– Приятного аппетита! – пожелал он и хрустко разломил крыло, и в этом треске раздираемой кости прозвучало для Штирлица что-то особенное, страшное – он даже побоялся признаться себе в том, что именно он почувствовал, особенно когда глянул на сильные, округлые, ловкие и мягкие пальцы Оберлендера. Внимательно оглядев крыло, тот открыл рот, белые ровные зубы его впились в мясо, и лицо сделалось сосредоточенным.

Какое-то время Штирлиц слышал только, что Оберлендер жевал, обсасывал, хрустал; он ел ужасно – словно работал. Покончив с крылом, он легко, словно промокашкой, тронул губы салфеткой и спросил заботливо:

– Как гусь?

– Великолепен.

– Господи, я забыл о приправах! – ужаснулся Оберлендер. – Сейчас скажу дневному – на кухне в холодильнике отменные приправы!

Оберлендер вышел во вторую комнату, которая служила ему одновременно кабинетом и спальней, и набрал номер внутреннего телефона.

– Микола, будь любезен, принеси мне приправы из холодильника!

Вернувшись к столу, он начал обстоятельно прицеливаться к ножке, поворачивая в сильных пальцах кусок мяса, как ювелир – драгоценность.

– Что наш Рейзер? Не мешает? Сработались? – спросил Штирлиц.

– По-моему, он славный парень.

– Это не оценка работника гестапо: «парень» – либо возрастная категория, либо сексуальная.

– Я не сказал «парень». Я сказал «славный парень». Когда офицер армии так говорит об офицере гестапо, это не сексуальная и не возрастная оценка, оберштурмбанфюрер. Это оценка деловая.

– Это вы хорошо меня отбрили. Словом, сработались.

– Мне не приходится, к счастью, србатываться ни с кем из ваших. Я должен србатываться с подопечными. Они должны помочь успеху армии, а первый успех весьма важен, ибо он носит шоковый характер.

– Верно. Наши задачи находят полное понимание со стороны ваших украинских подопечных?

– Цели двух людей всегда носят разностный характер, даже при видимой общности. А что уж говорить о нациях...

В дверь постучали.

– Да! Войдите! – откликнулся Оберлендер.

Микола поздоровался со Штирлицем и поставил на стол приправы.

– Как настроение, Микола? – спросил Оберлендер. – Не грустишь?

– Работы много – грустить не успеваешь, – распевно ответил парень. – Ничего больше не потребуется?

– Нет, милый, спасибо. Хочешь рюмочку?

– Не велели – грех.

Посмотрев какое-то мгновение на дверь, осторожно прикрытую Миколой, Оберлендер задумчиво сказал:

– Несчастный парень... Его, видимо, расстреляют.

– Что?!

– Он оказался блаженным. Это распространено у славян... Он, знаете ли, ищет **правду**

...

– Зачем же стрелять?

– Таковую идею высказали Шухевич и Стецко. Идея устроила Крюгера и Рейзера. – Оберлендер взял еще один кусок мяса с блюда. – Казнь **своего** сплотит легионеров. Своя кровь сплачивает сильнее, чем чужая: орден тем и силен, что требует жертву, причем жертву из своих же рядов.

– В чем вина этого парня?

– В наивности. В детской, доверчивой, крестьянской наивности. Политика рейха этого не прощает, не так ли?

– Политика рейха не прощает изменников и требует ото всех абсолютной, предельной открытости.

– У меня создалось впечатление, что вы человек дела, оберштурмбанфюрер.

– Не понял.

– Вы все поняли.

– Я понимаю, когда мне делается ясной логика поступка. Здесь же я логики не вижу – досужие игры в средневековье.

– Парень попал сюда случайно, оберштурмбанфюрер. Хотели привлечь его отца, но семья оставалась без кормильца; парень оказался наивным бычком – такие опасны в годину крови. Он уже все знает, поэтому отпустить его нельзя. Значит, его надо использовать. Во имя дела.

– Теперь понятнее. Какие задачи вы, лично вы, ставите перед легионерами?

– Лично я ставлю задачи перед студентами, когда надеваю мантию доктора права и государственных наук Пражского университета. Там я ставлю задачи. Здесь же я провожу линию, определенную моим командованием.

– И как вы понимаете эту линию – применительно к вашим подопечным?

Штирлиц сформулировал вопрос так, чтобы заставить Оберлендера ответить: вопрос, обращенный к **личности**, делал невозможным уход от ответа.

– Еще горилки?

– С удовольствием, – ответил Штирлиц.

– Что касается того, как я вижу свои задачи в будущей кампании, то однозначного ответа дать нельзя. Видимо, следует выделить два основных аспекта проблемы: крестьянство как объект превращения в придаточный аграрный потенциал рейха и славянскую интеллигенцию как вероятного противника этого неизбежного процесса.

– Постановка вопроса абсолютна, но успех или неуспех мероприятия будут определять частности.

– Совершенно верно, – подняв глаза от остатков гуся, согласился Оберлендер. – Основные узлы этой проблемы я сейчас попробую сформулировать.

Оберлендер закурил, подвинул к себе пепельницу, сделанную из гильзы противотанкового снаряда, и начал говорить резкими, рублеными фразами:

– В конкретно-славянском случае проблема интеллигенции представляется мне первичной, поскольку марксизм определил ее как «прослойку». Прослойка – форма некоего накопителя, принимающего в себя представителей крестьянства и городских рабочих. Поскольку в России преобладало крестьянство, то, следовательно, накоплений от села в интеллигенции было больше, чем накоплений от города. Крестьянская идеология в интеллигенции стушевывает **порыв**, поскольку земля более склонна к эволюции, чем фабрика. Станок революционен по своей сути, ибо он несет в себе заряд соревнования с другим станком, тогда как земля едина и бесконечна в своей вечности. Видимо, наша задача заключается в том, чтобы столкнуть интеллигенцию, так сказать, станковую с интеллигенцией аграрной. Противопоставление всегда конфликтно. Третьей силе выгоден конфликт двух других сил. Ущербность самолюбия – инструмент борьбы. Когда ты представитель прослойки, когда ты ниже иных представителей общественных групп – с тобой легче говорить третьей силе.

– Управленческий аппарат вы относите к интеллигенции?

– Насколько мне известно, управленческий аппарат в России насквозь большевистский. Работать с ним бесполезно, ренегаты принесут мало пользы, ибо изменник обоюдоопасен. После того как будут изолированы фанатики, предстоит серьезная работа по расколу: ставка на тех, кто пришел от земли и с землей связан. Отсюда – скачок к крестьянству. Отличительная черта крестьянства – преклонение перед количеством. Чтобы освободить земли Украины для заселения нашими колонистами, можно избрать два пути. Первый – создание поселений, построенных по спектральному методу: в основе конструкции немецкий колонист или группа колонистов, а вокруг бараки украинских агрорабочих, выполняющих задания рейха, доведенные до них нашими поселенцами. Пропорция населения только в первые годы, в первые десятилетия будет устраивать нас. Рейхсфюрер обозначил необходимое количество детей в каждой немецкой семье – семь. Четыре мальчика и три девочки, – добавил Оберлендер, и Штирлиц хотел угадать **игру** в его глазах, но Оберлендер, словно поняв это, потянулся к бутылке и налил горилку в рюмки. – Значит, на украинских землях вновь возникнет конфликтная ситуация, ибо число наших колонистов будет расти, но и украинцы будут размножаться. С моей точки зрения, необходимо решить проблему таким образом, чтобы украинец сам попросил нас о переселении на Урал или в Сибирь. В этом нам должен помочь не только террор, но и **обращенная** интеллигенция, связанная с землей. Идея создания личных хозяйств на больших землях, идея общения с пахотой – помимо

немецкого колониста – только кажется рискованной, на самом деле она целесообразна. Биологическое несоответствие украинской мягкости и сибирской суровости обречет это племя на внутривидовой отбор, и мы снимем с себя возможные обвинения. Нужна песня и песенники, за которыми массы крестьян уйдут в Сибирь...

– Крестьянство России и Украины представляется вам темной, единой, безмолвной массой? Или вы как-то дифференцируете аграрный класс?

– Вы бывали в России? – задумчиво спросил Оберлендер.

– Даже если бы я и бывал там, мое мнение не имеет веса – я никогда не специализировался по славянской проблеме.

– Занятно, чего в вашем ответе больше: недоверия ко мне лично или к армии, которую я представляю?

– Вы представляете армейскую разведку. Не стоит смешивать понятия.

– В таком случае СД...

– Экий вы зубастый, – удовлетворенно заметил Штирлиц. – Но в принципе верно: СД – перчатки, в которых партия проводит кое-какие мероприятия. То же самое и с абвером – в системе армии.

– Я отвечу на ваш вопрос, – удобнее устроившись на стуле, сказал Оберлендер. – Вопрос интересный, на него стоит ответить.

– Вы ведь больше заинтересованы в ответе. Нет?

– Верно.

– Вы привыкли оценивать свои мысли со стороны. Вы отчуждаетесь, когда говорите?

– Слушайте, – серьезно предложил Оберлендер, – приходите в Пражский университет. Ректором, а? Мне будет легко работать с таким руководителем.

– Спасибо. Обдумаю ваше предложение. Итак?

– Крестьянство России и Украины, в общем-то, мало делимо: культура одна и та же, корни общие, киевские. Оно поразительно, их крестьянство... Советы создали в деревне новое сознание, коллективное. Коллектив ослабляет страх крестьянина перед засухой и неурожаем. Изолированная личность с большим трудом борется за свою жизнь. Вот тут и сокрыто главное звено, за которое следует уцепиться, чтобы вытянуть всю цепь. Надо доказать славянскому аграрию, что всякое посредничество коллективной техники между ним и землей не нужно. Надо всячески стараться вернуть славянского крестьянина к идее девятнадцатого века, согласно которой единственная ценность в мире – это руки пахаря, запах конского пота и отвальная жирность весенней земли. Техника – порождение дьявола. Понимаете? Россия, которая была матерью картофельных бунтов, Россия, которая противилась новшествам, ибо они **чужие**, есть объект, к которому особенно приложима умная пропаганда. Нужно помнить, что история сплошь и рядом порождает иллюзии: людям свойственно искать прекрасное в прошлом, идеализировать его. Надо помочь славянам в этом аспекте – иллюзия прекрасного прошлого должна стать программой будущего.

– Вы убеждены, что иллюзия прошлого победит в России иллюзию будущего?

– Если наше слово будет умным – победит. Если наше слово будет произнесено их проповедниками – мы выиграем.

– Кто, с вашей точки зрения, сможет проводить в жизнь «идею прошлого»?

– Мои подопечные в частности, – уверенно ответил Оберлендер. – Иллюзия прошлого покоится на фундаменте национализма.

– Но Советы здорово поработали над тем, чтобы национализму противопоставить интернационализм. Нет?

– В общем-то это верное замечание. Они работали серьезно с этой идеей, однако...

– Вам кажется, что идея Советов поверхностна? – спросил Штирлиц. – Двадцать пять лет большевизма легко забудутся?

– Хороший вопрос, – сказал Оберлендер и тяжело посмотрел на Штирлица. Он знал, что этот человек из разведки, и, хотя задачи его поездки, носившей явно инспекционный характер, были не до конца понятны ему, в одном нельзя было сомневаться: этот человек хочет знать правду, и он не боится ее узнавать. – Хороший вопрос, – повторил он задумчиво. – Широко распространенное мнение о насильственности большевизма в России ошибочно. Видимо, власть Советов – лучшая из всех, которая была там когда-либо. Славяне персонифицируют историю. От нас будет зависеть, каким способом мы утвердим, что наш «новый порядок» лучше прежней власти.

– И каким же способом это можно утвердить?

– Беспрекословностью подчинения и умелой пропагандой наших преимуществ.

– Вы имеете в виду социальные вообще или только бытовые преимущества?

– Последние.

– Значит, вы думаете предоставить славянам наши бытовые преимущества?

– Ни в коем случае. Только показать. Это вызовет в них преклонение перед нашей нацией, которая всего этого добилась. То, как долго мы этого добивались, – многозначительно добавил Оберлендер, – вопрос другого порядка.

– Вы смело говорите со мной.

– Я получил на это санкцию, оберштурмбанфюрер. – **Игра** в глазах Оберлендера была нескрываема, ибо он знал себе цену, понимая свою нужность рейху...

Однако назавтра, когда Штирлиц выслушал Омельченко, кое-что для него прояснилось: Оберлендер говорил лишь часть правды. Видимо, Оберлендер не успел обсудить с бандеровцами **нюансы**. То, что Шухевич сказал Омельченко, прибывшему с «миссией доброй воли» от Скоропадского, свидетельствовало об особой линии абвера.

Выслушав Омельченко, Штирлиц решил, что во время этой войны армия **заявит** себя не только умением брать противника в танковые клещи, но и **знанием**, как организовать тыл. Это был замысел той части генералов, которая рассчитывала вывести ОКВ в первый ряд иерархии, оттеснив гауляйтеров Бормана, экономистов Геринга и палачей Гиммлера.

Сейчас, судя по всему, армия решила заявить себя силой единой, неделимой и определяющей победу во всех ипостасях войны. Это было новое, тревожное новое, заставившее Штирлица заново проанализировать для себя вопросы, связанные с ролью вермахта в жизни рейха.

13. ЭКСКУРС № 2: ПОЛИТИКА И АРМИЯ

Будучи согласен с утверждением, что исторические параллели опасны, Штирлиц тем не менее вновь и вновь уходил в своих размышлениях к древним, исследуя настоящее. Он считал, в частности, что Ксеркс стал владыкой Азии потому лишь, что Галтиса, сестра великого Кира, бабка наследника, будучи воистину всемогущей, любила мальчика за его мягкую нежность. Она устала жить среди воинов с их шумными пьянками и сальными разговорами о распутных женщинах – только в молодости ей нравилось быть наравне с героями битв, к старости она захотела ощутить странное и горькое благо женственности.

Ксеркс, став царем персов, любил приходить во дворец Галтисы поздним вечером, когда кончались утомительные совещания с членами высшего совета, встречи с сатрапами завоеванных провинций, которых вызывали для отчетов, начальниками воинских соединений, информировавшими о положении на границах, и ловкими экономистами, что отвечали за состояние казны.

Лишь здесь, в доме бабушки, Ксеркс вновь ощущал себя **любимым**, он громко смеялся, рассказывая о прожитом дне, и Галтисе казалось, что внук продолжает свои детские игры, изображая в лицах Мардония, прирожденного воина, уставшего жить дома, в кругу семьи, без битв, дальних дорог и новых невольниц; Артабана, познавшего всю прелесть

высшей политической интриги, которая представлялась ему подобной историческому трактату, сдобренному хорошей поэзией, угодной и понятной богам, а потому столь заманчивой для смертных.

Галтиса любила Ксеркса, и эта любовь жила в ней вместе с постоянным чувством тревоги за внука: доброта и юность в мире сильных – опасные качества духа человеческого, ибо лишь сила может одолеть силу.

Галтиса воспитывалась в доме тирана, который приглашал двенадцатилетнюю любимую сестру на беседы с иностранными послами, чтобы девочка смогла познать стратегию политической борьбы. Великий Кир позволял сестре говорить все, что она считала должным сказать.

Став женой сатрапа, открывшего Азии равнины и холмы Европы, Галтиса сказала ему:

– Сколько прекрасных мужских лиц перевидала я в моих грезам, сколько слов сказали мне несуществующие любовники, сколько нежности испытала я в снах своих... Не говори мне о своей страсти: ты честен, и когда ты захочешь завести новую подругу, тебе будет стыдно смотреть мне в глаза, и ты прикажешь отравить меня, и это погубит тебя, ибо я сестра Кира, и боги станут тебе мстить. Относись ко мне как к другу. Когда ты захочешь устроить вакханалию, какие делал мой брат, чтобы успокоиться после трудных разговоров с врагами, скажи мне, и я уеду в горы, а ты сопроводишь меня до первых постов, и вернешься, и будешь счастлив, ощущая свою силу и величие; жена сатрапа должна позволять ему ощущать собственное могущество. Не держи при мне евнухов – я ненавижу соглядатаев, они предатели по натуре, а предавший своему своему предаст своего и чужому, ибо предательство заразно, как и трусость. Верь мне, тогда я смогу быть для тебя тем, кем была для брата.

Сатрап был счастлив в браке. Он открыто, на глазах у помощников советовался с женой, оказывал ей почести на людях, словно богине, проведя перед этим ночь в обществе вакханок, и эта его свобода пугала остальных сатрапов, ибо если человек силен дома, где труднее всего быть сильным, то, значит, по отношению к чужим мощь его несравнима и устрашающа; лишь когда владыка не скрывает от ближних свои желания, тогда только он достиг высшей власти.

...Просиживая с внуком многие часы, внимательно следя за тем, чтобы невольники вовремя подавали любимые Ксерксом блюда, Галтиса думала, как поступить ей, как, не пугая мальчика, сказать о той постоянной угрозе, которая сопровождает каждый его шаг. Как никто другой, она знала, что по-настоящему увлекает внука. Ксеркс блистательно рассказывал ей истории морских путешествий, давал свою оценку битв времен вавилонского расцвета, интересовался нравами далекой Спарты и шутя замечал, что обычай спартанцев – после гибели владыки на поле брани закрывать рынок и суд на десять дней – невозможен у персов, поскольку тяжба и торговля – два самых любимых занятия подданных. Он обращал свой взор в прошлое, но не так, как это делали Кир или Дарий, не во имя далекого будущего, а для своего удовольствия: что может быть приятнее парадоксальных рассуждений, во время которых оттачивается ум и развивается риторика!

Галтиса постоянно страшилась, как бы мальчик не решил, что, став царем, он обрел подданных. Она знала, что лишь разумный баланс сил может спасти жизнь Ксеркса. Она понимала, что, будь он простолудином, не отмеченным печатью богов, все было бы просто и обыденно. Однако жизнь царя неразрывно связана с его престижем, а престиж – это всегда действие, и не обороняющее, но атакующее. Его престиж – это престиж царства, и честолюбцы всегда могут войти в коалицию с другими честолюбцами, если докажут, что уровни престижей не соответствуют друг другу; тогда, скажут они, спасение в перевороте и убиении того, кто оказался ниже задуманного ими идеала.

Галтиса знала, что в царстве идет скрытая борьба между военной партией Мардония и партией политиков, которую возглавлял белолицый, в скромном холщовом хитоне Артабан.

Галтиса понимала, что схватка двух честолюбий ждет арбитра, но она отдавала себе отчет в том, что ни Мардоний, ни Артабан не считали Ксеркса арбитром. Они считали, что

Ксеркс должен примкнуть к одной из партий, придав ей, таким образом, законодательные функции и божественную устремленность.

И однажды во время плясок юных скифок, наблюдая за тем, с каким равнодушием Ксеркс смотрел на постыдности, разжигавшие других мужчин, Галтиса приняла решение. Она думала о жизни своего слабого, нежного мальчика, который для слепой толпы был царем, а для вождей партий – пешкой, венценосным символом, который следовало обратить на свою сторону или уничтожить.

«Он очень умен, – думала Галтиса, наблюдая за Ксерксом, – он видит искусное тело, а не распутный дух этих дикарок. Ксеркс знает цену своей мужской силе, и он не пресыщен, просто он умеет видеть больше, чем другие: за постыдным он тщится увидеть чудо пластики. Это мой внук, и я должна открыть ему истину...»

– Ксеркс, – сказала Галтиса, – великий царь персов, выслушай меня.

– Говори, – ответил Ксеркс, медленно оторвавшись взглядом от скифок.

– Владеть – значит опережать. Царствовать – значит угадывать предназначения богов.

Угадывание не есть темное **ничто**, это, наоборот, **явное**, сложенное из кубиков явного. Кубики – мнение людей, которые окружают каждого. Разбросанные по полу кубики – крушение империи. Сложенные воедино – стены вечности, оберегающие памятник величия владык. Кубик «достижения величия войной» – Мардоний; кубик «достижения величия миром» – Артабан. Если ты станешь медлить, свершится распадение двух кубиков на десятки других. Сейчас тот момент, когда ты, зная мнение обоих, должен сделать выбор и принять решение.

Галтиса напряженно ждала, что ответит внук, и страшилась его ответа: даже самым умным бабушкам внуки-цари всегда кажутся маленькими детьми.

Ксеркс медленно очистил банан, сделал из желтой кожуры кораблик и осторожно положил его на большое серебряное блюдо.

– Похоже на лодку, которую спустили на море после захода солнца, – чуть прищурился глаза, сказал он. – Литое вбирает в себя слабое. – Он снова глянул на танцовщиц и чуть поморщился: отдавало потом, дикарки заметно утомились. – Говорят, серебро лечит желудочные недуги – очень интересно... Неделю назад я приказал разрубить пополам трех фригийцев, которые пришли ко мне с доносом на Мардония и Артабана, они сказали, что тот и другой хотят убить меня в борьбе за свои идеи. Я повелел ознакомить вождей партий с моим приговором: «Казнить бесчестных за попытку посеять вражду и недоверие среди друзей». Лазутчики донесли, что казнь отрезвляюще подействовала на обоих: они теперь говорят со своими советчиками о планах на будущее в дальних комнатах, опасаясь, что мои люди смогут подслушать их речи. А я тем не менее знаю все!..

Назавтра, собрав царский совет, Ксеркс посадил Галтису подле себя, на второй ступеньке тронного возвышения, и, улыбочиво оглядев чеканные лица вождей партий, сказал:

– Все время после вступления на престол, о персы, я размышлял над тем, как бы мне не уронить царского сана предков и совершить деяния на благо державы не меньшие, чем они. Я собрал вас, чтобы открыть мой замысел: соединив мостом Азию и Европу, я поведу войска в Элладу, я покорю Афины, и это утвердит владычество персов над миром – отныне и на века.

Всю ночь Ксеркс готовился к этому совету. Он вызвал в дом бабушки тех, кто был когда-то поднят из **малости** великим Дарием: с ними беседовала Галтиса. Ксеркс сидел в углу, пил горячий напиток из листьев соргии и молчал. Лишь когда бабушка кончила беседовать с десятым человеком, голос которого должен был склонить совет в пользу его, Ксеркса, идеи «баланса», царь сказал:

– То, что вам повелела Галтиса, угодно мне и богу. Запомните все, что она объяснила, но поступайте так: сразу после того, как я закончу речь, а закончу я словами «отныне и на века», немедленно, как по команде, оберните головы к Артабану, буравьте его взглядами, и пусть вождь партии войны Мардоний почувствует свою малость и незначимость, ибо слова,

которые готовился сказать он, скажу я, лишив его, таким образом, идеи. И не отрывайте взоры от лица вождя партии политиков до тех пор, пока не заговорит Мардоний, а он заговорит, или я ничего не понимаю в людях!

Галтиса подумала: «Такого не мог ни Кир, ни Дарий. Мальчик – самый великий политик из нашего рода воинов».

И сейчас в тронном зале, восседая возле левой сандалии внука, Галтиса, чувствуя внутреннюю дрожь, впилась глазами в лицо Артабана, хотя ей мучительно хотелось обернуться к Мардонию, от которого зависело будущее царя.

Ксеркс рассчитал все, как математик, который выше политики, ибо оперирует он данностями, которые лишены эмоций. Мардоний, ощутив свое внезапное одиночество, вспомнил недавнюю казнь фригийцев, увидел, что все внимание обращено на его врага Артабана, резко поднялся и зычно произнес:

– Владыка! Ты самый доблестный из всех персов, какие были и будут когда-либо! Войны неизбежны, и мы должны собрать армию и начать битву против слабых эллинов!

Ксеркс отметил, что Мардоний сейчас выступил как политик, ибо он, во-первых, назвал его «самым доблестным» – так еще никто и никогда не говорил о нем, – а во-вторых, повторил свой тезис о неизбежности войн как его, царский, тезис, согласившись, таким образом, признать свою верноподданную **вторичность** .

«С этим все », – понял Ксеркс и легким кивком головы поблагодарил Мардония.

– Артабан, – сказал он, – твой черед.

– Правильное решение, – откашлявшись, начал Артабан, – самое важное дело. Если потом и возникнет препятствие, то это неважно – решение все равно принято. Поспешность – к неудачам, промедление – во благо! Ты же, Мардоний, – обернулся Артабан, – перестань говорить презрительно об эллинах! Ведь пренебрежительными речами и клеветой на их слабость ты призываешь царя к немедленной войне с ними! Нет ничего страшнее клеветы: клевета делает преступниками двоих, а третьего – жертвой!

Ксеркс глянул на Мардония, понял то, что ему надо было понять, и закричал на Артабана так, как кричат на слуг:

– Ты малодушный трус! Ты не пойдешь со мной на Элладу, а останешься здесь с евнухами стеречь наших женщин!

Мардоний громко засмеялся, Артабан склонился в униженном поклоне, Ксеркс утвердил себя царем, жизни его отныне ничего не грозило, и Галтиса впервые за три года уснула счастливой.

(Потом будет поход в Европу, и мост через Геллеспонт, и шторм, и гибель моста, и будут воины Ксеркса за этот шторм сечь море и надевать на него оковы, и будут идти мимо Олимпа к Афинам, и будут грабежи, моры, распутство, победы, Фермопилы, будет гибель флота, бегство, казни, оргии, пьяный бред, воспоминание о молодости и ненависть к бабке, к проклятой старухе, которая не **остановила** , и будет тяжкий и липкий страх, знакомый тем, кто познал медный привкус **несвершения** , а потом настанет смерть – от руки начальника личной стражи...)

Штирлиц раскопал в библиотеке, что король Фридрих Второй прусский изучал историю древних с профессорами, которые купировали тексты Плутарха, Геродота и Платона таким образом, чтобы юноша воспитывался на триумфах, а не на поражениях. Учителя верили: трагедии персов, римлян и греков проистекали потому лишь, что монархи не имели мобильной армии, которая стала бы постоянным инструментом национальной политики. Армия, приведенная к присяге прусскому монарху, должна оказаться той силой объединения германской нации, которая сможет покарать противника внутри и вовне. Не собирать наемников и рабов к предстоящему походу, а иметь их постоянно под рукой; не дискутировать о возможных вариантах близкого и далекого будущего, а планировать это

будущее загодя: лишь сила определяет мир, лишь организованная сила постоянна и имеет шанс на конечную победу.

Уроки Ксеркса были необходимы Фридриху Вильгельму для того, чтобы объединить раздробленные немецкие княжества под короной единой Пруссии. Национальная идея потребовала для своего утверждения «инструмент». Такого рода «инструментом» оказался генеральный штаб, который не только планировал места стоянок армии, количество материалов – для палаток, дерева – для ободьев повозок, бумаги – для карт, но и предлагал монарху план наиболее целесообразного удара по противнику. Когда первый в истории Пруссии начальник генерального штаба Герхард Белликум предложил монарху такой план, Фридрих Вильгельм явственно представил себе лицо Мардония и тихо ответил:

– А почему вы внесли только одно предложение? Мне нужно пять, по крайней мере, для того, чтобы я избрал единственное, увязав его с соображениями политической целесообразности, которая вам неподвластна...

Состоявшееся не исчезает. Задуманное осуществляется. Обиду не прощают, особенно воины и жены. Внуки Герхарда Белликума знали об унижении, которое испытал их дед. Потомки Фридриха Вильгельма помнили, как их венценосный предок поставил на свое место генеральный штаб: «Каждому – свое». Равновесие противоположностей долго продолжаться не может, а история мерит свою значимость столетиями – не годами. Генералы возвысившейся Пруссии знали, что венценосцы обязаны своими победами им. Они, как и монархи, не хотели понять, а скорее всего не могли, что лишь массы возвышают личность, а не наоборот; они верили, что массы славят ту личность, которая ввергала их в пучины крови, захватов, разрушений, побед; мирноносцев забывали – тиранов чтили. Подспудная борьба честолюбий продолжалась веками. Монарх – свят. Нация – вечна. Прусский дух не позволял генералам выкаблучивать «французские штучки», когда солдаты дерзали стать маршалами. Но они, будучи представителями нации высокой и организованной дисциплины, решили противопоставить монарху не личность, а совокупность личностей – генеральный штаб. Так родилась каста. Генеральный штаб планирует атаку – не мир. Маневры проводятся для того, чтобы нападать – не обороняться. Генералы, которые только учат муштре, но не позволяют юному ландскнехту ворваться в чужой город и ощутить сладость победы, обречены на презрение наемников и офицеров. Генералы знают это: они требуют от монархов реализации их планов на полях битв.

...Когда завершилось объединение германских земель под скипетром Пруссии, генеральный штаб функционировал особенно интенсивно. Он вел подготовку войны против Франции.

После разгрома Франции германский – не прусский уже – генеральный штаб приступил к новой фазе долгосрочного планирования агрессии.

Кайзер Вильгельм уволил в отставку Бисмарка, сопроводив увольнение почетными наградами и программным обращением: «Ваша светлость! В вопросе о необходимости и полезности войны политические и военные взгляды между собой разошлись. Последние сами по себе имеют право на существование... Я полагал, что такое указание не будет бесполезным для Вашей светлости, но не подозревал, что оно будет истолковано как желание подчинить политические задачи чисто военным целям. Я всецело держусь мнения Вашей светлости, что даже при счастливом ходе войны с Россией нам не удастся уничтожить ее боевые силы. Долг генерального штаба зорко следить за военным положением страны и наших соседей и заботливо взвешивать преимущества и невыгоды. Исходя из того, что не направление политики, а подчиненные ей **военные** мероприятия должны соответствовать политическим задачам момента, глава генерального штаба должен доводить до сведения руководителя политики военную точку зрения...»

Выступая на митингах национал-социалистов, где в почетном президиуме сидел соратник кайзера Вильгельма генерал Людendorф, сопровождаемый фюрером штурмовиков,

офицером генерального штаба Эрнстом Ремом, Гитлер поначалу робел, покрываясь липким потом: уж кто-кто, а Людендорф понимал, что Программа НСДАП включала в себя программу кайзера, разбавленную словесными, никого не пугающими призывами покончить с капиталом, ссудными кассами, евреями и большевиками; главная же ее суть – захват чужих земель – оставалась неизменной.

Людендорф аплодировал молодому фюреру первым – за этим златоустом люди пойдут, этот «из низов», и обращается он к «низам», и поэтому будет легко управлять кастой генералов, ибо он, Гитлер, ощущает свою малость, не стыдится говорить про свой ефрейторский чин, восхищается героизмом армии и преклоняется перед военным гением Германии.

Гитлер в свою очередь понимал, отчего Людендорф оказывает ему такое открытое, дружеское уважение, – сделка неравенств во имя торжества идей великой Германии. По ночам фюрер не мог заснуть от гнева: его хотят просто-напросто использовать; генералам кажется, что он воск в их руках, они думают, что он прилежный ученик прошлого века. Он успокаивал себя и молил провидение о выдержке: главное **стать** – потом он им покажет «воск»!

Он **стал**, заключив договор с рурскими магнатами и тайным генеральным штабом. Две могучие касты **привели его** к креслу рейхсканцлера. Он жаждал возмездия, но он знал силу касты и свою неумелость управлять государством.

Провидение помогло ему ощутить свою силу, когда генеральный штаб заявил открытый протест против фюрера штурмовиков Эрнста Рема – ближайшего сподвижника, «брата и друга по совместной борьбе»: тот потребовал от Гитлера объединить армию, СА и СС.

– Аристократы в погонах никогда не примут конечных целей нашего движения, – говорил Рем. – Мы для них – лишь переходная фаза, мостик из Версаля в будущее. Они отринут нас, как только мы разорвем версальские соглашения и докажем миру, что Германия восстала из пепла.

– Как ты мыслишь новую военную организацию? – спросил фюрер задумчиво. – Какой она тебе видится? Кто сможет управлять такой машиной?

– Управлюсь, – ответил Рем. – Неужели ты думаешь, что я не смогу загнать овец в хлевы? Кадровая армия сделается ферментом беспрекословности в будущей военной организации рейха; штурмовики и эсэсовцы получат от нее закалку слепотой; армия в свою очередь научится в наших рядах национал-социализму – такой сплав непобедим.

Рем назвал себя вождем будущей армии, **сам** назвал себя вождем. Этого было достаточно: фюрер сыграл трагедию – он отдавал на заклятие армии своего «брата» по партии, который оказался «мягким идеалистом», не подготовленным к практике государственного строительства, – жил старыми лозунгами национал-социализма.

Гитлер лично руководил налетом на виллу Рема. Сонный телохранитель на вопрос: «Кто там?» – услышал ответ: «Телеграмма из Мюнхена». Фюрер изменил голос, отвечая охраннику Рема; он произнес фразу, как ребенок, пискливо. Опыт сотрудничества с тайной полицией (чем не грешит честолюбивая молодость!) помог фюреру войти в виллу своего «брата» без выстрелов. Выстрелы прозвучали спустя десять минут, они были глухими: Рема и его соратников убивали в подвале, где находился тир.

Генеральный штаб в благодарность за эту «жертву» привел армию к новой присяге: «Я клянусь перед господом богом этой священной присягой, что буду безропотно подчиняться фюреру немецкого государства и народа Адольфу Гитлеру, верховному главнокомандующему вооруженными силами...»

Теперь Гитлер мог убрать тех генералов, которые помнили военную программу кайзера Вильгельма и понимали мелкую «вторичность» фюрера. Но фюрер не торопился. Он был спокоен. Он взошел по лестнице. Осталось еще одно испытание, и тогда...

Аншлюс Австрии был пробным камнем: если сорвется – он во всем обвинит генералов и отдаст их на заклятие. Если произойдет так, как задумано, лавры получит он. Он получил лавры. После этого он разогнал тот генеральный штаб, который вел его к победам. Все те, кто знал его начало, его малость и неумелость, должны уйти. Все те, для кого он был просто Гитлером, а не «великим фюрером», «гениальным стратегом», «непобедимым полководцем», должны исчезнуть. Гитлер посадил в кресло военного руководителя Кейтеля – исполнителя с мышлением дивизионного командира. Новые генералы славили стратегический гений фюрера – во время первой мировой войны они были лейтенантами и не могли знать того, что знали генералы, уволенные в отставку. Однако логике общественного развития противна логика личности, обуреваемой честолюбивыми замыслами: новые фронты потребовали знающих командиров. Гитлер был **вынужден** снова призвать из поместий фельдмаршалов, которые жили там уединенно, под негласным надзором гестапо. Генеральный штаб, спланировавший войну на много лет вперед, становился саморегулирующей силой, которая постоянно требовала питания – словно мощный мотор. Этого не понимал Гитлер, опьяненный победами. Это понял Штирлиц, наблюдая за мелким, казалось бы, эпизодом, связанным с группой незаметных, мелких политиканов из ОУН. «Будет драка, – думал Штирлиц, – Генералы не простят Гитлеру унижения. Об этом надо думать уже сейчас и помогать этой драке, где только можно и как можно».

«Центр.

«Нахтигаль» присвоил себе особые карательные функции на территории Советского Союза – уничтожение партийного, советского, комсомольского актива Украины. Бандера говорит подчиненным о своих чрезвычайных правах, повторяя: «Я, как фюрер ОУН...» С точки зрения расовой теории Гитлера это недопустимо, ибо фюрер может быть лишь арийцем. Считаю, что это одно из наиболее уязвимых мест ОУН. Не убежден, что об этом известно в Берлине.

Юстас».

14. КУРТ ШТРАММ (III)

«Эсэсовец прав, – подумал Курт, чувствуя, как мучительно одеревенели ноги, поясница и предплечья. – Он прав, к сожалению. Я не вытерплю, если меня продержат здесь еще неделю. Или две. Я начну лгать ему, я ведь придумал сотни версий, и каждая из этих версий правдоподобна, и все детали сойдутся, но не сойдется одна крохотная мелочь, обязательно не сойдется, потому что у меня нет карандаша и бумаги, и друзей – Гуго и Ингрид, и они не могут проговорить со мною каждую из этих версий; а эсэсовец может созвать совещание, поручить своим семерым или ста головорезам исследовать каждое мое показание и – главное – вызвать наших и начать их допрашивать, читая им мои слова. Он будет подолгу рыться в бумагах, доставать ту, которая ему нужна, действуя на Гуго или Ингрид таким образом, чтобы заставить их поверить, будто я начал говорить, и сознание того, что я заговорил, погубит друзей, потому что мы дали друг другу клятву молчать».

Курт поднял плечи так, словно у него чесалась спина, но движение это не ослабило мучительной одеревенелости, а, наоборот, подчеркнуло ее – тонкие, холодные иглы вонзились в шею, ноги и спину; каждое движение было сопряжено с ощущением зажатости в крохотном каменном мешке, повторявшем фигуру человека, стоявшего на полусогнутых ногах.

«Я могу распоряжаться тем, что досталось мне по праву, – решил Курт. – Мне не по праву досталась в наследство фабрика, и не по справедливости я получил счета в банках. Но я по праву получил жизнь, по праву любви моих родителей. И я могу распорядиться своей жизнью в этих условиях. Ну, спорь, Курт, спорь, – попросил он, – ведь разум всегда ищет

выход, но ты, Курт, сейчас не имеешь права на это, потому что пошел на борьбу, веруя в ее высшую справедливость. Ты можешь, конечно, возразить, что честно лишь то, что заработано потом, кровью, руками, мозгом, талантом, голосовыми связками, и я поэтому не имею права распоряжаться жизнью, которая всегда случайна и получена в дар. Ну спорь же, Курт! Ведь можно сказать, что надо выдержать, ты пообещаешь выдержать все; в глубине души каждый надеется на чудо, на то, что Гитлер разобьется на самолете, что на него упадет кирпич или паралич его хватит. Хотя таких паралич не хватает: за его здоровьем каждый день следят врачи, он принимает по утрам ванну, днем греется под «горным солнцем», а вечером пьет настой из целебных трав: жизнь фюрера так дорога германскому народу! Нельзя надеяться на нечто, что может прийти извне. Надеяться надо лишь на себя. Ну возрази, Курт! Это ведь гитлеровское: «Во всем и всегда надейся на свою силу!» Значит, мне нельзя надеяться на Гуго? Значит, нельзя надеяться на Ингрид и Эгона? Почему?! Потому, что они не имеют права рисковать организацией ради одного меня. Они знают, что я буду молчать. Они поэтому спокойно продолжают наше общее дело. Ну, Курт, ведь ты подбросил себе кость – «наше общее дело»! Ухватись за это! А вдруг наше дело победит в эти дни? А? Молчишь? Молодец, что молчишь, это было испытание: такие дела, как наши, побеждают не сразу, а лишь со временем, как незримые ручьи весной – теплом и чистотой своей – исподволь разрушают серую корку снега. Господи, открой, что угодно тебе: мучения, которые убивают во мне твоего сына, или смерть, которую я приму не из твоих рук? А как же ты сможешь умереть, Курт? У тебя нет ремня, а если бы он был, то ты даже не смог бы накинуть петлю на шею. Железные пуговицы с брюк они спорили при обыске – разве забыл? Ты не сможешь распорядиться собой, Курт, потому что здесь, в этой стране, научились лишать человека права на самого себя, и не только в тюрьме, но и дома, а это страшней».

– Эй! – закричал Курт. – Пусть меня срочно отведут на допрос! Скажите, что я об этом прошу!

Когда его привели в комнату эсэсовца, Курт сказал:

– Я сойду с ума в моем мешке...

– Это может случиться, – согласился седой штандартенфюрер. – Но психический шок в мешках носит характер буйного помешательства, которое мы довольно быстро излечиваем. Причем врачи утверждают, что во время маниакального бреда арестованные порой открывают ту правду, которую мы так настойчиво ищем.

– Переведите меня в нормальную камеру, пожалуйста. В мешке я не могу думать над вашими предложениями.

– А вы здесь думайте. Сейчас принесут кофе и бутерброды – думайте себе на здоровье. «Если я попрошу его снять наручники, – подумал Курт, – он может насторожиться».

– Да, но когда вы станете вызывать моих друзей на допросы и захотите свести меня с ними, они ужаснутся моему виду.

– С вами так поступили лишь потому, что я находился в отъезде, я же объяснял вам.

– Значит, вы отказываете мне?

– Я вынужден отказать. Просьба носит противозаконный характер. Если бы у вас было инфекционное заболевание, или чума, или воспаление легких, я бы отправил вас в лазарет.

«Воспаление легких, – ликующе уцепился Курт, – спасибо тебе, эсэсовец, громадное тебе спасибо! Ах как это хорошо – воспаление легких! Это быстро, это надежно, это – избавление!»

Когда его уводили в мешок, Курт странным движением, которое при этом не было подозрительным, успел высоко вздернуть брюки кистями рук, схваченными за спиной наручниками. Он сделал это для того, чтобы они сразу же опустились. – Курт сильно оголодал за эти дни. Брюки должны сползти еще ниже, и тогда рубашка, которая отделяет его спину от холодной плесени каменной стены карцера, выпростается.

«Из плана мероприятий по наблюдению за группой лиц, связанных с Куртом Штраммом, подозреваемым в контакте с «Быстрым», курьером из Берна:

...Ингрид фон Боден-Граузе, совершающая частые поездки по стране, должна попадать в сферу наблюдения местных отделов гестапо. В связи с тем что она должна выехать в генерал-губернаторство, следует сообщить ее приметы – если не успеем переслать фото – штандартенфюреру фон Ловски в Варшаву и оберштурмбанфюреру Дицу в Краков. План мероприятий на местах должен быть согласован с нами. Наблюдения за ней в дороге ведем мы.

Штурмбанфюрер СС Холтофф.

Утверждаю
бригадефюрер СС Мюллер».

15. ГАННА ПРОКОПЧУК (III)

На этот раз чиновник комендатуры был еще более внимателен к Ганне, предложил ей черную сигарету, спросил, нет ли каких-нибудь трудностей с французской полицией:

– Они совершенно сошли с ума, им кажется, что мы чудовища, которые жаждут крови невинных, они хватают несчастных эмигрантов, сажают их в Сюртэ, а все шишки валяются на нас, проклятых «бошей»...

– Нет, нет, меня не тревожили, – ответила Ганна, не отрывая глаз от коричневой тоненькой папки. – Полиция, конечно, проверила мои документы, но все на этом кончилось.

– Ну и прекрасно. Теперь по поводу той просьбы, которую вы передали господину Прокоповичу...

– Он отказал.

– Мы знаем. Ничего. Я думаю, мы сможем помочь вам. Следует только написать заявление...

– Новое?

– Да, коротенькое, новое заявление. Вы обратитесь с просьбой разрешить вам отъезд на работу в рейх. Вы станете трудиться по своей профессии: мы нуждаемся в хороших зодчих. А уже оттуда, из рейха, для вас не составит никакого труда разыскать своих детей. Мы помогаем тем иностранцам, которые честно трудятся на ниве нашего национал-социалистского государства.

– Здесь у меня работа, интересная работа... А что будет там?

– То же самое. Только более интересная, с моей точки зрения, работа – вы сразу увидите результаты своего труда. Когда-то еще соберетесь отсюда в Бразилию...

– И вы думаете, мне разрешат выезд из Германии в Польшу?

– Куда?

– В Польшу, к моим детям?

– Польши нет. Нет больше такого государства, и оно никогда не возродится, так что, пожалуйста, говорите «генерал-губернаторство», это не будет обижать тех, кто осиротел в Германии после кровопролитной польской кампании.

«А кто осиротел в Польше? – подумала Ганна. – Как страшно сейчас сказал он, как ужасно и спокойно он сказал это...»

– Получить право на посещение генерал-губернаторства без моего отъезда на работу в Германию никак нельзя?

– Боюсь, что я не смогу вам помочь. Я готов переслать ваше прошение в Берлин, но поймите нас: в Варшаве у новой власти сейчас слишком много всякого рода забот. Город

разрушен, гостиниц нет, вас не смогут обеспечить жильем, а это опасно, потому что там введен комендантский час.

– Дети в Кракове. У моей свекрови.

– Простите?

– Свекровь – это мать моего мужа. Она живет в Кракове.

– Краков – закрытый город. Там резиденция генерал-губернатора Франка.

– А можно запросить власти Варшавы или Кракова?

– По поводу ваших детей? Но мы не разрешаем выезд оттуда вообще, а уж в оккупированную зону, сюда, в Париж, тем более.

– Значит, выхода нет?

– Почему же? – искренне удивился чиновник. – Я предлагаю выход: работа в Германии.

Это даст вам право найти своих детей, уверяю вас.

– Но...

– Не верьте вздорным слухам. Победенные, как правило, клеветают на победителей.

Мы создаем все условия для работы. В рейхе вы сможете творить по-настоящему. – Он положил свою жесткую ладонь на ее руку, по-дружески, как человек, понимающий горе матери, и добавил: – Поверьте мне – я еще не научился быть нечестным. Вот вам бумага, а текст я продиктую...

Начальник генерального штаба

Гальдер.

«Донесения об обстановке:

а) С утра в воскресенье – наступление превосходящих сил на Эс-Соллум, захватывающее районы к югу и юго-востоку. У англичан 150–200 танков. В воздухе – превосходство противника. Подбито 60 танков и 11 самолетов. Танковое сражение юго-западнее Ридотто-Капуццо. Все атаки пока отбиты. Англичане перебрасывают самолеты в восточную часть Средиземноморья. Усилилась деятельность английских подводных лодок в Средиземном море (также и в Эгейском);

б) Оперативная зона русского флота. Деятельность русских сторожевых кораблей в районе Ханко и у западного выхода из Финского залива;

в) Главным оперативным районом американского флота становится Атлантика.

Якоб:

а) Мост у Турну-Магурэле закончен; переходят к мосту у Чернавода. Замена его большим паромом;

б) В Чернавода прибыли фильтровальные установки. В Констанце строятся 23 парома (должно быть 47). К 25.6 готовы не будут;

в) Миноискатели для 11-й армии.

Совещание с фельдмаршалом Листом в ставке главкома о назначении командующего германскими вооруженными силами на Юго-Востоке.

Буле:

а) Усиление гарнизонов на островах Ла-Манша. Три батареи 220-мм орудий, три батареи 150-мм орудий «К», шесть батарей мортир обр. 1918 года;

б) Штурмовые орудия и танки Т-IV. Использование штурмовых орудий вместо недостающих танков Т-IV;

в) Вопрос об отпускниках из Африки. 2 % всех отпускников направлять на родину; 3 % – оставлять в домах отдыха в Африке. Замена женатых холостыми;

г) Положение с пополнениями. В армии резерва до 1.10 – 450 тыс. человек. Из них нормальная убыль (болезни, непригодность и т. п.) – 150 тыс. человек. Для восполнения боевых потерь в операции «Барбаросса» остаются 300 тыс. К этому можно добавить 70 тыс. из полевых резервных батальонов = 370 тыс.;

д) Текущие дела. Среди них – оценка программы развертывания железнодорожно-саперных войск. Инструктаж офицеров связи, направляемых в группы армий, армии и танковые группы.

В заключение – Хойзингер: Текущие вопросы. Передача текущих дел Паулюсу.

Буле: Подготовить 900-ю бригаду. Использовать ее в районе Остроленки в интересах группы армий «Б» с задачей не допустить прорыва русских войск из мешка под Белостоком. В дальнейшем использовать как резерв ОКХ».

16. РАЗМЫШЛЕНИЯ НАЕДИНЕ С СОБОЙ

Бандера проснулся в холодном поту от своего же страшного крика. Сон был кошмарный. Бандере привиделось, будто он привязан к стулу; рядом – огромный циферблат с медленной, дергающейся секундной стрелкой, а вместо гирек – секира из стали, раскачивающаяся в такт секундной стрелке прямо над головой. Все ниже опускается секира, все ниже, и вот уже почувствовал Бандера мягким пушком на макушке легкое ее прикосновение, и представил, как через несколько минут полоснет, и как легонько распушит кожу, и как кровь теплыми струйками побежит за уши, а потом секира – с синим отливом, тяжелая, бритвенная – тронет кость черепа, и Бандера ощутил это мгновение, закричал тонко и проснулся.

«Жара, – подумал он, когда явное ощущение сна ушло, притупилось, – поэтому и мучают кошмары».

Он поднялся с широкой тахты, прошлепал по навощенному полу в ванную комнату и стал под холодный душ.

«Лебедь говорил, что плоть надо усмирять холодной водой, – почему-то вспомнилось ему. – Ерунда какая. Холод – главный возбудитель плоти. Тепло дает спокойствие, а холод побуждает к действию».

Бандера явственно увидел маленькую церковь, где обычно служил отец; ощутил теплый, успокаивающий запах ладана и подумал испуганно, что замахивается на огромное, отвергая примат тепла.

«Хотя, – подумал он, стараясь успокоить себя, – это только православие ищет тепло: уния устремлена в холод неба».

Привыкший бояться отца, он долго еще – даже после того, как уехал во Львов, – чувствовал страх: не за поступок какой, а даже за невысказанную мысль.

Он стеснялся того, что был поповичем, и страх свой поборол силой: в драке студентов, когда Петро Бурденко был сбит ловкой подножкой, Бандера наступил каблуком на его лицо, и услышал хруст, и закричал, потому что глаза застлало красным, а потом стал пинать мягкое, пинать до изнеможения и рвоты, и это было неким рубежом в его жизни, приобщением к вседозволенности, которая подчиняет себе человека без остатка.

...Бандера растер плечи и живот резиновой жесткой щеткой, накинул на себя простыню, легонько промокнул капли воды, оглядел свою маленькую, ладную, сухопарую фигуру в зеркале, напряг по-борцовски мышцы, усмехнулся, вспомнив рекламу нижнего белья для спортсменов, помассировал лицо, свел тугие брови в одну линию, потом широко улыбнулся своему отражению, подмигнул озорно и пошел одеваться.

Бандера любил красиво одеваться. Как и все мужчины небольшого роста, он компенсировал недостачу внешней мужественности строгостью костюма и постоянной, годами выработанной гримасой скорби на красивом, порочном, внутренне жестоком, женственном лице.

Зная, что сегодня предстоит встреча с человеком от гетмана, который путешествует вместе с офицером СД, Бандера надел серый костюм в серебряную искорку, галстук повязал

синий, но потом, оглядев себя еще раз в зеркало, решил поменять на серый, чтобы все было в один тон. Ботинки он заказывал особые: внешне подошва выглядела нормальной, но внутри, в самом башмаке, она была приподнята на четыре сантиметра – при его росте такая прибавка многое значила. Сначала, по молодости, когда он не мог распоряжаться средствами, Бандера придумал особую манеру: он, наоборот, сутулился, чтобы всем казалось – вот распрямится он, разведет плечи, поднимет голову и станет сразу же высоким и стройным, таким, каким и надлежит быть «вождю», террористу и борцу за национальную идею.

Но во Вронке, в польской тюрьме под Познанью, когда Бандера впервые стал на колодки, он вдруг увидел себя в окне «приемного покоя» и поразился тому, как много значат эти четыре деревянных, громыхающих, мозольных и тяжелых сантиметра; он понял высший смысл кажущейся малости. Он подумал тогда, что малость только тому кажется малостью, кто в ней не видит интереса. Перейдя мысленно от колодок и роста к делу, он тогда еще раз убедился в своей правоте: действенное малое важнее пассивного многого. Пусть у него будет лишь сто верных людей, но они могут наделать столько шума, что всем заинтересованным сторонам эта сотня покажется миллионом.

Когда было принято решение убить министра внутренних дел Пирацкого, именно Бандера организовал этот «теракт», объективно выгодный Германии и правым ультра Польши. (Германия вносила элемент смуты в пограничное государство, стараясь изнутри ослабить его, повернуть на восток, отвлечь от западных проблем; правые – в свою очередь – получали свободу рук для «завинчивания гаек»; этот, обычно болезненный, процесс после гибели Пирацкого приветствовался органами прессы как действенное средство против бандитов. Люди не понимали, что нельзя «завинчивать гайки» только в одной какой-то области, подавляя лишь одну национальную группу, – процесс этот будет неминуемо обращен не только против оуновцев, но и против всех украинцев; затем процесс этот коснется и поляков – поначалу коммунистов и демократов, а потом обрушится на тех, кто позволяет себе иметь собственное мнение и отстаивать личную точку зрения на происходящее. Взаимопроникновение тенденций – вещь естественная, опасная, распространенная. Национал-социализму Гитлера отец легионеров Пилсудский хотел противопоставить тоталитаризм польского единства. Бандера помог ему в этом, он развязал ему руки.)

Две силы, находясь в конфликтной ситуации, склонны фетишизировать третью силу, которая является неким оселком в сшибке их амбиций. Один – помогая этой силе, другой – выставляя эту силу как момент национальной угрозы, делают подобны жонглерам, пускающим новый шар в каскад шаров, летящих из руки в руку. Бандера понял свою «значимость», когда в зале суда замигали магниевые вспышки газетных репортеров. Бандера уверовал в свое предназначение, когда смертная казнь была заменена пожизненной тюрьмой. Об этом ему сказали еще до вынесения приговора, который он выслушал дерзко, чуть приподнявшись на носках, чуя, как икры трясутся от долгого напряжения.

Он всегда мечтал **стать**. Обладая умом жестким и быстрым, он понял, что родился в такое время, когда вырваться из ряда может дерзкий, смелый, ловкий, ставящий не только на свою умелость, свою особость или свое знание. Нет, вырваться, считал Бандера, может лишь тот, кто одарен способностью представлять многих в себе одном. Личность выше толпы; надо только понять нужную идею, надо поначалу раствориться, исчезнуть в этой идее, зная заранее, что это растворение временно, что общая идея в конечном счете подчинена личной устремленности – **стать**. У Бандеры был выбор: он не холоп какой, он сын священника. Сызмальства, со школьных еще времен, когда другие хлопцы утирали ему нос кепкой, нахлобучивая ее на глаза – сверху вниз, – в нем зрело жадное, больное, яростное желание доказать. Всех тех, кто насмеялся над ним, не брал в баскетбольную секцию, кто не позволял ему быть вратарем в команде («шкет, не дотянется»), он хотел обратить в своих подданных, которые кровью умоются за надменность.

«Сырьё» – несчастные массы бесправных украинцев в панской Польше – страдало тяжко. «Эта тупая тьма должна стать моим оружием, – думал Бандера. – Им нужен вождь, тот, кто скажет».

*Холодок ужаса и восторга проходил по спине, когда он читал «Майн кампф». «Гитлер германца берет, как свое, – думал Бандера, – он подчиняет его своей воле, обращаясь к затоптанному в человеке величию. А почему я не могу так же **взять** украинцев? Если не я – придет другой, и я останусь тем, кто есть, лишусь людской памяти – значит, буду смертным. А я хочу вечного для себя, вечного».*

Рико Ярый не зря проводил анкетизацию польских и украинских военнопленных в Германии. Его сеть потому оказалась действенной, что не была сетью в шпионском понимании этого слова. Когда он заполнял анкеты, расспрашивая каждого пленного о прошлом, о мечтах на будущее, о семье и друзьях, он всегда силился оказать несчастным помощь: того пристроит на работу; этого определит – через Красный Крест – в лазарет, тому выхлопочет билет на родину.

Люди Ярого, ходившие за кордон, к его «анкетникам», не просили их отвечать на вопросы, которые могли породить сомнение в осторожной, до противозаконного, крестьянской душе. Люди Ярого вели беседы, которые казались «анкетникам», спасенным в свое время австрияком, продолжением того доверительного, участливого разговора, который вел бывший командир бывшей армии с бывшими солдатами своими.

И однажды в ячею такого собеседования попало имя Степана Бандеры.

Человек чаще всего и не подозревает, что к нему **присматриваются**. Разные люди оказываются втянутыми в сложную комбинацию, которая должна дать ответ на вопрос, в политике важнейший: можно ли делать ставку на ту или иную личность. Друзья, которые в иную пору и слова бы не промолвили о недостатках и пороках своего **закадычного**, расскажут все другому приятелю, особенно за чаркой, после нескольких лет разлуки. Недругов, наоборот, спросят о плюсах того, кем интересуются, – ежели о враге только минусы говоришь, грош тебе цена и нет тебе веры. Познакомятся с родителями, поговорят с соседями, найдут старых учителей, послушают «объект интереса», умело организовав дискуссию во время дружеского застолья, и только потом, когда будут взвешены все плюсы и минусы, за кордон отправится личный посланец Рико Ярого для непосредственного контакта с Бандерой. Смешно и глупо представлять, что такой посланец, озаренный ореолом героизма (шутка ли – ходить через кордон!), скажет Бандере или любому другому честолюбцу его подобия, что, мол, давай, хлопец, служить немецкому хозяину, запишись в агенты и начинай шпионить.

Сначала под Бандеру надо было подложить фундамент. В своих выступлениях на собраниях террористов он шел от личного чувства, от честолюбия (это «вычислили» в абвере достаточно точно), а надо было поставить его выступления на стезю «национального чувства», скрыв, упрятав ото всех глаз то ячество, что вынесло его на поверхность и доказало его нужность Берлину. А нужность, если она порождена лишь желанием человека **стать**, такого рода персональная нужность, одобренная национальными лозунгами, оказывается выгодной третьей силе, ей она – объективно – служит, ею используется.

Следовательно, Бандеру, который через определенное время **станет**, благодаря незримой помощи третьей силы, необходимо подготовить к превращению из экспансивного честолюбивого юноши в беспощадного террориста, который в дальнейшем должен быть управляем. Надежность и гарантированность этой столь необходимой управляемости обязана дать идеология национализма, изученная, расфасованная по проблемным ретортам и расписанная во всякого рода книжечках людьми из гиммлеровской разведки. Попытки «идеологов» национализма отвергать это наивны, ибо политика – суть наука, живущая по законам постоянных формул и данностей. Дело заключается в том, что суверенитет соседнего государства предполагает невозможность для политиков, парламентариев,

деятели государственного аппарата вхождения в серьезные контакты с националистами, находящимися в эмиграции, ибо это означает открытый разрыв с той страной, которая исторгает ту или иную группу в изгнание. Но и отказываться от такого рода контактов непростительно – с точки зрения агрессивного внешнеполитического планирования. Следовательно, связи с националистической группой берут на себя тайные организации – разведывательные учреждения рейха.

Человек ущемленного честолюбия, и в физическом отношении (сызмальства лишь великан казался ему героем), и в моральном, Бандера получил первую порцию литературы и прослушал первые лекции от посланцев «главного руководства», посвященные, как это ни странно, античной истории.

«Что есть трибун? – спрашивал хитрый до человеческого материала посланец абвера. – Это есть та личность, которая нисходит до горя слабых и сирых. Трибун живет сам по себе, в мире своих утонченных чувств и мечтаний, он волен представлять себе все, что ему грезится. Но грезы его должны идти сверху вниз: от него – ко всем другим. Трибун всегда страдает за чистоту идеи. Ты должен понять, Степан, что истинный трибун более других стремится к схиме, к простоте и скромности, ибо он знает свою отметину на будущее. Можно носить рубашки голландского полотна, золотые запонки и парижское канотье, но при этом быть дешевым торгашом. Можно ходить в костюме ровного тона, уметь слушать и помогать, есть скоромное, ездить в трамвае, а не на «оппеле» и быть истинным трибуном, незримым владельцем душ тех миллионов, которые пойдут за твоим высоким, отдельным от всех духом».

Потом разбирался вопрос о том, что коллективизм, реально выраженный в московском большевизме, есть главный, личный враг трибуна, ибо коллективизм подчиняет часть общему, тогда как призвание свободного духа есть, наоборот, подчинение общего личному.

...Лишь утвердив в двадцатипятилетнем парне, равшемся в политику, убеждение в его исключительности и объяснив «по науке», что и кто есть враг этой его свыше полученной исключительности, повели речь о национализме. Человек из Берлина в свое время сказал Бандере, что высшее проявление национализма сокрыто во всеобщем, темном эгоцентризме. Если обратиться именно к этому в человеке, если позволить ему выразить себя, если он найдет в твоих проповедях **разрешение** быть самим собой в рамках одной нации, если ты призовешь его к силе, чтобы добиться освобождения от пут общественной опостылевшей морали, – тогда за тобой пойдут и в тебя поверят, как в национального пророка. «Не бойся, – продолжал посланец, – звать к социальной справедливости. Брани буржуа и банкира: им брань не страшна, им страшно, если их лишат собственности. Нация без устойчивых точек собственности разлагается иллюзиями. Гитлер не боялся называть буржуазию своим врагом, но он никогда не называл своим врагом Круппа, ибо придумал ему титул «национальный организатор производства». Тебя не поймут соплеменники, если ты потребуешь отдать фабрику старому хозяину. Нет, ты не говори так; ты требуй передать фабрику новой власти, а инородцев изгнать, как присосавшихся паразитов».

Бандера до конца понял все, лишь когда вышел из тюрьмы после разгрома Польши. Ему тогда в отель люди абвера привезли костюмы, пальто, ботинки; два дня давали витамины и приводили массажистов, а потом посадили в поезд и переправили в Берлин. В тот же вечер его пригласили на ужин за город, в одиночку, на берегу канала, стоявший коттедж. Три человека, его принимавшие, беседу повели открыто.

– Господин Бандера, после гибели Коновальца, – начал старший по званию, – у власти в ОУН стал Мельник. Мы знаем, что вы хотите созвать свой конгресс и вините Мельника в убийстве Коновальца. Это – ваше право: пусть победит сильнейший. Но мы связаны с Россией пактом, и поэтому открытая деятельность ОУН в настоящее время нежелательна. Только осуществляя связь с нами, выполняя наши указания, лишь конспирируя вашу работу по законам нашего военного ведомства, вы сможете получать необходимую помощь.

Бандере тогда захотелось спросить: «Сколько ж вы Коновальцу-то в месяц платили?», но потом верх взяли уроки по аристократизму: унижая память ушедшего, ты унижаешь свое будущее.

– Я не совсем вас понимаю, – сказал тогда Бандера, – мы такого рода беседы называли вербовкой...

– Что касается вербовки, – сказал тот, что званием, судя по серебру на погонах, был меньший, – то это несерьезный разговор, господин Бандера. – И он раскрыл толстую кожаную папку. – Здесь собраны все ваши донесения из «Края».

Бандера рассмеялся, не разжимая рта:

– Значит, все это время меня здесь **закладывали** ?

Офицеры тоже посмеялись, а потом старший ответил:

– Только безумец или безответственный военный деятель дает деньги, оружие, паспорта, квартиры, явки, окна на границе, если в закладе нет чего-либо существенного. Все это время вы делали то, что планировалось нами.

– Размер субсидии, контакты и все прочие организационные вопросы оговорим сейчас? – спросил Бандера.

– Бесспорно, – согласился старший. – Только сначала для того, чтобы мы имели возможность продолжать контакты, вам надо выбрать псевдоним. Телефоны в Берлине работают отвратительно, возможны досадные накладки.

– «Консул». Такой псевдоним вас устроит?

Бандера заметил, как офицеры быстро переглянулись.

– Это закат аристократизма, – заметил, улыбаясь, старший. – Может быть, «Император»?

Военный в серебре почтительно вмешался – чуть не пополам сломился над ухом старшего:

– «Император» уже есть.

Все рассмеялись. Бандера – тоже.

– Хорошо, пусть будет «Консул-2», – сказал старший, – я питаю врожденную неприязнь к первому консулу. (Не говорить же ему, право, что Андрей Мельник при вербовке взял себе точно такой же псевдоним. Придется проинструктировать Мельника, что отныне он именуется «Консулом-1».)

...Бандера еще раз вошел в ванную комнату, осмотрел себя в зеркале, вернулся в большой кабинет и сел за огромный, мореного дуба стол. Он переложил несколько бумажек, поправил мраморный чернильный прибор, и вдруг **чумное** ощущение счастья родилось в нем, и он, не желая сдерживать себя, выскочил из-за стола и начал метаться по кабинету, делая какие-то замысловатые, мальчишеские па, как в далекие студенческие годы, когда из-за малого своего роста стеснялся девушек и запирался в комнате и танцевал один – самозабвенно и сладко...

...Штирлица и Омельченко «вождь» ОУН-Б встретил у дверей конспиративной квартиры абвера на Звезденецкой улице, трижды обнялся с посланцем гетмана – пусть старик москалям служил и украинец только по названию, но все равно надо помнить первых борцов против большевизма, они – история, то есть вечность, они излучают особый свет, понятный, впрочем, не всем, а лишь людям с врожденным чувством авторитарности. Бандера как человек, болезненно жаждавший власти, этим чувством был наделен до предела, поэтому не удержал слез, появившихся в уголках пронзительных глаз-бусинок.

Со Штирлицем Бандера поздоровался сдержанно, ибо кожей ощущал особенность того лихого времени, которое грядет. Он загодя готовился к тому, чтобы возглавить нацию, – уголки рта опущены книзу, брови насуслены, желваки перекатываются от ушей к острому подбородку: Сулла, право слово, истый Сулла! Поэтому он должен быть сдержан с представителем той власти, которая войдет на землю, принадлежащую ему.

– Голодны? – отрывисто спросил Бандера. – Я скажу, чтобы накрыли стол.

– Благодарю, – ответил Омельченко, – мы только что позавтракали.

– Действительно, мы только что выпили кофе, – поддержал его Штирлиц.

Бандера поиграл лицом – не поймешь сразу, то ли сожаление, то ли горькая ирония.

– Так ведь кофе с джемом – не завтрак, это европейская необходимость. Я велю зажарить яишню с салом, у нас на родине так едят, господин Омельченко, а?!

По-немецки Бандера говорил с акцентом, тщательно обдумывая фразу – вероятно, заранее строил ее в уме. «Так говорят люди, – подумал Штирлиц, – болезненно самолюбивые, боящиеся показаться смешными хоть в самой малой малости».

– Нет, нет, – торопливо отказался Омельченко, хотя, видимо, отведать глазуньи ему хотелось, – сначала дела, Степан, сначала дела. Времени в обрез.

– Дела так дела, – согласился Бандера. – Прошу присаживаться.

– Нас в первую очередь интересует, как вы мыслите работу Украинской рады в первые дни после начала кампании? – спросил Омельченко. – Нам известно, что председатель Рады адвокат Горбовый – ваш старый друг и надежный союзник рейха, но не кажется ли вам, что там существует утечка информации?

– Этого не может быть, – снисходительно прищурясь, ответил Бандера. – В Раде собраны проверенные борцы.

– Я не получал информации о создании Рады, господин Бандера, – жестко возразил Штирлиц. – Однако я узнал об этом здесь, в Кракове, от чужих людей.

«Не ты, а Омельченко, – сразу же понял Бандера. – Он встретился с Романом Шухевичем и Лебедем, а те по мягкости душевной брякнули!»

– Мои люди ничего не скрывают от представителей СД и германского командования, – сказал Бандера.

– Будем надеяться, что это так, – сказал Штирлиц, удобнее усаживаясь в кресле. – Видимо, вы создали Раду, чтобы загодя провести водораздел между вами и Украинским комитетом во главе с господином Кубиевичем?

– При чем тут Кубиевич? – Бандера пожал плечами. – Он марионетка в руках Мельника.

– Это не моя прерогатива, – сразу же отрезал Штирлиц. – Я хочу спросить вас, господин Бандера, как вы мыслите себе сотрудничество с гетманом? Он вне ваших тренировок с Мельником, но и его люди не вошли в Раду.

– Ты что ж, – сказал Бандера сквозь зубы Омельченко, – не мог с этим вопросом сам прийти? Обязательно надо было белье выворачивать?

– Ты странно говоришь, Стефан. – Омельченко назвал Бандеру на польский лад. – Я – это я, но гетман сам к тебе с этой просьбой обращаться не станет.

– Этот вопрос обсуждался в министерстве доктора Розенберга. Мы консультировались, – солгал Бандера, и Штирлиц отметил, что «вождь» знает о создании нового министерства восточных территорий, которое было «высшим секретом» рейха. – Я считал, что гетману в Берлине легче договориться с доктором Розенбергом, чем мне здесь с его представителями.

– Вы имеете в виду оберштурмбанфюрера Фохта? – спросил Штирлиц.

– Именно.

– Трудно работать с ним?

– Он умный, проницательный человек, но ему кажется, что он знает украинскую проблему лучше, чем я и мои люди.

– А в чем суть проблемы? – спросил Штирлиц. – Сформулируйте.

– По-моему, это очевидно. Создание сильной, дружественной Германии Украины, способной вести вооруженную борьбу против Советов.

– Это вывод. Но не проблема, – сказал Штирлиц. – И потом – вы убеждены, что Германии на данном этапе выгодно иметь в своем тылу Украину, а не **территорию**? Ту, где

размещены войсковые соединения, где пекут хлеб для войск и устраивают удобные лазареты для раненых?

– Простите, но я уже достаточно полно обсуждал эту проблему, – настойчиво повторил Бандера. – С господами из ведомства доктора Розенберга.

«Что ж ты про армию молчишь, сукин сын? – подумал Штирлиц. – Что ж ты на Розенберга все валишь?»

– Доктор Розенберг, – вступил Омельченко, – действительно придает этому вопросу большое значение. Гетман встречался с его референтами дважды.

Бандера насупился, желваки стали острыми – вот-вот разорвут тонкую кожу щек.

– Я не совсем понимаю предмет разговора, господа, – сказал он. – По-моему, все в достаточной мере согласовано и выверено... Вы, – он тяжело посмотрел на Штирлица, – интересуетесь деталями в связи с какими-то вновь открывшимися обстоятельствами? Тогда я хотел бы услышать, какими именно.

– Я представляю разведку, господин Бандера. Политическую разведку рейха. Детальями занимается служба безопасности и гестапо. Меня интересует, каким вы себе мыслите германский тыл на Украине? Немецким, оккупационным тылом или тылом украинским, со своим управлением?

– Я мыслю себе германский тыл монолитом, который создадим мы, – снова солгал Бандера, и Штирлиц понял, почему он солгал ему.

Этот человек не мог думать ни о чем другом, кроме как о своей роли в процессе, в любом процессе, и ему было сугубо безразлично все остальное – немецкое, украинское или какое угодно другое.

Поняв, что Бандера солгал ему, Штирлиц перевел разговор на частности, дал Омельченко вести беседу. Обговаривая кандидатов от гетмана, «политик» кокетливо отказывался от места, предложенного ему в Раде, а Штирлиц, слушая их быструю трескотню, цепко думал о раскладе сил, который постепенно ему открывался, и о том, как эти силы столкнуть – возможно, это поможет его Родине хоть самую малость.

Потом, не желая мешать Омельченко выполнить **главную** часть его задания, Штирлиц попросил разрешения ознакомиться с новыми разведанными с Украины и вышел в другую комнату...

«Центр.

Из разговоров с немецкими руководителями ОУН (Оберлендер, Херцнер, Рейзер) получил повторные подтверждения о точной дате начала войны – 22 июня.

Юстас».

17. КУРТ ШТРАММ (IV)

Курт мучительно долго, в сотый раз уже, вертел головой в непроглядной темноте. («Я привык ко тьме, и свет сейчас показался бы мне насилием. А еще говорят, человек долго привыкает к новым условиям. Смотря как предлагать их: Германия, например, за год привыкла».) Он вертел головой и думал, как смешно он выглядит сейчас, если бы кто-то мог наблюдать за ним, но в этих мешках даже глазков на дверях нет, потому что арестант ни сесть, ни лечь, ни встать не может – он постоянно полустоит.

Курт, словно одержимый, вертел головой: ему надо было этим движением с одновременным толчком в спину схваченными в наручники кистями поднять рубаху так,

чтобы ухватить ее зубами и задрать. Тогда он прижмется голой спиной к мокрой и холодной стене, от которой раньше, повинаясь инстинкту, он старался отодвигаться, чтобы образовалась маленькая воздушная прослойка. Теперь, если он задерет рубаху, то вдавит свое тело в мокрый каменный холод и будет ждать, пока заледенеет изнутри. Он помнил это ощущение с тех пор, когда катался в Альпах и на резком повороте его левую лыжу занесло на камень, который показался неожиданно, ибо солнце было в тот день особенно жарким и растопило наст. Курт перекувырнулся через голову, грохнулся на спину и услышал в себе звон, словно разбился стеклянный богемский тяжелый графин, а потом настала тишина, особенно громкая после того, как разбит графин, любимый, бабушкин, когда без спросу залезаешь в буфет вечером, после ухода родителей в театр.

Он тогда лежал, чувствуя, как холод постепенно входит в него. Он не мог ни подняться, ни пошевелиться из-за сломанной ноги. Трасса была новая, а день близился к вечеру, и никто из лыжников не катался здесь, потому что наступало время, когда надо было принять душ и отдохнуть перед тем, как уйти в бар и пить до утра перно – белое, словно вода, в которой разведен зубной порошок, танцевать вальс-бостон или танго, ощущая рядом свою подругу, которая днем кажется иной из-за того, что лицо ее скрывают огромные желтые очки, на плечах толстая куртка, а руки в меховых варежках. К тому же на трассе она и не подруга тебе, а спортсмен, такой же, как ты, и ты смотришь, как она катит по спуску, и завидуешь ей, или, наоборот, сердисься на нее за то, что она неверно идет, и знаешь, что сейчас, через мгновение, она завалится. Но здесь не обидно смотреть, как падает женщина, она добровольно сунулась в суровое дело, и ей надо терпеть все то, что в жизни уготовано мужчинам.

Курт лежал на трассе и не мог шевельнуться из-за сломанной ноги, но это поначалу не пугало его. Он надеялся, что его заметят с других склонов, не понимая еще, что человек в горах подобен камушку, он еще меньше здесь, чем на равнине, в лесу или в городе.

Он лежал, ощущая поначалу лишь боль в ноге, которая сковывала движение, а после Курт почувствовал жжение в спине и понял, что куртка его задралась и шерстяное белье тоже и это снег жжет спину. Потом Курт услышал хрипение внутри себя и очень испугался этого.

(«Господи, скорее бы задрать рубаху, почувствовать холод, долгий холод и хрипение внутри, как тогда, в горах, и чтобы поднялась температура, и кашель сотрясал меня, и в уголках рта была желтая, горькая мокрота; и чтобы седой штандартенфюрер отправил меня в лазарет, а там есть длинный, длинный коридор, который кончается каменной стеной, – обязательно должен быть. Но ведь коридор был, когда они меня вели в тот первый день, почему же тогда я не... Ты тогда еще хранил иллюзии, Курт. Ты ведь еще надеялся на чудо, разве нет? Ты не думал, что тюрьма, их тюрьма, так быстро вылечивает от иллюзий? Ладно, оправдаем тебя. Нет ничего более легкого, как оправдать самого себя... хотя нет... Если судить по правде, то себя оправдать труднее всего».)

Тогда, в горах, его заметила Ингрид Боден-Граузе. Она каталась как раз на этом крутом и сложном склоне, каталась одна, когда большинство лыжников уже спустились в долину.

Как же она честно, тащила его к домику спасателей, проваливаясь в снег по пояс! Она подложила под него свои лыжи, а сама надела на грудь два ремня, будто лошадь или здешние ученые сенбернары. Ингрид опускалась перед ним на колени, гладила его лицо, целовала его щеки, мокрые от слез, шептала нежные, быстрые слова, и он из-за этого еще острее чувствовал боль, но он становился сильнее от ее **нежности** – мужчина реагирует на нежность иначе, чем женщина, – он становится сильнее. Ингрид взмокла, и на морозе от нее валил пепельный пар, и Курт тогда смог подумать, что это унижает ее красоту и женственность.

...Через три месяца, когда его вылечили в клинике профессора Хаазе, Курт сделал предложение Ингрид. Она была той, о которой ему всегда мечталось, – женщиной-другом, но Ингрид сказала, что у них ничего не выйдет, потому что он слишком мягок и молод. «А я, –

засмеялась тогда она, – нуждаюсь в силе, я преклоняюсь перед мужчиной, который опален порохом, который уже знал и любовь, и расставание, и счастье, и горе. Такая уж я дура. Я знаю, что нам какое-то время будет очень хорошо, но потом это кончится, потому что я видела, как ты плакал от боли: женщина этого не прощает. Не сердись, милый...»

...Курт задрал наконец рубашку, ухватил зубами воротник, ощутил его соленый вкус, почувствовал пот на спине, и на лбу, и на шее и обрадовался этому: холод стены в соприкосновении с разгоряченным телом скорее сделает свое дело.

«Теперь надо ждать и не позволить себе отстраниться, когда я почувствую ледящий холод внутри и то, как там начнет ворочаться что-то тяжелое, превращающееся в кашель. Только бы он не вызвал меня сейчас на допрос, господи, только бы он не вздумал вызвать меня на допрос!»

Начальник генерального штаба

Гальдер.

«Полет через Винер-Нойштадт, Белград в Бухарест (совещание с руководством миссии сухопутных войск и с военным аташе). Поездка через Констанцу, дельту Дуная в Бакэу (Румынская Молдавия) и далее в штаб 11-й армии».

18. ПРЕДАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ

Квартира гестапо, где жил Мельник, выглядела совершенно иначе, чем апартаменты Бандеры. Здесь, в четырех комнатах, три из которых были смежными, образуя просторную анфиладу («Дом, видно, купеческий, – отметил Штирлиц, – торгаши любят размах и пространство»), постоянно звонили телефоны; отвечали на звонки сотрудники СС, по-немецки отвечали, а возле большого полевого телефона, связанного, вероятно, с армейскими штабами, дежурил молоденький фельдфебель с косыми **височками**, надушенный, с ниточным бриолиновым пробором в белесых волосах.

Первым, кто приветствовал Штирлица, отделившись от группы офицеров СС, был оберштурмбанфюрер Диц. Вместе с ним и Фохтом Штирлиц работал два месяца назад в Загребе, когда Берлин и Рим – каждый по-своему – привели к власти поглавника усташей Анте Павелича. (Диц и Фохт тогда **подставились** – каждый по-своему. Они знали, что **подставились** Штирлицу: по их вине погиб полковник югославского генштаба Косорич, на которого рассчитывали в абвере – он был агентом Канариса. И Диц и Фохт ждали казни, они поначалу были убеждены, что Штирлиц **проинформировал**, однако после того, как ничего в их жизни не изменилось, каждый из них затаился, ожидая: они были убеждены, что Штирлиц что-то потребует взамен. Но он не требовал. Это именно и пугало.)

– Здравствуйте, мой дорогой Штирлиц, – сказал Диц, сыграв радушие и открытость. – Воле фюрера было угодно, чтобы мы снова встретились в славянском городе.

– Краков ничем не хуже Загреба, – ответил Штирлиц. – Рад видеть вас, дружище.

– Мы ждали вас утром.

– Были другие дела.

– С вами Омельченко?

– Да. Знакомы?

– Встречались. – Лицо Дица приняло обычное добродушное выражение, за которым угадывалось горделивое сознание собственной значимости. – С кем это он? А-а, с летчиками – с подчиненными друга его шефа...

– И все-то вы знаете, Диц, – вздохнул Штирлиц. – Скучно вам жить с таким-то знанием всего, всех и вся, скучно...

– Пойдемте, я познакомлю вас с руководителем, – предложил Диц, – мы отвели ему самую тихую комнату.

Мельник сидел в кресле возле окна; ноги его были укрыты толстым шотландским пледом; он медленно читал книгу, аккуратно подчеркивая остро отточенным карандашом строчки и абзацы.

– Ишиас, извините, – объяснил он Штирлицу, слабо пожав его руку мягкими, горячими пальцами. – Стоит пять минут постоять на сквозняке – и сразу же выхожу из игры. Обидно, но что поделаешь.

– Зато аппарат работает четко, – заметил Штирлиц. – Выйти из игры – это значит подать в отставку. Просто, видимо, противно сидеть за книгой, когда все готовятся к главному...

– Это не книга, – ответил Мельник. Говорил он, в отличие от Бандеры, певуче, медленно, навязывая собеседнику свою, чуть ленивую, манеру беседы. – Это «Апологетика». Я заново изучаю православное толкование различий между церквями. Православие очень наивно отстаивает свою единственность и истинность. Это будет сложный вопрос на Украине: обращение в католичество тридцати миллионов несчастных...

– Может быть, лучше сделать друзьями католичества православных пастырей? – спросил Штирлиц. – А не обращать насильно тридцать миллионов в чужую веру?

– Нет. Это невозможно, – мягко, но твердо возразил Мельник. – Православие связано с Москвой традициями язычества. Блок с православием всегда ненадежен. И потом оно слишком консервативно.

– Ну, это не самое страшное, – сказал Штирлиц. – Нас должен настораживать радикализм церкви, а уж с консерваторами мы как-нибудь договоримся. Не кажется ли вам, что церковь и на Украине и в России – я имею в виду православие, естественно, – займет позицию нейтралитета, в лучшем случае?

Мельник снисходительно улыбнулся:

– Господин Штирлиц, когда я говорю о ненадежности блока с православием, я имею в виду внутренние расхождения: византийское влияние мешает православию признать святость папы. Православные испуганно ждут второго пришествия, они меньше прагматики, чем мы, люди Запада. Но что касается внешнего, то есть отношения к освобождению от большевизма, здесь не может быть двух мнений – они все пойдут за фюрером, все как один.

– Я согласен с Мельником, – сказал Диц.

– Ну-ну, – хмыкнул Штирлиц. – Как это говорится у славян: вашими устами пить мед?

– Вашими бы устами да мед пить, – поправил Мельник по-русски. – В этом выражении важна сослагательность, мечтание, предположительность. Они же мечтатели, москаль, в этом их трагедия. А наша трагедия в том, что мы, прагматики по своей природе, вынуждены были подчиняться их розовым, безумным мечтаниям.

– По-моему, – не согласился Штирлиц, – главным мечтателем в русской литературе был украинец Гоголь.

– Гоголя нельзя считать украинцем. Он писал по-русски и говорил по-русски. Как это ни горько утверждать, но он похож на тех нынешних украинцев, которые продались Москве.

В дверь постучали, заглянул один из офицеров СС, пригласил Дица к телефону.

– Как вы относитесь к Бандере? – неожиданно спросил Штирлиц и понял, что он хорошо спросил, потому что Мельник такого открытого вопроса не ждал.

– Он бандит, он банки грабил, неуч – только о себе думает, – ответил Мельник.

– Ваш ответ предполагает дополнение: «О нации, обо всех, думаю один я, Андрей Мельник». Нет?

– Нет. О нации думает много людей. О моей нации более всех скорбит наш духовный пастырь Шептицкий, которому это делать труднее, чем мне, оттого что живет он в большевистском Львове, а не в Кракове.

– Правда ли, что Шептицкий – русский по крови?

Мельник даже руками замахал, зашелся быстрым, задышающимся смехом:

– Боже мой, Шептицкий – русский?! Откуда?! Самый чистый украинец!

Перед выездом в генерал-губернаторство Штирлиц успел посмотреть старые, растрепанные фолианты и среди всякого рода фактов обнаружил один, показавшийся ему в высшей мере любопытным.

Ярослав Мудрый, возвеличив киевский великокняжеский престол, отбил попытки польских феодалов захватить древнерусские червенские города. Праправнук Мономаха, Роман, князь Владимиро-Волынский, образовал новое Галицко-Владимирское княжество. Он не отринул прежних князей и память о них – Ростиславовичах. Он любил повторять слова, сказанные о последнем Ростиславовиче Галицком – Осмомысле Ярославе: «Пышно сидел на своем золотокованом столе, подпер горы Угорские своими железными полками, заступив Королеви венгерскому путь; затворив Дунаю ворота, суды ряда до Дуная. Грозы твоя по землям текут, отворяеши Киеву врата...»

К нему, к Роману, праправнуку Мономаха, пришли посланцы от папы Иннокентия III после того, как он узнал о присоединении Киева к Галицкому княжеству. Папа предложил королевский венец «самодержцу всей русской земли» и свой папский меч – во имя приобретения новых земель – с одним только условием: переходом в католичество.

– Такой ли меч Петров у папы, – ответил Роман, обнажив княжеское свое, кованое и тяжелое оружие, – иж имат такой, то может города давати, а аз доколе имам и при бедре, не хочу куповати ино кровью, якоже отцы и деды размножили землю Русскую.

Трудно представить себе дальнейшее развитие срединной Европы, не окажись Владимир, Рязань и Киев теми форпостами, которые первыми встретили нашествие татаро-монгольских войск. Киев, разоренный нашествиями, стал терять свои связи с другими русскими землями. А Владимир и Суздаль далеки, и санный путь опасен и долог, и главное их призвание тогда вышло: противостоять удару с востока, защитить Европу от вторжения диких орд. Так, из-за вторжения силы извне, из-за стечения исторических случайностей, которые не укладываются ни в какие логические умопостроения, Галицкая Русь осталась православным островом в море католичества.

Татаро-монгольское нашествие подорвало мощь и единство русских земель. Часть древнерусских княжеств отошла к Литве. На северо-востоке стала восходить Москва, начавшая собирать русские земли. А Галицкая Русь была захвачена польскими королями.

Русские земли были разделены барьерами политических границ. Но, несмотря на это, долгое время продолжала сохраняться единая, древнерусская народность, пережившая Киевскую Русь. И в Юго-Западной Руси, в том числе и в галицких землях, где начался процесс формирования украинской народности, сохранялось сознание единства общего происхождения.

Прошло четыре долгих века после захвата Польшей галицких земель, прежде чем русские князья Острожские и Вишневецкие, а также многие шляхтичи приняли католичество, ибо православие, которому служили их предки, лишало их в новых условиях того положения, которое они считали обязанными иметь. Среди них были и галичане Шептицкие, позднее выслужившие себе за верность дому Габсбургов титул австрийских графов.

Это знал Штирлиц. И Мельнику это знать тоже не мешало бы, потому что граф Андрей Шептицкий, митрополит Львовский, потомок галицких шляхтичей по отцу и поляк по матери (это скрывалось тщательно, вопрос крови – вопрос особый, тут промашку дать нельзя – потом не поправишь!), сыграл особую роль в жизни «вождя» ОУН-М.

Когда молодому еще Мельнику – офицеру бывшей австро-венгерской армии, осевшему после разгрома Габсбургов во Львове, где царил шальной дух «польской могучности», где легионеры бывшего социалиста Пилсудского правили громкие пиры национальной победы, –

пришлось задуматься о куске хлеба, он вошел в связь со своими, то есть с такими же, как и он, бывшими офицерами венской монархии. Мельник знал свою силу. Он умел организовывать дело, обстоятельно изучая его со всех сторон, неспешно привлекая верных людей, расставляя их к «ключам», но все это было раньше, при Габсбургах, а потом при гетмане, а после гетмана при Петлюре, а теперь все кончилось, и оказалось, что он **никто**. Именно тогда, в годы бедствий, Мельник вошел в УВО – украинскую военную организацию, созданную, как и ОУН, с помощью Берлина. Но если берлинские военно-политические стратеги берегли ОУН как силу дальнего прицела, то к УВО отношение было словно к шлюхе – пользовали, как хотели, агентуру не ценили, торопились выжать максимум, получить все данные военного характера о новом европейском государстве, которое было отмечено «железной личностью» Пилсудского.

Именно УВО и поручило Мельнику, зная через «анкетников» Ярого его деловую умелость, создать резидентуру во Львове. Ужас голода сменился пьяной сытостью и пониманием своего падения: стать агентом другой державы, говоря проще – шпионом, было для полковника австрийской армии вопросом нешуточным.

Мельник сумел найти людей, расставить их в нужных местах, не торопился задавать вопросы, семь раз мерил, один раз резал, создал свою контрразведку, охранявшую связи резидентуры, и лишь после этого начал гнать информацию в Германию – разведданные, которые потрясли военных в Берлине своей точностью и дотошной аналитичностью. Стал вопрос о передаче Мельника в отдел, ведавший созданием марионеточных «лидеров», но засветилась связная, приезжавшая к Мельнику из Мюнхена за шпионскими сведениями, – тут уж не до «лидерства»!

А Мельник-то поверил, что жизнь возвращается к нему. Он поверил, что с унижением кончено, что он доказал свою нужность практикой легкой и неинтересной для него (в силу ее обезличенности) разведдеятельности. С ним провели беседу люди Ярого, определили для него сектор работы: организация боевых пятерок, связанная с террором пропагандистская работа, конспиративное прикрытие националистического движения по всей Польше. И в тот день, когда он должен был сдать дела своему помощнику, польская полиция произвела аресты; Мельник был взят с поличным. За ним, шпионом Германии, выдававшим за деньги военные секреты, захлопнулись скрипучие ворота тюрьмы.

Первые дни в камере Мельником владела глухая ко всему и безразличная слабость. Только дурак мог тешить себя иллюзиями: отныне и навсегда путь вверх закрыт, а верхом, естественно, была для него политика. Была австрийская армия – ступенька в политику, армия чужая, казавшаяся мощной, но ее теперь нет; была работа в УВО – ступенька в политику, вот она рядом, поставь только ногу, – но нет, и это не получилось, обрушилась лестница. Все. Конец. Крах. Продавший душу дьяволу обречен на долгую и унижительную гибель.

Мельник попросил в тюремной библиотеке евангелие и углубился в чтение – только в этом он находил спасение, только оно было точкой спокойствия в той буре, которая грохотала во внешне тихом существе его.

Сжимая в руках евангелие, он выслушал приговор. С этим же евангелием, подарком от тюремной администрации, он вышел на свободу. И принял его тогда, сделав управляющим своих имений, граф Андрей Шептицкий, митрополит Галиции.

История определяется движением человеческих масс, увлеченных той идеей, которая на данном периоде развития одержала победу над идеей прежней. Вопрос личности, ее роли, с одной стороны, и объективного процесса развития, с другой, – вопрос сложный, ибо внешне именно личность формулирует ту или иную декларацию, которая потом становится жизнью сословий, народов, государств. Казалось бы, именно личность объявляет войну, декларирует мир, дарит свободу и выносит приговор. Однако следует признать, что если на том или ином отрезке истории события носили характер сугубо **личностный**, то, как правило, события эти были скоропреходящими, хотя и особо кровавыми, зловещими.

Граф Андрей Шептицкий хотел навязать истории свою идею, и это не могло не привести к крови, ибо логические построения, созданные в тиши монастырского (банковского, военного, полицейского) кабинета, всегда страдают избытком властолюбия.

Судьба украинского народа, его будущее были для Шептицкого абстрактным **понятием**. Идея его сводилась к тому, чтобы сделать народ, целый народ неким **образцом** народа, обращенного в чужую веру и живущего ею. В отличие от иных пастырей, Шептицкий допускал возможность коллаборации с иноземной силой во имя торжества этой своей идеи; более того, в годы первой мировой войны он был военным шпионом Вены – ему платили за сведения. В глубоко сокрытой подоплеке его поступков лежала чисто мирская жажда самоутверждающегося собственничества. Это невытравляемое собственничество с годами ушло внутрь и переоплотилось – в зрелости уже – в то самое властолюбие, которое так опасно вообще, а в сегодняшнем мире особенно...

– Только талмудисты считают дерзание, – говорил Шептицкий во время первой беседы с Мельником, – греховным. Первым дерзнул Христос, обращаясь к толпе. Он дерзал, зная, что его не поймут, прогонят, предадут. И тебе предстоит дерзать, Андрей. Это только кажется, что дерзание **внешне**. Дерзание всегда акт внутренний, акт, обращенный против самого себя, против неуверенности в своих силах. Можно быть владыкой на людях и принимать поклонение толпы – это тешит. – Шептицкий тронул своими прозрачными, синеватыми пальцами недвижные ноги, бессильно разваленные в кресле-каталке. – Мое – это Он, твое – **они**. Знай, толпа не прощает колебаний. Они, сиречь малые и сирые, – рабы логики, хотя сами лишены ее, – может, потому ей и следуют. Они рабы **вечных** величин и понятий, именно поэтому Святая Церковь, зная всю правду об инквизиции, хранит об этом периоде своей истории молчание и по сей день, не поддаваясь соблазну отринуть то, что запятнало святость кровью безвинных жертв. Признание вины Святой Церковью послужит делу безверия, ибо миллионы усомнятся в нашей истине: «Если раз было зло, то почему бы ему не повториться?» Ты понял меня, Андрей? Кто бы и когда бы ни укорил тебя судебным делом, кто бы ни обвинил тебя в шпионстве, помни, ты не был грешен, ты выявлял нашу веру так, как было возможно. В твоих поступках не было греха: ты **жил** не своим интересом.

– Но я жил своим интересом, – чуть слышно возразил Мельник. – Я жил тогда своим отчаянием, голодом, своей обреченностью.

– Нет, – убежденно ответил Шептицкий. – Не считай, что вериги – непременно атрибут Святой Церкви. Мы постимся, но мы не хотим навязывать людям вечную схиму. Ты жил, как жил, ты отдал себя не дьяволу, а другу. Да, да, Андрей, другу. Ибо враг врага – твой друг. Иди работай, отдыхай, обрети себя, ты еще **восстанешь**.

Когда нацисты убрали Коновальца, а друг Андрея Мельника, **верткий** Ярослав Барановский, был арестован в Роттердаме по подозрению, Шептицкий легко выправил бывшему шпиону Германии паспорт в Варшаве для участия в похоронах родственника. Мельник и Коновалец были женаты на сестрах Федак; их отец, директор банка «Днистро», имел семерых дочерей, и почти все они вышли замуж за лидеров ОУН.

Родственника Мельник похоронил, вернулся во Львов, провел в монастыре у Шептицкого две недели, за ворота не выходил, а потом исчез, как растворился, – люди Рики Ярого перевели его через границу нелегально для того, чтобы – по указанию гиммлеровского ведомства – короновать новым «вождем» ОУН: Бандера в тюрьме, а ведь надо кому-то продолжать дело.

Первой акцией Мельника, после того как он был «коронован», стала акция ловкая, лойоловская: он предпринял попытку освобождения Бандеры, отправив группу для организации побега узника. Мельник понимал, что молодого Бандеру надо приблизить к себе, стать его благодетелем – вопрос освобождения вторичен. Случайно ли, нет ли, но боевая группа оказалась частью перебитой, частью схваченной.

Предсказание Шептицкого оправдалось: Мельник восстал из пепла. Жил он теперь то в Берлине, то в Вене, то в Риме, жил у немецких своих наставников, и те поняли его методическую, незаметную, аккуратную нужность. Он редко выступал, сторонился митингов и соборщ, а все больше сидел на конспиративных квартирах, редактировал брошюры для «Края», составлял схемы связей подполья во Львове и Черновцах, намечал объекты для уничтожения в Польше и в Советах, выявлял друзей, но главное – врагов, и не явных, не партийцев (те сразу понятны), а таких, кто искренне принял идею большевиков и честно служил ей, не записавшись даже в ячейку.

Свою истинную нужность он доказал, когда войска Гитлера вторглись в Польшу: вместе с немцами шли банды Мельника. Словно во времена позднего средневековья, они помечали крестом дома врагов. СС и СД во время этой кампании учли еще одно важное качество Мельника: он знал свое место, он сделал ставку на силу, и он верил, что эта сила приведет к силе и его. Так и случилось. Созданный после разгрома Польши «Украинский комитет» во главе с доцентом Краковского университета Владимиром Кубиевичем был карманным, беспрекословно подчинялся Мельнику и оказался единственной «украинской властью» на территории генерал-губернаторства, решавшей все вопросы, связанные с «нацией», не как-нибудь, а непосредственно с референтурой наместника Франка. Украинских националистов Франк поддерживал, понимая, что они вольются в боевые отряды, когда начнется очистительный поход на Восток, оуновцев использовали как полицейскую силу в чисто польских районах, а в районах украинских эту службу несли польские полицейские, которые были взяты на службу нацистами.

С начала сорокового года СД поручило Мельнику заняться проблемой крови. Необходимо было выявить всех, кто был «замаран» русским или польским семенем, – для изоляции; о еврейском даже не говорили. Мельник составил списки (в первую очередь нацистов, естественно, интересовали коммунисты, советский актив на заводах, в колхозах, интеллигенция Советской Украины). Списки были подробнейшие: на многих сотнях страниц – фамилии, имена, отчества, год рождения, место рождения, рост, цвет глаз и волос, особые приметы, адреса друзей и знакомых.

В списке не было Андрея Шептицкого, потомка галичанина – кто знает, может, в истоках русского – и польской аристократки. Не потому не было имени его в списках, что Мельник хотел скрыть это, а потому лишь, что не мог себе даже представить Шептицкого неукраинцем.

Побеседовав с «шефом» ОУН-М о тех сведениях, которые поступают из-за кордона, спросив Мельника о том, какова, с его точки зрения, прочность большевистского тыла, и выслушав ответ, угодный любому немцу, занимающему пост, – мол, тыла у них нет, это конгломерат разностей, который потечет, развалится, как мартовский лед после первого же дождя, Штирлиц пожелал собеседнику скорейшего избавления от досадного в такие дни недуга и вышел.

Диц только что кончил долгий и, видимо, трудный разговор: он сидел у телефона потный и злой.

– Замучили? – спросил Штирлиц.

– Фохт сошел с ума, – ответил Диц. – Можно подумать, что работа заключается только в том, чтобы писать отчеты и составлять таблицы. Живое дело для него не существует.

– Вы встречаетесь с Бандерой? – спросил Штирлиц, решив подкинуть Дицу нечто для размышления.

– Его опекает армия, – рассеянно ответил тот. – Наши встречаются с ним довольно редко: Канарис, говорят, отбил его для использования в тактических целях.

– Понятно, – задумчиво произнес Штирлиц, прислушиваясь к тому, как в соседней комнате молоденький фельдфебель кричал в полевой телефон: «Семь маршевых групп в район Перемышля отправлены уже вчера! Я говорю – вчера!» – Понятно, – повторил он,

порадившись мелькнувшей догадке. – Но смотрите, как бы Бандера не схватил лавры первым – он значительно более мобилен, чем Мельник. Успех Бандеры даст лавры абверу, а не вам, Диц.

– Этого не может быть. – Диц забыл о своей постоянной улыбке, сразу же поняв смысл, скрытый в словах Штирлица. – По-моему, вы преувеличиваете.

«Их же оружием, – подумал Штирлиц, выходя из особняка, – только так, и никак иначе».

19. И БУДЕТ НОЧЬ, И БУДЕТ УТРО...

Связником оказалась женщина. Невысокого роста, с угольного цвета глазами и быстро появлявшимися ямочками на щеках, она показалась Штирлицу слишком уж яркой и беспечной. Это ощущение, видимо, родилось из-за того, что одета она была слишком броско: короткое платье, когда налетал ветер, открывало ее крепкие, спортивные ноги; вырез был слишком низкий – женщина знала, что она хороша, но ей было уже под тридцать, и поэтому она, видимо, перестала умиляться своей красотой и вела себя так, как это свойственно знаменитому, но мудрому поэту или актеру, – не реагируя на поклонение, не реагируя искренне, без того затаенного холодка счастья; которое сопутствует открытому выражению восторга у людей глупых и молодых, на которых обрушилась шальная известность.

Женщина была немка – Штирлиц понял это по ее произношению, по тому, как она себя чувствовала в оккупированном городе, и по тому еще, как быстро и оценивающе оглядела Штирлица. Смотреть так, чтобы моментально сделать для себя утверждающий вывод, свойственно лишь европейцам. Люди Запада, как убедился Штирлиц, жили иным качественным и временным измерением, нежели русские. Отсюда, из Европы, ему казалось, что дома, несмотря на голод, трудности и лишения, люди убежденно верили, что уж чего-чего, а времени у них в избытке. Штирлиц много раз вспоминал писателя Никандрова, с которым сидел в камере ревельской тюрьмы двадцать лет назад, и его слова о том, что русские расстояния, их громадность накладывают отпечаток на психологию человека. Расстояния России сближали людей, в то время как ущербность европейских территорий людей разобщала, вырабатывая у них особое качество надежды на себя одного. Европейец убежден, что помочь ему может лишь он сам – никто другой этого делать не обязан. Надежда на себя, осознание ответственности за свое будущее родили особое, уважительное отношение ко времени, ибо человек реализуется прежде всего во времени, в том, как он слышит минуту, не то что час. Здесь – Штирлиц поначалу скрывал свое недоуменное восхищение этим – ни одна секунда не была лишней, каждое мгновение учитывалось. Люди жили в ощущении раз и навсегда заданного темпа, этому подчинялись манера поведения, интересы, мораль. В отличие от русского, который прежде всего хочет понять, **зачем** делать, здешние люди начинали утро с дела, с любого дела, придумывая себе его, если реального не было. Люди здесь, словно пианисты, подчинены ритму, словно метроному, и необходимые коррективы они вносят уже в процессе дела; главное – начать, остальное приложится.

...Женщина казалась резкой в движениях, рука у нее была сухая, сильная, с короткими пальцами, но в то же время податливая – дисциплинированно податливая. Здешние женщины приучены не забывать, что они тоже способствуют **достижению успеха**, ибо семья начинается с женщины, а в ней ценится главное: податливая, всепонимающая, а потому много прощающая доброта.

– Как со временем? – спросил Штирлиц.

– Я уезжаю завтра утром.

– Вас зовут...

– Магда. А вас?

– Моя фамилия – Бользен.

- Фамилия явно баварская.
- В дороге ничего не случилось? Никто не топал следом?
- Я проверялась. Ничего тревожного.
- Вы из Берлина?
- Я живу на севере.
- Кто вы? Я имею в виду защитное алиби.

– Вы говорите со мной, как трусливый мужчина со шлюхой, – заметила Магда.

– А я и есть трусливый мужчина, – ответил Штирлиц, внезапно ощутив в душе покой, которого он так ждал все эти дни, – видимо, присутствие человека **оттуда**, подумалось ему, дало это ощущение покоя, но потом он решил, что любой человек **оттуда**, из дому, покоя не принесет; замечательно, что этим человеком оказалась женщина с податливой рукой и с гривой льняных волос, которые то и дело закрывают лицо, и тогда просвечивают угольки быстрых глаз и угадываются две быстрые, внезапные ямочки на щеках.

– Вы голодны, Магда?

– Очень.

– В нашем офицерском клубе можно неплохо поужинать, но там...

– Не надо. Здесь, в кафе, можно получить хлеб и повидло? Этого будет достаточно.

– Попробуем. **Оттуда** никаких вестей?

– Я там была зимой.

– Легально?

– Во время ужасных холодов.

– Как **там**? Понимают, что вот-вот начнется?

– А на мне было осеннее пальто – в Ростове ведь не бывает таких холодов, как **там**.

– Где вы остановились? – поняв, что женщина лгала ему, спросил Штирлиц.

– И мне пришлось купить белый теплый платок со странным немецким названием «оренбургский».

Штирлиц улыбнулся и – неожиданно для себя – убрал волосы с ее лица.

– Я не проверял вас, но вы истинный конспиратор. Bravo!

– Просто, видимо, вы не очень давно занимаетесь этой работой, – сказала женщина.

– Не очень, – согласился Штирлиц. – В этом вы правы. Можно вас спросить о профессии?

– Знаете что, не кормите меня разговорами. Будьте настоящим мужчиной.

– Вот кафе, – сказал Штирлиц. – Пошли?

Хозяин стоял за стойкой, под потолком жужжали мухи, их было много, они прилипали к клейкой бумаге и гудели, как самолеты во время посадки.

«Даже растение боится несвободы, – подумал Штирлиц, – и растет так, чтобы обойти преграды. А муха в сравнении с растением – мыслящее существо: ишь как изворачивается, лапками себе помогает».

– Вы говорите по-польски? – спросил Штирлиц Магду, и хозяин при звуке немецкой речи медленно опустил голову.

– Нет.

– Кофе, пожалуйста, – сказал Штирлиц хозяину, коверкая польскую речь. – И хлеба с джемом.

– Есть только лимонад, – ответил хозяин, – прошу пана.

– А где можно поужинать?

– Видимо, в Берлине, – тихо ответил поляк.

Штирлиц, оглядевшись, позволил себе улыбнуться – в кафе не было посетителей.

– Вы знаете адрес, где можно хорошо поужинать? Я уплачу по ценам рынка.

– За такие предложения людей увозят в тюрьму, прошу пана, я не знаю таких адресов.

– Едем в центр, Магда, – сказал Штирлиц. – Придумайте, где я мог вас встречать раньше: ужинать придется в нашем клубе.

– Что за клуб?

– Немецкий, – сказал Штирлиц, распахнув перед женщиной дверь.

– Это ненужный риск.

– Я рискую больше, чем вы.

– Неизвестно.

– Известно, – вздохнул Штирлиц.

– Вы могли встречать меня в Ростоке. Я преподаю там французский язык в женской школе. Если вы знаете Росток, то...

– Знаю. Но я не хожу в женские школы.

– Вы могли забрести на пляж.

– Какой?

– Городской. Там один пляж. Я купаюсь всегда слева, ближе к тому месту, где стоят яхты.

– Ну вот и договорились. Вы член НСДАП?

– Нет. Я состою в организации «К счастью – через здоровье».

– Получается? – спросил Штирлиц, оглядев ее фигуру.

– Знаете, передайте-ка мне лучше то, что нужно передать, и я пойду на вокзал.

– Почему на вокзал?

– Все отели забиты.

– Где вы ночевали вчера?

– На Варшавском вокзале.

– Сколько времени вы пробудете здесь?

– Два дня. У меня путевка на два дня: я знакомлюсь со старинной столицей славянских варваров.

– Ну и хорошо. Пройдем этим переулком – там моя машина.

Когда Магда увидела «вандерер» с номером СС, лицо ее напряглось, ноги напряжились и каблучки зачастили по мостовой – цок-цок-цок – как породистая лошадка-однолеток.

«Цок-цок, перецок», – вспомнил Штирлиц что-то давнее, но очень ему дорогое. Он был убежден, что с этим связано нечто особо важное в его жизни, может быть, самое важное, но сколько он ни вспоминал – отпирая дверцу машины, садясь за руль, открывая противоположную дверь Магде, помогая ей устроиться, – вспомнить не мог, а потом времени не стало, ибо Магда, напряженно улыбаясь, сказала:

– Это арест?

Голос у нее был испуганный, но в нем было то внутреннее **дрожание**, которое свидетельствует о силе, но не о слабости.

– Вот поужинаем, а потом арестую, – пообещал Штирлиц и нажал на акселератор. – И ведите себя в клубе так, будто спали со мной. Добродетель вызывает подозрение: наши развратники рядятся в тогу добропорядочных отцов семейств, но верят только тем, кто спит с чужими женщинами.

– Слушайте, Бользен, зачем вы так играете со мной?

– Я ни с кем, никогда, ни при каких обстоятельствах не играю, Магда, ибо игра стала моей жизнью. Просто играть невыгодно – разрушает память, ибо игра предполагает ложь, и надо всю эту вынужденную ложь держать в голове, чтобы не сесть ненароком в лужу. И вам, между прочим, не советую играть – я старше вас лет на пятнадцать, нет?

– Мне двадцать восемь.

– На тринадцать, значит... А прошу я вас побыть со мной, потому что мне очень сейчас плохо и я могу ненароком сорваться. Понятно?

– Понятно. – Магда убавила громкость в радиоприемнике. – Только вы нарушаете все правила.

– Хватит об этом. Умеете массировать?

– Что?! – снова испугалась женщина.

– Массировать, спрашиваю, умеете?

– Это легче, чем делать мою работу.

– Тогда помассируйте-ка мне затылок и шею – давление скачет.

Давление у него было нормальное, но сейчас, в эти дни, ему нужно было прикосновение друга – это так важно, когда в часы высших тревог, в минуты отчаяния и безнадежности кто-то, сидящий рядом с тобой, не ожидая просьбы, прикоснется пальцами к затылку, положит ладонь на шею, и ты почувствуешь чужое тепло, которое постепенно будет становиться твоим, и чувство обреченного одиночества уйдет, и станет пронзительно-горько, но ты уже сможешь **понимать** окружающее, а если ты смог понять, а не наталкиваться взглядом на безликое, серое, окружающее тебя, тогда можно заставить себя думать. А в самые тяжелые минуты человек всегда думает о том, как **поступить**.

*«Господи, – испугался Штирлиц, – неужели ласка женщины нужна мне лишь как стимул к поступку? Неужели то прекрасное, обычное, человеческое, спокойное, нежное совсем ушло из меня? Неужели годы **работы** подчинили профессии все мое существо?»*

Тепло женской ладони вошло в него, и он сбросил ногу с педали акселератора, потому что сразу же, словно получив команду, закрылись глаза. Он потер лицо рукой, жестко и больно. Это было только мгновение, когда он закрыл глаза. Улыбнувшись Магде, Штирлиц сказал:

– Вам бы сестрой милосердия, а не учительницей...

Лицо женщины стало иным сейчас – оно смягчилось, мелкие морщинки вокруг глаз-угольков разгладились, и ямочки на щеках не исчезли, как прежде, когда она слушала его внимательно, не поворачивая головы, а глядя прямо перед собой, как глядит красивая женщина, словно отталкивая людские взгляды, утверждая собственную принадлежность самой себе, свою от толпы свободу и – поэтому – право принадлежать тому, кому она принадлежать захочет.

«Осознание собственной красоты, значимости, нужности не есть проявление нескромности, – подумал Штирлиц. – Наоборот, склонность человека принижать себя, неуверенность в своих силах, неверие в свою нужность и красоту только при внешнем исследовании кажутся скромностью. На самом деле сознание своей ненужности, неумелости, кажущейся своей некрасивости порождает стыдливость, которая переламинает человеческие страсти, делает их неестественными и, наконец, загоняет чувства внутрь, не позволяя им выявиться вовне».

– Магда, вы любите смотреть на себя в зеркало?

– Только если приходится мазаться. Я довольно точно осознаю себя и без зеркала.

– Как вы думаете, если будет война с русскими, чем она кончится?

– Поражением.

– Быстрым?

– Молниеносным.

– Почему?

– В тех, кто унижен и подмят Гитлером, нет ничего объединяющего. Все, что подвластно нацизму, – обречено.

– Ах вы, философ мой милый, – вздохнул Штирлиц. – Значит, говорите, молниеносное поражение?

– Вы думаете иначе? – Она на мгновение перестала массировать его потеплевшую шею. – У вас есть основания думать иначе?

– Есть, – ответил Штирлиц.

Он затормозил возле военного клуба и помог Магде выйти. Было еще солнечно, но вечер угадывался в том **накальном** цвете неба, который в жаркие дни кажется дымным, серым, тогда как на самом деле он пронзительно-синий, легкий, разжиженный дневной жарой.

– Как мне звать вас? – спросила она, наклонившись к Штирлицу, пока он запирает дверь, и жесткие белые волосы ее, которые издали казались копной мягкого сена, тронули его щеку.

– Макс.

Он отворил дверь, вошел в полумрак клуба и придержал дверь, ожидая, когда следом за ним войдет Магда.

Метрдотель, здешний фольксдойч, Штирлица в лицо не знал и поэтому потребовал документ. Штирлиц показал ему жетон СД, метр сразу **преисполнился** и засеменил в зал первым. Он усадил Штирлица и Магду за маленький столик возле окна, забранного тяжелой шторой, которая пахла давней пылью, и подал им меню.

– Советую попробовать кролика, он сегодня неплох. Пиво, увы, безалкогольное, – метрдотель позволил себе сострадающе усмехнуться, среди своих можно было подтрунивать над недостатками и трудностями, – но, если у вас сохранились карточки, я постараюсь принести немного настоящего рейнского.

– А обыкновенной водки у вас нет? – спросил Штирлиц.

– С этим труднее, но...

– Я очень прошу вас, – сказал Штирлиц, возвращая метру кожаное, дорогое меню, в котором была заложена глянцевая бумага с наименованием двух блюд: кролик и рыба.

*«Это хорошо, что рядом она, – снова подумал Штирлиц. – Интересно, дома поняли, что я на **границе**, и поэтому прислали женщину? Или простая случайность? Слава богу, я сейчас вправе ни о чем не тревожиться и просто видеть рядом женщину, которой можно верить».*

– Я тоже десять раз на день думаю, что все будет молниеносно, – сказал Штирлиц, – и десять раз отвергаю это.

– А я стараюсь не менять своих убеждений, – заметила Магда и осторожно оглядела полупустой зал.

– Неправда, – Штирлиц достал сигареты и закурил. – Это неправда.

– Это правда.

– Не спорьте. Каждый человек пять раз в течение часа меняет свое мнение. Мнение – это убеждение, – пояснил Штирлиц, – его разновидность. Но в школе, – он внимательно посмотрел на женщину (он любил, присматриваясь к человеку, говорить, нанизывая слова, внешне – серьезно, внутренне – чуть потешаясь и над собой, и над собеседником), – учителя, а дома – родители вдалбливают в голову детям, что быть переменчивым в суждениях – главный порок, свидетельствующий о человеческой ненадежности. Нас учат неправде, нас заставляют скрывать свои чувства. За этим – вторичность морали, нет? Люди до того боятся обнаружить перемену во мнениях, что делают некими бронтозаврами, костистыми, без всякой игры и допуска. В этом, по-моему, сокрыто главное, что определяет философию буржуазности: скрывать самого себя, быть «как все», одинаково думать о разном, давать одинаковые оценки окружающему. Раз ты стал кем-то, ты соответственно лишен права развиваться, думать, отвергать, принимать, то есть менять мнения. А если чудо? Если марсиане прилетят? Вы измените мнение о мироздании? Или скажете, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда?

Магда слушала его внимательно, нахмурившись, с интересом и явно хотела возразить, это в ней было с самого первого слова, произнесенного Штирлицем, но как возразить – она сейчас не знала, хотя желание это, он чувствовал, в ней осталось.

– Вы говорите, как хулиган, – улыбнулась она быстрой, неожиданной улыбкой. – С вами нельзя спорить.

– И не спорьте, – посоветовал он. – Все равно переспорю.

– Какой-то вы странный.

– Вас, верно, окружают мужчины влюбленные, поддающиеся вам, а я поддаваться не люблю, да и потом женщине это нравится только первое время, потом надоедает. Женщина сама призвана поддаваться: рано или поздно покорные мужские поддавания станут ей неприятны. В этом, наверное, высшая тайна, большинство семей отмечены печатью несправедливости.

Метр принес хлеба, масла, колбасу и графинчик с водкой.

– Тсс! Только для вас. Привезли из деревни, это – **настоящее**.

Штирлиц сразу же налил водки. Магда положила свою ладонь на его руку: он держал рюмку сверху, за края, как колокольчик.

– Погодите. Не надо сразу, – попросила она. – Поешьте сначала.

– Меня хорошо кормят. Спасибо, Магда. Я выпью, а вы сначала перекусите, ладно?

Она осторожно убрала со лба волосы, не отрывая от него глаз, которые сейчас показались Штирлицу не угольками, а бездонными озерами в северной тайге среди маленьких стройных березок.

«А если не из Припятских болот? – подумал Штирлиц, вспомнив в деталях лицо молоденького фельдфебеля в особняке гестапо, где содержали Мельника. – А если это маневр? Логика моих размышлений убедительна; коли и поверят, то поверят мне. С другой стороны, Гитлер может легко отринуть логику; его поступки, мысли, устремления лишены логики, ибо они не обращены на познание. Он самовыражается – какая здесь к черту логика?! Но, с другой стороны, самовыражаться ему помогают армия, дипломаты, партия, гестапо. Армия не захочет оказаться униженной после недавних побед. Армия будет гнуть свое. Гитлер вряд ли пойдет на разрыв с армией. Армия, видимо, сейчас стремится занять место, равное СС и партии. Это опасно. Это так опасно, что трудно даже представить себе. Армия – категория в Германии постоянная, все остальное преходяще».

– Вкусно? – спросил Штирлиц.

Магда улыбнулась. Улыбка сейчас была другая, в ней появилось что-то доверчивое, то, что Магда тщательно прятала в себе.

– Знаете, мой отец работал в ресторане кельнером. Я приходила к нему, когда была маленькая, и хозяин разрешал угощать одного из членов семьи тарелкой супа. Это было в двадцать девятом, во время кризиса, помните? – Штирлиц кивнул головой и сделал еще один маленький глоток – водка отдавала свеклой. – Повар был очень добрый человек, он подбрасывал в овощной суп мяса. Когда я начинала есть мясо, папа находил минутку, чтобы подбежать ко мне и спросить: «Вкусно?» Я очень боялась, что хозяин увидит мясо у меня в тарелке, и папа знал, как я этого боюсь, и он всегда подходил в тот момент, когда я озиралась по сторонам, начиная есть мясо. Он успокаивал меня своим вопросом, я это потом поняла, недавно в общем-то.

– Любите отца?

– Очень.

– Он жив?

– Нет.

– А мама?

– Жива.

– Маму любите больше?

– Нет. Я люблю ее по долгу, потому что она моя мать. Она никогда не понимала отца, он очень мучился из-за этого.

– Когда я первый раз встретил вас в Ростове, вы были с каким-то мужчиной, – сказал Штирлиц, подумав, что в столе может быть аппаратура прослушивания. Он помог глазами

понять Магде, почему он задал ей этот игривый, нелепый, но **вызывающий доверие** вопрос. – Нет?

Магда посмотрела на него потемневшими глазами, а потом в них снова проглянули озерца:

– Это был мой приятель, Макс. Он был очень славный, но глупый человек, и мне не хотелось вас знакомить. Поэтому, – чуть помедлив, добавила она.

«Умница. И быстрая. Какое же счастье, что я сейчас не один», – снова подумал он и вдруг утратился сходства, промелькнувшего в лице Магды, с тем единственным женским лицом, которое постоянно жило в нем эти годы.

На эстраде тихо, стараясь не шуметь стульями, рассаживались музыканты. Они очень осторожно переставляли пюпитры, доставали из футляров инструменты и говорили вполголоса.

«Несвобода – это когда люди веселья должны вести себя как тяжелобольные, забитые существа, – подумал Штирлиц. – Частность, но во всех странах, куда приходит Гитлер, музыканты в ресторанах меняются, и приходят тихие старики. А до этого были молодые ребята».

Скрипач взмахнул смычком, и музыканты заиграли «Нинон, о моя Нинон, солнца светлый луч для тебя одной!».

– Это красиво пел Ян Кипура, – сказала Магда, – а они играют пошло.

– Они играют для чужих и то, что чужим нравится.

– Налейте мне водки, пожалуйста. Чуть-чуть.

– Чуть-чуть имеет разные объемы, – улыбнулся Штирлиц. – Показывайте глазами – сколько.

И в это время в клуб вошли Диц и Омельченко с женой.

Диц сразу же заметил Штирлица, помахал ему приветственно рукой, Омельченко раскланялся, а Елена, рассеянно оглядев зал, так и не нашла его. Они сели за столик возле эстрады – заранее зарезервированный, – и Штирлиц услышал раскатистый бас Дица: оберштурмбанфюрер рассказывал Елене что-то веселое, путая словацкие, немецкие и русские слова. Штирлиц успел заметить, как Елена проводила глазами тот взгляд, который Омельченко бросил на молоденькую официанточку, разносившую сигареты и шоколад, прикоснулась пальцами к сильной кисти Дица, что-то шепнула ему, и они пошли танцевать. Когда Омельченко оказался за спиной Дица, тот подмигнул Штирлицу, скосив глаза на голову Елены.

– Какой милый, интеллигентный человек, не правда ли? – заметив подмигивание Дица, спросила Магда и посмотрела в глаза Штирлицу.

– О да! Прелестный, добрый человек, настоящий интеллигент. Попробуем заказать кофе в другом месте, нет?

– Кофе есть на моем вокзале.

– Поехали на вокзал, – согласился Штирлиц. – Я люблю мерзнуть на вокзалах.

– Наоборот, жариться, – вздохнула Магда. – На вокзале сейчас страшная духота.

Но они не успели расплатиться и уйти, потому что к их столику подошел Диц.

– Добрый вечер, – сказал Штирлиц. – Познакомьтесь, дружище. Это моя добрая знакомая из Ростка.

– Диц...

– Очень приятно, садитесь к нам, – ответила Магда, протянув ему руку, и Штирлиц отметил ту внутреннюю свободу, с которой женщина познакомилась, не назвав себя.

«Она говорила про себя неправду, – убедился Штирлиц, – она живет по легенде. Девочка из кухни вела бы себя иначе. А сейчас в ее словах была та мера уважительного презрения, которого люди типа Дица не ощущают».

– Надолго в наши края? – спросил Диц.

– Нет, увы, – ответила Магда.

– Как устроились? Здесь сейчас довольно трудно с пристойными отелями.

– Я экспериментатор по складу характера. – Магда чуть улыбнулась. – Чем хуже, тем интереснее.

Диц внимательно оглядел лицо женщины, и его стремительная улыбка показалась Штирлицу чуть растерянной.

– Хотите что-нибудь выпить, Диц? – спросил Штирлиц.

– Благодарю, – ответил он, – если ваша очаровательная подруга извинит меня, я бы хотел сказать вам два слова.

– О, конечно, – сказала Магда. – Бойтесь женщин, которые интересуются **особыми** делами мужчин...

Диц отвел Штирлица к бару, заказал две порции якоби, не спрашивая, что тот хочет пить, – знал, видимо, из данных гестапо, что оберштурмбанфюрер заказывает в ресторанах во время встреч с агентурой именно якоби, чаще всего доппель – восемьдесят граммов.

– Где я мог видеть вашу подругу? – спросил Диц.

– В Ростоке.

– Нет, я видел ее в Берлине.

– Она иногда наезжает.

– Не напускайте тумана, Штирлиц. Она живет в столице – я пока еще могу отличить провинциалку от берлинской штучки.

Острая тревога внезапно родилась в Штирлице.

– Ах вы, мой пронизательный Пинкертон, – сказал он, казня себя за то, что привез Магду в этот клуб.

А Диц не зря задал Штирлицу этот вопрос: сегодня утром он получил с фельдсвязью фотографию графини Ингрид Боден-Граузе.

(Мюллер униженно гнал Гейдриху, выпрашивая спецсамолет РСХА, потому что служба наружного наблюдения потеряла эту «аристократическую стерву» – ее пересадил в свой «даймлербенц» Гуго Шульц, и на Восточном вокзале, где ее ждали агенты, она не появилась: Гуго придумал легенду, по которой Ингрид, потеряв билет на самолет, попросила его довезти ее до Франкфурта и там помочь сесте на первый проходящий экспресс. Билет ее они подбросили на одной из улиц по дороге на Кепеник, заложив его в тот журнал, для которого Ингрид писала, – так что в легенде все было правдой, кроме самого факта «потери». Однако признаваться, что наружное наблюдение потеряло Боден-Граузе, шеф гестапо Мюллер не мог, поскольку «наружники» подчинялись его отделу и он не хотел давать против себя карты Гейдриху, который недолюбливал его за «деревенские манеры, излишнюю жестокость и колебания в дни, когда начиналось наше движение». Мюллер, впрочем, не говорил, что его люди «ведут» аристократку – он не мог подставиться на лжи, – он лишь настаивал на том, чтобы Диц не терял времени зря: Мюллер, как и Гейдрих, не очень-то верил теории «словесного портрета» – он предпочитал доверять фотокамере и подробным донесениям агентуры.)

Два часа назад фельдъегерь передал Дицу восемь фотографий Ингрид Боден-Граузе – красивая брюнетка. Со Штирлицем, однако, сидела блондинка, только овал лица и глаза были чертовски похожи.

– Слушайте, Диц, оставьте в покое мою девку. С вас не спускает глаз жена подвижника славянской поэзии.

– Вы с ума сошли, – ответил Диц, и в голосе его Штирлиц уловил для себя то, что ему очень хотелось услышать. – Эта баба интересуется меня с точки зрения наших интересов.

– Она пойдет на это, – уверенно, посерьезнев лицом, подыгрывая Дицу, сказал Штирлиц, понизив голос. – Интересный вариант, Диц, очень интересный вариант...

– Тогда пригласите к себе за стол Омельченко. Одного, – попросил Диц.

– Сейчас?

– Я хочу сегодня же оформить наши отношения, она будет для нас небезынтересна, потому что Омельченко из породы тех, кто себе на уме. Не очень-то доверяйте его пришибленности: евреи точно так же ведут себя в нашем обществе.

– А завтра вы не можете все это провести?

– Я недолго. Я пью с ними уже третий час... А завтра будет очень хлопотный день...

Или у вас намечено **мероприятие** с блондинкой из Ростока? – многозначительно добавил Диц, просияв широкой улыбкой.

Что-то такое промелькнуло в лице Дица, в больших глазах его, когда он сказал про «мероприятие», что Штирлиц еще более уверовал в правильность своей мысли.

– Хорошо, – сказал он, – отправляйте ко мне Омельченко. Но как вы объясните ему свое отсутствие? Вы же уедете отсюда, нет?

– Мы вернемся через час. Это максимум.

Штирлиц вздохнул:

– Давайте себе отдых, Диц, нельзя сжигать себя – даже вечером вы бредите работой. Это, конечно, прекрасно, но если сломаетесь, кому вы будете нужны? Рейх ценит сильных работников.

– Ничего, – Диц успокоил Штирлица, и снова улыбка изменила его лицо, – я чувствую в себе достаточно силы.

Омельченко, пересев к ним за столик, от водки не отказался и сразу же начал говорить – мудро, изысканно, о поэзии и живописи, об их взаимоисключающей взаимосвязанности – с явным желанием понравиться Магде.

Штирлиц, слушая его, думал быстро и жестко; пьяная болтовня Омельченко не мешала ему, и наконец он принял решение.

– Магда, ждите меня здесь, – сказал он. – Я предупрежу метра, что вы задержались по моей просьбе.

– Я буду опекать фройляйн, – пообещал Омельченко, – и занимать ее танцами, если позволите.

– Лучше занимайте меня разговором, – попросила Магда, внимательно посмотрев на Штирлица. Он чуть прикрыл глаза, успокоив ее, и пошел к выходу быстро, чуть даже склонившись вперед, как человек, остро ощущающий время, данное, конкретное время, от которого зависит успех или неуспех его задумки.

В машине он, наоборот, замер, словно бы оцепенел, впившись пальцами в холодную баранку, и сидел так с минуту. Он думал о том, где сейчас Диц может быть с Еленой. Он не мог ошибиться. Лицо Дица, чувственное и тяжелое, было так полно нетерпения и похоти, когда он пил якобы.

«Дурашка. Он решил, что мы с ним пришли сюда с одним и тем же делом, – рассуждал Штирлиц. – Поэтому он обратился ко мне. Он все рассчитывает по своей логике и в меру своих умственных возможностей. Он вправе, конечно, вербовать эту Елену – находка невелика, хотя, может, и похвалят за расширение агентурной сети. Но если я прав и если ты поволок в постель эту бабу, которая очень не любит своего мужа, тогда ты станешь моим рабом, Диц. За связь с иностранкой полагается партийный суд. Если я сделаю то, что я решил сделать, тогда мне не будут страшны твои холодные вопросы о Магде и твоя проклятая зрительная память, будь она неладна, и весь ты – более того, ты очень будешь нужен мне в ближайшие дни, как никто другой, Диц».

Штирлиц должен был рассчитать, куда Диц повез Елену. Конспиративные квартиры гестапо на Пачлиньской и Славковской были забиты бандеровцами и мельниковцами. Организационные вопросы решались в краковском управлении гестапо – туда оуновцев не допускали. Когда Штирлиц однажды спросил Дица, надежно ли в их офицерской гостинице

на Плянтах, что напротив Вавеля, тот ответил, что самое надежное место именно в этом отеле – никто из посторонних не имеет права входа, «только в сопровождении наших людей».

Штирлиц включил зажигание, медленно закурил и поехал в отель.

Портье он спросил рассеянно, скрывая зевоту:

– Оберштурмбанфюрер Диц уже у себя?

– Он пришел двадцать минут тому назад, господин Штирлиц. Он просил предупредить, что будет занят по работе полчаса. – Портье глянул на часы. – Соединить?

– Нет, нет. Благодарю вас. Я подожду его у себя.

Штирлиц похлопал себя по карманам, сосредоточенно нахмурился, снова похлопал себя по карманам, досадливо щелкнул пальцами:

– Черт возьми, мой ключ остался на работе... У вас есть ключ ко всем дверям, нет?

– Да, конечно.

– Дайте, пожалуйста, на минуту ваш ключ.

– Я открою вам дверь, оберштурмбанфюрер...

– Дайте ключ, – повторил Штирлиц, – не уходите с поста, я сам умею открывать двери.

В их гостинице были особые замки; изнутри вместо скважинки – кнопка. Ключ, таким образом, внутри оставить нельзя. Нажмешь изнутри кнопку – дверь заперта, повернешь ключ снаружи – открыта.

Штирлиц подошел к двери того номера, где жил Диц, и прислушался: было включено радио, передавали концерт Брамса.

«*Кажется, третий*», – машинально отметил Штирлиц и мягко повернул ключ, который подходил ко всем дверям – в военных гостиницах было вменено в обязанность иметь такой универсальный ключ. Он вошел в маленькую темную прихожую тихо, на цыпочках. Музыка неслась из комнаты, одна лишь музыка. Штирлиц рывком распахнул дверь. С большой тахты взметнулся Диц, который показался сейчас Штирлицу рыхлым и нескладным: в форме он всегда был подтянут. Елена медленно натягивала на себя простыню. Диц выскочил в прихожую – лицо его стало багровым.

– Бога ради, извините, – сказал Штирлиц. – Там Омельченко устраивает истерику...

– Штирлиц, слушайте, – Диц растерянно потер щеки, и на них остались белые полосы, – слушайте, это какой-то бред.

Штирлиц похлопал его по плечу:

– Продолжайте работу. И поскорее возвращайтесь.

– Штирлиц, что у вас в кармане? Вы фотографировали? Слушайте, не делайте подлости, я же вам ваш товарищ...

– Заканчивайте работу, – повторил Штирлиц, – и поскорее возвращайтесь. Потом поговорим. Ладно?

– Погодите, поймите же, – забормотал Диц, но Штирлиц не стал его слушать, повернулся и вышел.

...Он долго сидел за рулем, ощутив страшную усталость. Он затеял драку, и он победил в первом раунде, получив такого врага, который теперь не остановится ни перед чем.

«*Неверно, – возразил себе Штирлиц. – Не надо придумывать человека, исходя из собственного опыта. Люди разные, и, если проецировать на себя каждого, с кем сводит жизнь, тогда можно наломать много дров и провалить все дело. Нет, он раздавлен теперь. Он будет другим, хотя постарается казаться прежним. Он будет успокаивать себя тем, что я был один, без свидетелей; он будет убеждать себя, что показания Елены, если ее вызовут, не примут во внимание – какая-то полурусская украинка, ей нет веры. Но это все будет на поверхности его сознания. Внутри он уже сломлен. Он станет гнать от себя эту мысль. И я должен помочь ему в этом. Я должен сделать так, чтобы он испытывал ко мне*

благодарность – как арестанты, которых они готовят к процессу: те тоже начинают любить своих следователей и верить им».

...Вернувшись в клуб, Штирлиц сказал Омельченко, что он вынужден откланяться в связи со срочными делами, а господин Диц и Елена едут следом: она хотела посмотреть вечерний город.

– Пойдем, Магда, – сказал Штирлиц, протянув женщине руку, – пойдем, голубчик.

Он долго возил ее в машине по городу, не говоря ни слова, – просто крутил по красивым, опустевшим уже (комендантский час) улицам и ощущал в себе покой, потому что она была рядом и Диц теперь не посмеет его спросить, что это за женщина, каких она кровей, чем занимается и часто ли путешествует. Он мог бы, конечно, и не ответить, но в таком случае Диц получит основание обратиться за санкцией к руководству – выяснить самому, что это была за женщина, каких кровей, откуда и почему. И он бы выяснил. Это уж точно.

На берегу Вислы Штирлиц остановил машину, оперся подбородком на руль, вздохнул прерывисто и, кивнув головой, сказал:

– Смотрите на воду – здесь поразительно отражаются звезды. Они плывут.

*«Я должен был накормить ее, – внезапно подумал Штирлиц, словно бы продолжая спор с самим собой, такой спор, который продолжать не хочешь и боишься того момента, когда этот спор начнется снова. – Только поэтому я повел ее туда. Только поэтому, – повторил он себе, стараясь заглушить другие слова, которые были в нем до того, как он произнес эти, самооправдывающие, и он услышал эти слова именно потому, что не хотел их слышать. – Ты привел ее туда от отчаяния, вот почему ты привел ее, Максим. Она как пуповина для тебя, она **связь**, а тебе сейчас очень страшно, и ты мечешься, ты в панике, оттого что не знаешь, как сделать так, чтобы тебя **услышали**. И тебе было очень страшно все это время – до тех пор, пока не приехала Магда. Магда? Да какая она Магда?! Никакая она не Магда. И давай больше не врать друг другу. Для того, чтобы врать другим, нужна хорошая память, а себе врать слишком опасно: можно кончить в доме умалишенных».*

Словно **угадав** его, Магда тихо сказала:

– Поворачивайтесь спиной – я как следует помассирую вам шею, бедненький вы мой... (В шифровке Центра, которую Магда передала Штирлицу, говорилось следующее:

«Найдите возможность локализовать действия террористов «Нахтигалья», внимательно просмотрите линию взаимоотношений Оберлендера с гестапо. Можете предпринимать шаги против «Нахтигалья», сообразуясь с обстановкой на месте. По нашим сведениям, между абвером и СД существуют тактические расхождения во взглядах на функции «Нахтигалья». Смысл этих расхождений нам до конца не известен. Однако можно предположить, что СД не хочет отдавать свои права кому бы то ни было, в чем бы то ни было и где бы то ни было. Постарайтесь также выяснить взаимоотношения, сложившиеся между СД и сотрудниками иностранного отдела НСДАП.

Алекс».)

«Бригадефюреру СС Шелленбергу.

Строго секретно, лично.

По сведениям, полученным мною от Омельченко, руководители «Нахтигалья» стараются присвоить себе право карать и вершить суд на украинских территориях, подлежащих колонизации. Поскольку это входит в противоречие с доктриной великого фюрера германской нации Адольфа Гитлера, подчеркивавшего, что право карать поверженных принадлежит только германским властям, прошу санкции на действия.

Оберштурмбанфюрер СС Штирлиц».

«Штирлицу.

По прочтении сжечь.

Запрещаю предпринимать какие-либо действия против «Нахтигалья» – впредь до особых указаний. Сообщите позиции чиновников иностранного отдела НСДАП и сотрудников министерства восточных территорий в связи с этим вновь открывшимся обстоятельством.

Выясните, является ли намерение ОУН присвоить себе карательные функции инициативой Оберлендера, или он действует, консультируясь с соответствующими службами НСДАП.

Шелленберг».

«Бригадефюреру СС Шелленбергу.

По моим сведениям, Оберлендер поддерживает постоянные контакты с полковником абвера Лахузенем. Его связи с гестапо (Диц) или Фохтом (мин. вост. территорий) мне неизвестны.

Оберштурмбанфюрер СС Штирлиц».

«Штирлицу.

По прочтении сжечь.

Собирайте все факты, имеющие отношение к этому вопросу. Сообщайте обо всех попытках Оберлендера считать себя персоной, претендующей на самостоятельность. Какие-либо акции без соответствующего на то указания запрещаю.

Шелленберг».

«Алексу.

Получил задание Шелленберга тщательно изучать претензии шефа «Нахтигалья» Оберлендера на самостоятельность и на право карательных функций без утверждения РСХА. Какие-либо действия без его санкций запрещены.

Юстас».

«Юстасу.

Выполняя распоряжение Шелленберга, предпринимайте всевозможные шаги для того, чтобы скомпрометировать «Нахтигаль» в глазах СД.

Алекс».

«Бригадефюреру СС Шелленбергу.

Строго секретно, лично.

По моим сведениям, оберштурмбанфюрер Диц (IV управление РСХА) имеет постоянные доверительные контакты с Мельником. Можно через Дица точно выяснить намерения легионеров «Нахтигалья». Следует ли мне подключиться к Дицу?

Оберштурмбанфюрер СС Штирлиц».

«Штирлицу.

По прочтении сжечь.

От совместной работы с Дицем воздержитесь. Выполняйте возложенное на вас поручение – держать руку на пульсе событий и постоянно информировать меня о новостях. Помните, что легион «Нахтигаль» нужен нам как послушное орудие террора. Все, что мешает этому, будет предметом особого рассмотрения.

Шелленберг».

20. ГАННА ПРОКОПЧУК (IV)

Когда вагон второго класса, в котором ехали специалисты, пересек границу Германии и «зоны» (так называлась оккупированная часть Франции), вошел длинный человек со значком национал-социалистской партии на лацкане серого пиджака, раскрыл папку и приказал – без всяких привычных «битте»:

– Семейные – налево, мужчины – направо, дамы – ко мне.

Он начал выкрикивать фамилии – так же резко и деревянно, и после каждого его выкрика и тихого ответа выкликаемых возникала тяжелая тишина, и было слышно пыхтение паровозов на путях, и Ганна представила себе, как вырывается тугая струя белого пара, и вспомнила, что в детстве ей казалось, будто именно этими струями паровоз отталкивается от земли, набирая скорость.

Напряженная тишина возникала оттого, что немец долго отмечал в своем списке выкликаемых, делая быстрые, но довольно подробные записи в маленьком блокноте, и Ганна не могла понять, почему он так долго пишет: что можно написать, выслушав имя и фамилию человека?

«У них ужасно длинные слова, – успокоила она себя. – Кажется, Марк Твен написал: «Если смотреть на немецкое слово прищурившись, то оно будет похоже на бесконечный рельс». Я, наверное, думаю про их длинные слова потому, что ужасно боюсь. Я трусиха, и мне сейчас невесть какой ужас мерещится. Но тот парижский чиновник был такой милый, в конце концов, если что-то будет не так, я напишу ему – он ведь оставил свой адрес. Ничего, потрясусь немного, зато скоро поеду к мальчикам, ничего».

Кончив выкликать специалистов, словно новобранцев на первом построении, немец приказал взять вещи:

– Дальше вы поедете другим поездом.

Их поместили в теплушки с высокими, зарешеченными окнами, и здесь только все поняли, что ждет их не «творчество на любимом поприще», а нечто совсем другое, и тихо стало, так тихо, что, казалось, слышно было, как медленно текли крупные горькие слезы по щекам...

Ганну привезли в городок под Берлином, отбив, словно теленка в стаде, от остальных специалистов. Поселили ее в маленькой комнате в деревянном бараке – окна без решеток, умывальник в конце холодного – даже в полуденную жару – коридора, а туалет – на пыльном, без единого деревца дворе.

Жила в этом бараке Ганна одна. Перед тем как выдать ключ, с нее взяли подписку, запрещающую ей вступать в «половую связь с арийцами и беременеть от иностранцев». Она сначала не могла понять смысла напечатанного, как тогда, в редакции у Богдановича, когда она должна была вслух прочитать статью, чтобы поверить в реальность литер, сложенных в слова и фразы.

Питалась она в архитектурной мастерской, где ей отвели место в отдельной маленькой комнате с большим, светлым окном. На завтрак давали чашку кофе с одним куском сахара, ломоть хлеба и порцию мармелада; немецким архитекторам давали три куса сахара, порцию масла и ломтик сыра. На обед она получала миску супа, сваренного из старых овощей, и картофельное пюре, политое соусом; немцы получали мясо. Ужинать ей разрешалось дома: два куса сахара, хлеб и через день пайка масла.

Вскоре Ганна так похудела, что была вынуждена купить новое платье. Начальник мастерской герр Эссен, который первое время давал Ганне проектировать узлы непонятных ей длинных зданий, выслушав просьбу женщины, пообещал помочь ей и этим же вечером дал пропуск на выход в город и две синенькие карточки для приобретения «промышленных товаров на сумму пятнадцать марок».

– Деньги будете получать раз в месяц, – сказал он. – Карточки на промышленные товары (его французский язык был чудовищным) для иностранных специалистов мы также выделяем раз в месяц. Продуктов питания вам, вероятно, хватает, так что дополнительные

талоны на еду вам не нужны. Карточки на сигареты и спички – вы, я заметил, равнодушно к табаку – я постараюсь достать для вас.

– Мне обещали в Париже, что я смогу начать поиск моих детей.

– Какие дети? – удивился Эссен. – Мне ничего об этом неизвестно...

– Мои дети остались в По... в генерал-губернаторстве.

– Ну и что?

– Я согласилась приехать сюда, потому что в Париже господин из военной комендатуры пообещал помочь, если я уеду в Германию.

– Хорошо. Мы запросим Париж. Теперь по поводу работы, фрау Прокопчук. Я доволен вашей работой. Я знал ваши проекты еще до войны – они интересны. Сейчас вы упорно облегчаете те конструкции, которые я прошу вас прикинуть, в то время как мы, архитектурная мастерская СС, должны думать не об ажурной и солнечной легкости помещений, а об их прочности и устрашающей мощи.

– Я не умею работать иначе. Я привыкла ловить солнце.

Эссен чуть улыбнулся:

– Мы будем вместе ловить солнце, когда уничтожим врагов рейха. Видимо, стоит показать вам несколько наших объектов, фрау Прокопчук. Вы тогда сможете понять, чего мы ждем от вас.

– Когда можно надеяться на ответ из Парижа?

– Я запрошу Париж на этой неделе. Как ваша комната? Не холодна?

– Наоборот, ночью страшная духота, крыша так раскаляется за день...

– Да, необычайно жаркий июнь... Завтра я постараюсь достать для вас разрешение на вход в городской кинотеатр – есть один сеанс, куда можно приходить иностранцам. Только не смотрите тяжелые фильмы, пожалуйста: у вас и так глаза часто бывают припухшими. Плачем? Не можем привыкнуть к новому месту? Ничего, крепитесь. Вам надо приспособиться к новым условиям как можно скорее – это в ваших же интересах.

...В кинотеатре, куда ей действительно выдали пропуск, демонстрировали сентиментальный фильм о немецкой семье: глава семьи, увлекается другой, но другая, как истинный член НСДАП, не может лишать маленьких арийцев семьи, и паппи постепенно начинает понимать, что лучше мутти никого нет, и лучше другой – тоже никого нет, и вообще в рейхе живут самые замечательные и добрые люди, мало ли что случается, самое важное ведь итог – никто не нашумел сверх меры, никого не растоптали, все хорошо все на месте.

...Ганна вышла в сухое тепло улицы, и ее замутило после липкой духоты зала, где люди неотрывно следили за происходящим на экране. Некоторые, что постарше, то и дело вытирали глаза. Особенно часто стали вытирать глаза, когда паппи пришел в спальню к сыну и мальчик в ночной рубашке потянулся к отцу и обнял его шею толстыми, словно перевязанными, ручонками.

«Толстой написал это один раз и во имя святого, – подумала Ганна. – Как много к святому пристаёт грязи и безвкусицы... Я бы тоже должна заплакать, потому что ручки у маленького, как у Никитки, но у меня не было слез, а только ощущение грязи и нечестности. Добро обязано породить добро, а здесь зло, слюнявое и жестокое по отношению к свободному человеку. Как трудно жить на этой земле, милостивый боже мой, как трудно... Нет, добро не может рождать зло. Только зло рождает зло. Ты живешь спокойно и счастливо, но тебя незаслуженно обидели, ударили, и ты ответила на удар, и конец спокойствию! Ты должна готовиться к тому, что тебя снова стукнут, и ты загодя думаешь о том, как защитить себя, как стать сильнее и жестче. Непротивление – это попытка создать универсальный рецепт счастья. Один ведь миг: надо пережить обиду, погасить зло, заставить себя не думать о мщени, и жизнь твоя будет по-прежнему счастливой. Смири я тогда гордыню, останься в Кракове – мальчики были бы со мной. Но это мое, маленькое добро, – возразила себе Ганна, – а в мире так много зла, которое мне

неподвластно: разве я смогла бы спасти Варшаву от бомб? Все устроено так, чтобы зло соседствовало с добром, а добро всегда слабее и беззащитней...»

Она миновала маленькую площадь сонного городка и свернула по аллее, которая вела в лес. Здесь было тихо, и если идти, чуть подавшись вперед, заложив руки за спину, то можно вдыхать поднимающийся от земли запах – точно так же пахло в кабинете электротерапии у доктора Пернье, который лечил хронические простуды сеансами «горного солнца».

«Земля отдает себя солнцу по утрам. Днем она вбирает в себя солнце, а ночью ждет его: платоническая любовь, верно, должна быть именно такой», – подумала Ганна и замерла – два огромных, испуганных и одновременно любопытных глаза смотрели на нее из-за кустов. Глаза были подвижны и широко, по-детски раскрыты.

– Здравствуй, – шепнула Ганна, чувствуя, как в ней разлилось щемящее, забытое тепло, – не бойся меня, пожалуйста.

Коза сделала прыжок в сторону, но не убежала.

– Ну что ты, дурочка?

Бока у животного странно вздрагивали, словно коза задышалась от волнения. Ганна поняла, отчего так судорожно вздымались бока козы: в трех шагах от дороги стоял козленок – совсем еще крохотный, на огромных, голенастых ногах.

– Ах ты, маленький, – прошептала Ганна и потянулась к козленку, родившемуся, видно, совсем недавно.

Козленок отскочил от нее боком, словно котенок, остановился, замерев, и снова устоял на женщину синими молочными глазищами, поводя плюшевым пяточком носа.

И вдруг Ганна услышала лес: она только сейчас могла понять, что та тишина, которая, казалось, окружает ее, на самом деле живет и радуется тому, что живет: свистели дрозды, носились по веткам желтогрудые синицы, стучал дятел.

«Надо было все эти годы брать мальчиков в лес, – подумала Ганна, посмотрев на то место, где еще мгновение назад стоял козленок. Сейчас там колыхалась трава, и не было уже синих глаз и мягкого вздрагивающего носа. – Надо было водить их в зоопарк, любоваться тем, как они завороженно смотрят на зверей, и сердце бы сжималось от счастья, и я бы стала очень талантливой, потому что только счастье твоих детей может дать истинное ощущение высокого покоя, а лишь это и есть истинный подступ к творчеству. Пусть бы я делала свое дело дома, пусть бы все мои замыслы реализовались потом, пусть бы их реализовали мальчики: ведь настоящее счастье – это когда ты только задумываешь, носишь в себе опасно, по частям отдаешь это задуманное ватману... Потом начинается гадость – согласование, подбор металла и мрамора, торговля с поставщиками, доказательство своей правоты заказчику... Мы обкрадываем себя, когда мало бываем с детьми. Надо ходить с ними в театр, гулять в парках, наблюдать, как они строят из песка свои замки. Бабушки, которые выводят маленьких, думают о своем, и нет для них чуда в том, как ребенок пыхтит над песчаным замком и как он смотрит на летящую птицу, – старики считают, что они постигли суть жизни, потому что прожили ее. А ведь на самом деле все совсем наоборот: суть жизни лучше всего ощущает новорожденный. Чем мы делаемся взрослее, тем больше мы сужаем мир, ограничиваем самих себя нормами морали, своими страхами, рожденными силой и злом».

Ганна села на пенек, закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Мягкое тепло его доверчиво накрыло веки, лоб, губы.

«Наверное, надо меньше двигаться, – подумала она, – я раньше слишком много двигалась, только сейчас, случайно, поняла, что такое истинная ласка солнца. Я всегда торопилась сделать. Нужно ли? Если мы странники, которым позволили ненадолго войти сюда, в этот мир, так, может, лучше ждать конца, наслаждаясь тем, что отпущено?»

Она долго сидела под солнцем на сосновом пеньке, и в душе у нее было спокойствие, потому что здесь, в тишине леса, она поверила, что с прежним все покончено, что теперь она

другая, а значит, мальчики будут с ней, ведь все-таки справедливость есть в мире, ведь справедливо было то, что она повстречала в лесу новорожденного козленка, а не человека, в руке которого могло быть ружье...

21. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

План беседы с Фохтом был в голове у Штирлица – после работы с архивами в берлинских библиотеках, после встреч с Мельником и Бандерой и после бесед с Дицем, который еще в Загребе затаил против чиновника из розенберговского ведомства тяжелую неприязнь.

Фохт встретил Штирлица подчеркнуто радушно, распахнул створку стеллажа, где за корешками книг былстроен большой буфет, предложил на выбор французский коньяк, шотландские виски и джин, рассеянно попросил мужчину-секретаря приготовить две чашки крепкого кофе и, полуобняв оберштурмбанфюрера, подвел его к старинному, с высокой спинкой кожаному креслу.

– На вас не действуют заботы, – сказал Фохт, рассматривая лицо Штирлица. – Я завидую вам. Вы словно бы отлиты из бронзы.

– Я поменяю имя на Цезарь, – пообещал Штирлиц, наблюдая, как Фохт картинно смаковал коньяк.

– Веезенмайер вчера получил новый титул, – сказал Фохт, – теперь, после победы в Хорватии, он «посол особых поручений». Можете отправить поздравительную телеграмму.

– Непременно. Он способный человек.

– Жаль, что его нет здесь.

– Я думаю, вы достаточно серьезно знаете славянскую проблему, чтобы здесь заменить Веезенмайера.

– Никогда не могу понять, когда вы шутите, а когда говорите правду.

– Шутка тоже может быть правдой. И наоборот.

– Я, знаете ли, прагматик-метафизик, а Веезенмайера отличает дерзость.

– Что-то я не очень вижу разницу между метафизикой и дерзостью.

– Разница очевидна, Штирлиц. Метафизика есть нечто среднее между идеей и творчеством, между страстью и логикой; на мою же долю все больше выпадает надобность взвешивать возможности...

– Никому не признавайтесь в этом, Фохт. Никому. Вас тогда сожрут с костями. Если вы определяете свою функцию лишь как человек, оценивающий возможности, тогда вам не позволят высказывать точку зрения. Вы обречете себя на положение вечного советчика. А вам, как и любому нормальному человеку, хочется быть деятелем. Нет?

– Нет, – устало солгал Фохт, – больше всего мне хочется спокойствия, чтобы никто не дергал по пустякам и не мешал делать мое дело... Наше общее дело.

– По-моему, вы очень здорово отладили **дело**. Судя по моим встречам с Мельником и Бандерой, во всяком случае.

– Вы с профессором Смаль-Стоцким не познакомились?

– Нет. Кто он?

– Он назначен в украинский отдел министерства восточных территорий.

*«Он по-прежнему боится своего провала с Дицем и Косоричем в Загребе, – понял Штирлиц, наблюдая за лицом Фохта. – Он очень боится меня и не любит, потому что я один знаю, что именно он виноват в гибели столь нужного нам подполковника Косорича. Поэтому он так доверителен со мной. Он хочет, чтобы я поверил в него; тогда, по его логике, мне будет невыгодно **помнить**. Мне будет выгоднее **забыть**».*

– Это что-то новое в нашей практике, – сказал Штирлиц. – Впрочем, и министерство-то новое. Славянин – штатный сотрудник? Занятно. Нет?

– Смаль-Стоцкий – личность особая, чудовищная, говоря откровенно, личность. Он был министром иностранных дел в правительстве Петлюры и вместе с ним ушел в Польшу. И там стал осведомителем второго отдела польского генерального штаба. Собственно, именно он стоял у колыбели организации украинского национализма в Польше до тех пор, пока Пилсудский помогал националистам, рассчитывая обратить их против Советов. Но когда мы смогли обратить ОУН против Польши, Смаль-Стоцкий встретился с нашими людьми, отдыхая в Мариенбаде. Меня он поражает: эрудиция и при этом хулиганский, если хотите, цинизм. Я ни от кого не слыхал столько гадостей про украинцев, сколько от него.

– И вы ему верите?

– Вопросами доверия у нас занимается гестапо. – Фохт поморщился. – Диц, по-моему, превосходит самого себя, – пустил он пробный шар, не выдержав полной **незаинтересованности** Штирлица. – Он очень ловко работает с группой Мельника.

– Мельник связан со Стоцким или автономен?

– Они не могут быть связаны друг с другом. Они готовы перегрызть друг другу глотку: не дает спать корона гетмана.

– Булава, – поправил Штирлиц. – Корона – это Европа, у них булава.

– Какая разница? Смаль-Стоцкий как-то изложил мне свое кредо. Человек, говорил он, выше национальной или классовой принадлежности. Человек, если следовать Ницше, средоточие всех ценностей мира. Милосердие должно проявляться в том, чтобы человеку позволяли выявлять себя там, где он может это сделать. Пусть даже в бандитизме, как Бандера. Меня, говорил Смаль, привлекает немецкий рационализм, немецкий дух. Я прошел **комиссию** – я голубоглаз, строение моего черепа не отличается от арийского, я взираю на украинцев глазами западного человека, который рассматривает этот район лишь как точку приложения стратегических интересов рейха. Без меня, без моей помощи и консультации вам, арийцам, это сделать трудно. Я лучше вас знаю тупость и стадность моего кровного племени. Я знаю, как повернуть их во имя германского блага.

– Как? – спросил Штирлиц.

– Довольно просто... Вы думаете, какой-нибудь чиновник Розенберга не мог бы положить конец сваре между их вождями?

– Мог бы.

– Естественно. Но мы используем их не только сегодня. Они важны и в будущем. Мы можем играть ими, словно пальчиками детишек, – знаете, как это нежно, когда взрослая рука прикладывает пухлый пальчик несмышленьша к белым и черным клавишам и рождается мелодия, угодная нам, в то время как дитя считает, что эта музыка рождена им.

Штирлиц представил себе малыша возле рояля и рядом с ним Фохта. Он увидел это близко и явственно, он услышал скрип высокого, на винте, табурета и даже ощутил запах лака. Жестокая злоба поднялась в нем, злоба, рожденная несовместимостью понятий – Фохт, дитя, музыка, доверчивые немцы, чистота клавишей. Осознание этой причинности вызвало в Штирлице усталость, ибо выносливость человека не безгранична.

– Каковы мои задачи? – спросил Штирлиц для того лишь, чтобы что-то сказать, – он боялся потерять над собой контроль.

– Да, в общем-то, все отлажено, дорогой Штирлиц. Если у вас нет **особых** интересов, я просил бы вас обговорить с Мельником формы работы с его людьми в Штатах: в ближайшее время это будет в высшей мере злободневно, думается мне.

– Предполагаете включение Вашингтона в драку?

– Ни в коем случае. Предполагаю давление на Рузвельта. Со всех сторон. В Штатах разворачивают работу контролируемые нами группы китайских, испанских, украинских, русских, ирландских и венгерских националистов – это миллионов пять по крайней мере.

– Не тешьте себя иллюзиями. Если силе массы противопоставить насилие меньшинства, победит сила.

– Вы не верите во влияние прогерманских кругов в Штатах?

– Не верю.

– Почему?

– Потому, что англофильские влияния там сильнее. И не надо врать себе. Пропаганда пропагандой, а у нас работа, за которую придется отвечать. Нам с вами. Исполнителям.

– Я предлагал вам перспективную проблему, – извиняюще пояснил Фохт. – Мне думалось, что это совпадает с вашими интересами.

– Спасибо. Как размышление для далекого будущего это занято. А сейчас? В связи с кампанией?

– По нашей линии как будто все в порядке. Мы держим в руках Мельника и Бандеру. И тот и другой отправили к Рундштедту в расположение группы «Юг» своих людей для создания «походных групп» – такого еще не было раньше: вместе с армией двинутся оуновцы, одетые в немецкую форму, которые начнут наводить порядок незамедлительно, как только войдет в украинский город наш первый танк.

«Значит, блок Розенберга с армией уже состоялся, – отметил Штирлиц. – Это – новое в раскладе сил. Это против Гимmlера и Бормана. Это важно».

– А ваша задача? Ваш, лично ваш интерес?

Фохт подвинул Штирлицу ящик с сигарами, долго обрезал кончик толстой «Гаваны», обстоятельно прикуривал, обнося спичкой сухой табак со всех сторон, пока не затрещало голубоватым дымком, и лишь потом ответил:

– Вы же не очень верите мне, Штирлиц. Отчего я должен верить вам?

– Как знаете. Я свои дела сделал, сейчас я в вашем распоряжении, а чтобы приносить пользу тому, кому я подчинен, мне надо понять личный интерес каждого. Он ведь у нас неразделим с интересом национальным, нет?

– Конечно, нет. – Фохт принял игру Штирлица. Они понимали друг друга быстро и верно, потому что друг другу не доверяли, и похожи сейчас были на мальчишек, которые балуются, толкаясь плечами, и при этом прыгают на одной ноге. – Думаю, что нашим национальным интересам безразлично ближайшее будущее; иноземцы, приходившие в Россию, всегда допускали ошибки, вызванные навязыванием своих методов, отрицанием услуг аборигенов-коллорационистов. Вот я и хочу, чтобы ошибка прошлого не повторилась сейчас, в начале этой великой кампании.

– Разумно, – согласился Штирлиц. – Именно это меня интересовало.

– Наша с вами общая задача, таким образом, – подчеркнул Фохт, – состоит в том, чтобы с первого же дня исключить всякую возможность ошибок.

– Вы сказали «Россия». Оговорились или намеренно не проводите границы между Россией и Украиной?

– Славяне... – Фохт пожал плечами.

– Вы предполагаете организацию власти, подобной режимам Тиссо и Павелича?

– Тиссо мы создали, чтобы успокоить Хорти; Павелич – это кость, брошенная Муссолини. Здесь будет иное образование, чисто вассального порядка.

Именно это и надо было выяснить Штирлицу. Фохт сказал то, что говорить был не должен. «Вассальное образование» входило в сферу его личного интереса значительно в большей степени, чем в сферу интересов фюрера. В этом «вассальном образовании» он рассчитывал получить пост, который прибавил бы квадратиков на его погонах и поднял его на следующую ступеньку в нацистской иерархии. Но Фохт не понимал, что в данном случае его личная заинтересованность входила в противоречие с идеей Гитлера, который никогда, ни разу, ни в одном своем выступлении не говорил о возможности создания каких-либо «образований» на территории Советского Союза: только жизненное пространство для немецких колонистов! Никаких поблажек украинцам, белорусам, россиянам – все это материал для ликвидации, депортации, колонизации, не больше.

Выпускник Иваново-Вознесенского технологического института Альфред Розенберг, имперский министр восточных территорий и шеф международного отдела НСДАП, хотел делом доказать фюреру, что практика его министерства окажется более действенной, чем работа полиции Гимmlера и надзор гауляйтера Коха, ставленника партийной канцелярии Бормана.

«**Центр.**

Настаиваю на точной дате войны – ночь 22.6.

Юстас».

22. КУРТ ШТРАММ (V)

– Поймите же, мой дорогой, – все тем же ровным, лишенным каких бы то ни было интонаций голосом продолжал седой штандартенфюрер, – вы обречены на то, чтобы сказать правду. Человек, попав в Карлсбад, если только он не поражен раком, должен выздороветь. Человек, если он любит прекрасную, веселую, умную женщину, должен стать счастливым рогоносцем. Человек, оказавшийся в нашей тюрьме, должен сказать всю правду. Мы учитываем особенности немецкого национального характера, который выверен прагматизмом мышления миллионов наших предков.

Курт закашлялся, подавшись вперед. Тело его сотрясалось, в уголках рта появилась мокрота. («И губы у вас, как у обиженной девушки, и ямочка угадывается на щеке, – улыбалась ему Ингрид Боден-Граузе, – разве таким должен быть настоящий мужчина, мой милый и хороший друг?»).

«Сейчас можно падать, – подумал Курт. – Хотя нет, еще рано. Он ни разу не посмотрел на меня, он все время разглядывал свои ногти. Если я сейчас упаду, это может показаться неестественным. Надо упасть, когда кашель станет особенно затяжным. И про Ингрид я сейчас вспомнил потому, что мне не хватает ее силы и спокойствия, и еще я очень хочу, чтобы она увидела меня сейчас и поняла свою неправоту, когда говорила про мои губы и ямочку на щеке. Господи, а ведь это желание рождено мстительностью, как же не стыдно, а? Ведь я ей мщу, доказывая ее неправоту, а мстительность – самое недостойное качество в человеке...»

– Согласитесь, что я более прав, чем вы, – продолжал штандартенфюрер, – согласитесь, ибо это, увы, логично.

«Нет, мстительность не есть самое недостойное в человеке. Другое дело, что качество это плебейское в такой же мере, как и господское, но не аристократическое. Оно родилось в сознании раба, который имел право отомстить господину за свои унижения. Нет, не имел права. Он мог и обязан был победить господина. Он обязан был добиваться свободы. А свободный человек мстить не может. Карать – да, мстить – нет».

– Немец вернее других понимает скрытую логику мысли и поступка, – монотонно продолжал штандартенфюрер, и Курт лишь урывками воспринимал его слова, когда хотел этого, когда он нуждался в паузе, ибо мозг его был разгорячен, как и тело. – Немец, как никто другой на земле, понимает первопричину необходимости... Вы невнимательно слушаете меня... А зря. Я даю вам дельные советы, которые ни к чему вас не обязывают.

«Он не поднял на меня глаз, – отметил Курт, понимая, что вот-вот начнется затяжной кашель, – он умеет предчувствовать, и он может угадать мое решение, и тогда я погиб».

– В понятие первопричины необходимости я включаю целый ряд компонентов, господин Штрамм. Первый компонент – это тюрьма, а здесь все особое, даже время. Здесь время работает против вас. Второй компонент: рано или поздно вы ощутите свою **особость**,

весь ужас, сокрытый в невозможности распоряжаться мозгом и телом. Третий компонент: мы не позволим вам сделать какую-нибудь глупость, вроде самоубийства или тяжкого телесного членовредительства. Четвертый компонент: чем дальше, тем явственнее вы будете видеть возможность, которую мы даем вам для того, чтобы вернуться к прежней жизни и привычной деятельности, требуя от вас взамен лишь одно – правду. И, наконец, последнее: в тюрьме вы ощущаете свою малость. Это особенно страшно, ибо, как правило, люди вашего круга мнят себя личностями недюжинными, крупными, а может быть, таковыми и являются на самом деле. Мы заставляем понять такого рода недюжинного врага его незначительность, выделив ему в следователи человека низшего порядка, который властен задавать вопрос и может – любыми способами – добиться ответа. Пусть даже заведомо лживого ответа. Диалог неравенства приведет к тем результатам, в которых заинтересован я. Понимаете? Тюрьма – это государственный институт особого рода, а допрос – диалог исключительного порядка. В тюрьме вы, свободный человек, чувствуете свою несвободу совершенно особенным образом: вы соглашаетесь с несвободой, вы принимаете этот факт как данность. Но ведь человек рожден свободным. И это постоянное kloкотание разностей сломит вас, подточит изнутри. Вы по прошествии времени потянетесь к следователю, как к родному: вы будете искать в его словах намек, снисхождение, сочувствие; вы будете противиться этому; вы станете ненавидеть себя, когда вас вернут в камеру, вы будете проклинать себя за те слова, которые сорвались у вас с языка, но и на следующий день, а скорее всего через несколько дней – надо дать возможность накопить в душе желание надеяться – вы снова будете говорить, и в потоке лжи я увижу крупицу правды. А потом мы докажем, что вы преступили грань, и вы согласитесь с этим, и за час до казни вы будете желать только одного: увидеть меня, получить от меня утешение, ибо постепенно я стану вашим другом, который сострадает вам и старается понять вашу правду. Мне, впрочем, это действительно необходимо: возможно, ваш опыт поможет нам удержать от аналогичных ошибок десятков других людей.

Кашель собрался. Он был словно комок в легких. Он был желтый, мокрый, горячий. Он вырвался изо рта стоном, воплем, мокротой. Курта било частыми, замирающими судорогами, он мешал себе, задерживал дыхание, хрипел, извивался до тех пор, пока не потемнело в глазах и не стало тяжело и гулко в голове, и тогда он повалился вперед, и седой штандартенфюрер поднял наконец глаза от своих ровных квадратных розоватых ногтей. Он смотрел на Курта, на его взъерошенный затылок оценивающим спокойным взглядом, дождался, пока приступ кашля прекратился, а потом, подойдя к арестанту, опустился перед ним на корточки, достал крахмальный платок, вытер потрескавшиеся губы Курта и тихонько сказал:

– У вас плохо с легкими после того случая в горах, да?

Курт, чувствуя нарастающее kloкотание в себе, кивнул головой.

– Если бы не Ингрид Боден-Граузе, вы бы уже тогда погибли, бедный господин

Штрамм...

Курт снова кивнул головой.

– Я не слышу вас, – совсем тихо сказал штандартенфюрер. – Вы мне скажите только одно слово: «да» или «нет».

– Да, – ответил Курт.

– Ну вот, а теперь откашляйтесь, – сказал седой и поднялся. – Я налью вам воды, и станем беседовать... О прошлом, только о прошлом.

Курт поднял голову, посмотрел на штандартенфюрера с мольбой, с восхищением, со страданием и прошептал:

– Да.

А потом согнулся пополам от нового, еще более длительного приступа кашля.

23. ГАННА ПРОКОПЧУК (V)

Начальник архитектурной мастерской СС Герберт Эссен с каждым днем был все более мягок с Ганной; подолгу простаивая у нее за спиной, наблюдал, как она работала.

Воспитанный в Берлине, прошедший трехлетнюю практику в Сан-Франциско и Лондоне, штурмбанфюрер СС Герберт Эссен был талантливый архитектор. В отличие от коллег, считавших патриотическим долгом громко ругать все иные школы, кроме готической, он позволял себе не соглашаться с мнением подавляющего большинства.

«Мы должны брать все лучшее в мире и обращать на пользу нашему делу» – эта его концепция находила поддержку в ведомстве хозяйственного управления СС: обергруппенфюрер Поль был человеком рациональным, а всякий истинный рационализм предполагает определенную смелость мышления.

Наблюдая за работой Ганны, любуясь точностью и смелостью ее решений, Эссен решил было попросить Поля перемолвиться с кем-либо в институте антропологии, подчиненном рейхсляйтеру Розенбергу. Ганна была шатенка, с голубыми глазами; фигура у нее была великолепная, уши не оттопыривались – кто знает, быть может, ее мать подходит к типу нордического характера, и тогда рейх сможет утвердить талантливого архитектора в качестве истинно немецкого зодчего.

Поль выслушал Эссена и покачал головой.

– Дерзите, но до определенной меры, Герберт, – посоветовал он, – не считайте, что **нужность** дает вам индульгенцию на дерзость. Используйте ее работу в наших целях, вам никто не запрещает этого. Можете улучшить ее положение, прибавьте паек, я готов дать ей литер на проезд по Саксонии – пусть познакомится с нашей архитектурой, но не больше. Поглощать всегда лучше, чем раздавать. Может быть, во мне говорит хозяйственник, а не христианин, но тут уж ничего не поделаешь – профессия формирует человека по своим законам.

– Архитектура – это искусство, обергруппенфюрер, а люди искусства прощают все и принимают все, но они не могут работать как хорошо оплачиваемые невидимки. Каждое интересное здание талантливого архитектора обязательно отмечается медной табличкой – с фамилией автора проекта. Прокопчук имеет такие таблички в Бразилии, Голландии и Мексике.

– Я очень сожалею, Герберт, но это не тот вопрос, чтобы я с ним шел к рейхсфюреру или к Розенбергу. А всякий более низкий уровень **не поймет** моей просьбы. – И, обозначив паузой, что к этой теме больше возвращаться нет смысла, Поль спросил: – Как у вас дела с типовыми проектами?

– Мы закончили привязки. По-моему, планировка получилась довольно удачной. Особенно для тех лагерей, которые надо будет строить в России. Я решил учесть национальный момент: славяне сентиментальны, поэтому строгость Дахау или Равенсбрюка будет действовать на них угнетающе. Небольшой сквер, окна – чуть больше по размеру, это мелочь, но, по-моему, такая мелочь, которая будет стимулировать труд, а не гасить его. Я решил предусмотреть летние площадки для театра, волейбольные поля, небольшую библиотеку – надо помнить, что четверть века Россия жила по законам коллективной собственности.

– Вы не попали под влияние украинской архитекторши, а? – засмеялся Поль, и тело его мягко заколыхалось в большом кожаном кресле. – Сентиментальность надо ломать **непереносимой** строгостью, Герберт.

Эссен любовался работой Ганны, медленно затягиваясь длинной, дамской сигаретой. Эти сигареты ему подарили в секретариате Поля – люди обергруппенфюрера в последнее время часто летали в Болгарию, а там отменный табак – сухой, ароматный.

– Вы чувствуете линию еще до того, как берете карандаш? – спросил он, воспользовавшись паузой в работе женщины.

– Не знаю, – ответила Ганна, обернувшись.

Эссен понял ее, заметив, как женщина смотрела на сигарету. Он протянул ей пачку:

– Оставьте себе.

– Благодарю.

– У нас сейчас трудно со снабжением. С табаком дело особенно плохо. Я постараюсь выхлопотать для вас карточки на табак. Только не курите при моих сотрудниках, – он вздохнул, – у нас не любят курящих женщин. Считают, что именно в них заключен порок.

– Я буду курить дома.

– Дома, – задумчиво повторил Эссен, – мы что-нибудь придумаем с вашим домом.

Пройдет месяц-другой, и я, пожалуй, помогу вам с комнатой в черте города. Только не торопите меня.

– Вы очень добры... Ответа из Парижа еще нет?

– Я бы сразу поставил вас в известность.

– Как долго может идти ответ? Вероятно, есть еще какие-нибудь возможности помочь мне...

– Я, пожалуй, снесусь с комендатурой в Варшаве. Напишите мне адрес ваших детей... Только один вопрос...

– Пожалуйста.

– Муж... Вы замужем?

– Формально – да.

– Ваш муж не был коммунистом или социал-демократом – левым, одним словом?

Ганна улыбнулась:

– Он настоящий, истовый католик.

– Истовый – это тоже плохо. Но, во всяком случае, с левыми он не был связан: для вас это лучше, для меня – хуже.

– Почему?

– Будь он левым, ответ пришел бы немедленно, они все на учете. Ну ничего, это выход – я снесусь с Варшавой, не дожидаясь ответа из Парижа. Продолжайте работать, как работали, – мне будет легче добиваться для вас всяческих льгот.

...Двадцатого июня Эссен разбудил Ганну – он приехал за ней в три часа утра.

– Что с вами? – спросил он. – Не тряситесь так, пожалуйста. Мы вылетаем в Краков, я решил взять вас вместе с нашей группой.

– Сейчас, я сейчас, – не в силах удержать дрожь, повторяла Ганна, не понимая, видно, что стоит перед ним раздетая, – я сейчас, одну только минуту подождите меня, я сейчас...

Эссен не имел права брать Ганну. Он понимал, что стоило официально запросить Поля, и тот наверняка отказал бы: славянку в прифронтовую зону!

Но он помнил о просьбе этой талантливой женщины и решил, что поскольку путь их будет лежать через Краков, а на обратном пути, вероятно, через Варшаву, то почему бы не сделать ей добро? Работает она великолепно, и хотя Польша не поддержал его идею о качественно новом оформлении трудовых лагерей для славян, которые будут содержаться там как сельскохозяйственные и заводские рабочие, он все же решил эту свою убежденность опробовать на Ганне – в конце концов ему предстоит работать с ней, а не обергруппенфюреру. Пожалуй, что из всех его сотрудников она быстрее остальных поймет на месте, что надо проектировать, схватит все основные узлы, а он будет заниматься лишь общими проблемами, проецируя тот лагерь, который был наспех создан возле Кракова, на все будущие лагеря, прежде всего для военнопленных, как сказал Польша.

Ганна вышла через пять минут – лицо ее было бледным до синевы.

– А где же сумка? – мягко улыбнулся Эссен – Мы летим на пять дней. Надо взять мыло, полотенце, белье.

– Хорошо, сейчас, хорошо, я сейчас...

Эссен закурил, подумав о том, что до сих пор не выполнил своею обещания – он говорил Ганне, что достанет ей карточки на сигареты.

«На фронте можно будет запастись табаком, – подумал он – Война разворачивает трофеями, но это так прекрасно – суровые и щедрые трофеи войны. Мужчина и в обычной жизни – завоеватель, он всегда стремится вперед. Физиологически, кстати, тоже. Победив женщину, которая стала женой, он считает ее поверженной державой и стремится к дальнейшим завоеваниям. А женщина подобна начальнику тыла: она тцится закрепить полученное».

Эссену понравилась эта мысль, и вообще он сам себе сейчас нравился, он видел себя со стороны: пятидесятилетний человек, в модном костюме, который смеет брать с собой инокровку, отправляясь на границу, чтобы посмотреть лагеря, которые ему предстоит строить для других инокровцев. Обостренная, внезапная радость охватила его от сознания своей уверенной силы, оттого, что он властен поступать так, как ему хочется.

Ганна вышла, накинув на плечи толстую вязаную кофту. В руках у нее был маленький баул.

– Вы поразительны, – заметил Эссен, – я пока не встречал ни одной женщины, которая умела бы так быстро собраться.

Он взял из ее ледяных пальцев баул и пропустил вперед, уважительно распахнув перед ней скрипучую, со щелями дверь барака.

В дребезжащем холодком военном самолете Эссен сказал ей, что на обратном пути они остановятся в Кракове и Варшаве – он поможет ей найти родных.

– Вам это было очень трудно, – утвердительно сказала Ганна. – Судя по всему, было очень трудно добиться такого разрешения.

– Я не добивался, – ответил Эссен – Я просто хочу вам помочь. Так что голову нам будут снимать обоим.

24. НАЧАЛО КОНЦА МОЖНО ПРЕДСКАЗАТЬ (21.6.1941)

Диц заехал за Штирлицем в гостиницу около семи часов вечера. Небо было высокое, знойное, бесцветное. Над площадью Старого Рынка взвивались голуби; быстрые крылья их трещали, как деревянные. Высоко над крышами гомонливо, радостно и свободно метались стремительные, словно тире, ласточки.

– «Нахтигаль» начал движение из Жешува к Сану. Думаю, нам стоит послушать выступление Бандеры – он должен напутствовать своих легионеров.

– Вы все-таки пробились к нему через абвер? – спросил Штирлиц.

– Это оказалось не слишком уж трудным делом.

– Смотря для кого. Фохт сказал мне, что вы растете не по дням, а по часам.

– Кто дал ему право выносить такого рода суждения?

– Не понял? – сыграл Штирлиц. – Почему так резко?

– Он не знает нашей работы, всего ее объема. Мы, в конце концов, лишь сотрудничаем с ним, временно сотрудничаем.

– Он руководитель группы. Номинальный... Во всяком случае, – добавил Штирлиц и сразу же поймал себя на том, что подражает Магде. Она проговаривала фразу быстро и точно, а потом – в этом выявлялось ее женственное начало – добавляла что-то, смягчающее резкость формулировки. Это было похоже на то, как мать, отругав дитя, сразу же привлекает его к себе и начинает молча гладить по голове. Теплой ладонью.

«Это снова от нее, – понял Штирлиц. – Говорят, дурное заразительно. Неверно. **Добро** куда более заразительно, чем дурное. Если, конечно, добро при этом не выступает в одеянии святоши. Добро обязано уметь лихо ездить на мотоцикле, плясать фокстрот и пить вино. Эти внешние атрибуты привычного зла истинному добру не мешают...»

Машина неслась по дороге к Жешуву: леса казались синими, слышалась громадная тишина окрест; не было ни военных машин, ни солдатских колонн, ни патрулей.

«Как же они умело маскируются, – подумал Штирлиц. – Как слаженно работает их машина... А вдруг они не начнут завтра? Что, если я стал для них **каналом** и они играют с Москвой, давно разгадав меня?»

Он зажмурился на миг, потер веки пальцами, закурил, заставил себя не думать об этом ужасе – возможном ужасе.

– Как Мельник? – спросил Штирлиц только для того, чтобы не было тишины.

– Это станок, а не человек. Это робот. Он поднялся. Ему посадили на задницу трех пчел – невероятная дикость! – и он поднялся. Что вы хотите? Славяне... Конечно, он во многом проигрывает Бандере, вы правы...

– Я не считаю, что он проигрывает Бандере в чем-либо, – возразил Штирлиц. – Я так никогда не считал, Диц.

– Значит, я вас тогда неверно понял? – осторожно спросил Диц.

– Неверно. Ведь в Загребе Мачек и Павелич нам были нужны в равной мере. Нет?

– Хорватии была уготована иная участь.

– Правильно. И тем не менее вы меня неверно поняли, дружище... Почему вы сравнили Мельника со станком?

– Он может работать бесконечно, если его не выключить. Он сейчас исследует долгосрочную политику на Украине. Нашу долгосрочную политику, – добавил Диц многозначительно.

– Перепрыгивает через этап? Почему?

– Видимо, он думает, что «ближнюю политику» достаточно четко «сработает» бандеровский «Нахтигаль».

– Вы считаете, Мельник хочет уравнивать Бандеру с собой?

– То есть? – не понял Диц.

– Мельник был военным шпионом.

– Очень интересная мысль, – чуть улыбнулся Диц.

– Дарю, – сказал Штирлиц. – И забываю о подарке.

– Спасибо. Вероятно, вы правы. Он хочет сквитаться. Занятный нюансик...

– Что, что?!

– Я говорю, нюансик занятный. Если оба вывалены в дерьме, то шансы отмыться равные.

– Что касается нюансика, не знаю, а по поводу «отмыться» – очень мудро, Диц, очень мудро.

Штирлиц снова был подобран и напряжен: он впервые встретился сегодня с Дицем с глазу на глаз после того случая с Еленой. Каждый из них понимал, что встреча эта должна определить очень многое в их отношениях, – если не все.

Диц знал, что гестапо имеет своих людей в системе политической разведки Шелленберга. Штирлиц, в свою очередь, был убежден, что его шеф не смог до сих пор получить ни одного агента в ведомстве Мюллера. То, что произошло два дня назад в краковской военной гостинице, когда Диц нарушил закон о чистоте расы, ставило его и Штирлица в положение совершенно исключительное.

Не все понимают и чувствуют суть исключительного. Чаще всего этим даром чувствования обладают музыканты и литераторы. Этим даром – в определенной степени – обладал Штирлиц. Он поэтому не торопил событий, справедливо полагая, что если

свершилось нечто исключительное, то проявлять торопливость, настойчивость, радость, юмор, силу – значит в конечном счете проиграть выигранное.

Он исходил в своих суждениях из существа личности Дица. Штирлиц был убежден, что самое понятие «исключительного» тот проецирует лишь на себя одного, причем только потому, что уверовал в свою арийскую особость. Тогда как исключительное – это тот или иной пик **состояния** человеческого духа, который влияет на последующие события. Он был прав, Штирлиц. Действительно, после того **случая** Диц испугался, затаился, но не для того, чтобы нанести удар, а потому лишь, что наивно ждал, когда все **забудется**. Но ничто не забывается – ни слово, ни поступок. Тот, кто верит, что можно забыть, тот ближе к плоти, чем к духу, ближе к животному, чем к человеку.

Штирлиц ждал этой встречи, он был убежден, что Диц захочет остаться с ним наедине. Штирлиц наметил ряд возможных линий поведения гестаповца и каждую из этих линий проиграл в воображении, чтобы точно подстроиться к Дицу, когда тот будет **предлагать** себя.

Штирлиц понимал, что на человека нельзя **жать**; на такого, как Диц, особенно. Если противопоставить ему методы, которые тот сам исповедовал, ничего путного не получится: легче бороться против того, что тебе хорошо известно. Значительно труднее **ждать неизвестного**. Только это **ожидание**, считал Штирлиц, позволит ему держать Дица в руках, только это заставит гестаповца выдавать «смежную» информацию, которая поможет Штирлицу в служебном росте, – чего же еще он мог добиваться компрометацией в отеле, как не этого?

Допуск вероятностей, подчас совершенно фантастический, – удел людей высокоталантливых, отмеченных «искрой божьей». Диц не мог себе представить, зачем он нужен Штирлицу, кроме как для того, чтобы строить благополучие на костях ближнего. Он будет отдавать Штирлицу часть своей информации – ему ничего не останется делать. Он заставит Штирлица поверить, что он его друг. Пусть старается. Этому Штирлиц и желал.

«Оппель-адмирал» свернул с пустынного асфальта шоссе Краков – Жешув на хорошо грейдированный проселок возле Дебицы, и через пять-семь километров Штирлиц увидел иную жизнь. В синих сумерках то здесь, то там урчали танки; армейские патрули светили в глаза острыми лучами карманных фонариков, проносились – в клубах серой, изрезанной подслеповатыми щелочками фар пыли – грузовики с солдатами; до границы оставалось совсем недалеко – через Жешув на Перемышль.

– Война, – тихо, словно самому себе, сказал Штирлиц и закрыл глаза.

– Да. Война и конец войне одновременно, – ответил Диц.

– Война и конец войне одновременно, – повторил Штирлиц, не открывая глаз: мимо их «оппеля» проходила колонна артиллерии; пушки были короткоствольные; ехали на тягачах солдаты с засученными, как у мясников, рукавами, белозубые, белоглазые – темные, пыльные провалы в надбровьях, – будто вампиры, и Штирлиц не мог смотреть на них, он не мог заставить себя спокойно на них смотреть, потому что представлял, до холодного ужаса представлял, как острая сталь, несущая смерть, обрушится на его сограждан, которые сохраняют спокойствие, и которые не ударяют первыми (Может быть, не могут? Тогда еще страшней, господи!), и которые сейчас слушают оперетту по радио, и возвращаются с танцев из клуба, и любят младенцем, разметавшимся в маленькой кроватке, и сидят над книгой, и шепчут первые слова любви – неумелые, нежные, тихие...

«Нахтигаль» был построен тесным, душным каре. Легионеры стояли при полной выкладке – с автоматами на груди, увешанные длинными **удобными** гранатами, с кинжалами в тяжелых металлических чехлах, сохранявших форму тесака – резкую, острую, кровавую, – на поясах. Заместитель Бандеры – Ярослав Стецко стоял в центре каре, в окружении Оберлендера, Херцнера, Шухевича, Лебеда и капеллана Гриньоха. Стецко был

бледен, это заметно было даже в ночи, и его тонкие ноздри подрагивали, словно он надыхался кокаина.

– Братья! – громко, протяжно, как кавалерийский офицер, прокричал Стецко. – На рассвете вы ступите на землю родной Украины! Вы идете, чтоб уничтожить проклятых большевиков! Великий вождь немецкой нации и новой Европы Адольф Гитлер показал на деле, что, прежде чем нести свободу другим, надо выкорчевать зло у себя дома. Пример великого фюрера должен быть для вас священным. Пусть не дрогнет ваша рука! Пусть не закрадется в ваше сердце сомнение! Вперед, к победе! Хайль Гитлер!

Каре протяжно ответило:

– Зиг хайль!

«Хитро сказал Стецко, – отметил Штирлиц. – Мельник, значит, напрасно надеялся уравниваться с бандеровцами в «грязи».

Штирлиц не раз замечал, что чувства его предвосхищают события. Он не понимал еще, что должно случиться, но то, что нечто важное сейчас произойдет, обязательно произойдет, он ощущал кожей, холодом в пальцах, колотьем в сердце.

Штирлиц почувствовал верно – следом за Стецко вышел Лебедь.

– Братья! – тихо сказал он, словно перед ним не тысяча вытянулась, а пять человек. – Легионеры! Вас ждут встречи с комиссарами, исполкомовцами, чекистами, комсомольцами, профсоюзниками – украинцами по крови. Не тешьте себя иллюзиями – украинский комиссар такой же враг нам, как комиссар московский, как жид или лях. Око за око! Зуб за зуб! Хайль Гитлер!

«Ишь как расписали, – яростно подумал Штирлиц. – Все по нотам. Стецко – политик, Лебедь – хоть и зовет карать, но тоже льнет к политике. А сейчас они должны позвать к крови в открытую, чтобы все ступеньки пройти, ни одну не проскочить...»

Маленький, жилистый, с истерикой в глазах легионер, стоявший ближе всех к Стецко, протяжно завыл:

– Смерть коммунии!

– Смерть!

«Вот оно как, – понял Штирлиц. – Только намекнуть надо «вождю» – паства уже заранее подготовлена к крови. Ну и сволочь «вождь», ну и прохиндей, ну, отольется тебе горе, ублюдок ты этакий...»

Роман Шухевич выкрикнул:

– Хай живе Степан Бандера!

– Хай живе!

– Зиг! – крикнул Шухевич срывающимся голосом.

– Хайль! – ответило каре.

Когда танки, пройдя пограничную полосу, сшибли полосатые столбы, когда по полю, над которым вились едкие дымы, поднимавшиеся из свежих, кровоточивших еще кровью земли воронок, двинулись войска, Ярослав Стецко, стоявший рядом со Штирлицем, опустил на колени и, заплакав, начал истово креститься, повторяя:

– Все, господа, все! Услышал ты нас, спас и воскресил...

Штирлиц вытер пот с висков:

– Хватит вам! Здесь зрителей нет! – и, обернувшись к Дицу, сказал устало: – Едем, а?

Лишь через три дня после начала войны головные части семнадцатой армии Штюльпнагеля смогли сломить сопротивление Красной Армии в Перемышле. «Нахтигаль», который шел следом за немцами, ворвался в городок. Именно здесь, в приграничье, жил тот дядька Остап Буряк, который рассказывал Миколу и его отцу Степану, как живут украинцы под Советами.

Рейзер из гестапо вместе с тремя легионерами прыгнули в юркий, крашенный зелено-желтыми разводами бронетранспортер и, глянув в **список**, прогрохотали по тихой, замершей улочке Петровского к дому номер 9.

Мазаный домик казался голубым – так был он чист и заботливо выбелен. Аист, устроившийся на крыше, смотрел на людей надменным круглым глазом и вертел длинным клювом, словно жеманная красавица веером.

Рейзер кивнул легионерам, и они вышибли ногой калитку, ворвались во двор, полоснули очередь пса, который кинулся им в ноги, и ворвались в дом – одним махом: через дверь и дзенькнувшее окно.

Тот легионер, что махнул через окно, окровавился и, словно бы дождавшись этого, желанного, бросился на единственного мужчину, который сидел за столом, а рядом с ним была женщина с младенцем на руках, девочка и трое мальцов – тихие, пепельно-серые.

Он вытащил мужчину из-за стола, и женщина закричала тогда, и заплакали мальцы. Один из легионеров ударил женщину ногой в живот, и она, умолкнув, рухнула. Они выволокли мужчину, который не сопротивлялся им, затолкнули его в бронетранспортер и только там, в грохоте, спросили:

- Остап Буряк?
- Так.
- Начальник почты?
- Был.
- Имеешь родню в Люблинщине?
- Имею.
- Письма им слал?
- Слал.

Тот легионер, что порезался, прыгая в окно, схватил Буряка за уши, ловко наклонил его лицо вниз и два раза быстро ударил острым, жилистым коленом по носу и бровям.

– За что ж, паны добрые? – спросил Остап, поднимая к легионерам лицо, сделавшееся синим, а потом багровым, а после кровавым – в быстрых черных подтеках. Губы его сразу же вспухли, сделались белыми поначалу, а потом посинели, и изо рта потекли быстрые струйки крови.

Его вытащили из бронетранспортера, и он увидел вокруг себя каре, и лица людей в немецкой форме казались смазанными, похожими одно на другое, но среди этих похожих лиц он увидел вдруг Миколу, и застонал, и потянулся к нему, и командир Роман Шухевич быстро переглянулся с Рейзером.

- Микола, – сказал Шухевич, – знаешь его?
- Так то ж дядька Остап, – ответил побледневший хлопец.
- Хорошо, что сразу признал, – сказал Шухевич. – А ну спроси его так, как вас наставники учили.

Микола вышел из каре, приблизился к Буряку и с ужасом поглядел в его синее лицо.

– Ну! – подбодрил Шухевич. – Давай, Микола. Люди ждут: устали люди, завтра снова в путь, отдохнуть надо...

– Спрашивай, – сказал Остап ровным голосом, поняв, видно, участь свою. – Ты спрашивай меня, Миколка, отвечу, сынок.

- Ты большевик, дядька Остап?
- Не, сынок. Я не большевик.
- Ты на Советы работал?
- Работал, сынок. Работал я на Советы...
- Они заставили тебя?
- Не, Микола. Не заставляли. Я до них сам пришел.
- Мучили они народ?

– Не, Микола. Не мучили. Не мучили, – повторил Буряк, – может, где в ином месте мучили, а здесь мучений не было. Не было у нас мук, Микола, у нас жизнь добрая была под Советами.

Шухевич тонко крикнул:

– Микола, перед тобой большевистский наймит! Он предатель! Он продался им! Казни его так, как мы будем казнить всех предателей на Украине!

– Так то ж дядька Остап, – сказал Микола, обернувшись к Шухевичу. – Какой же он предатель?

– Тот, кто покрывает предателя, – сам предатель, Микола! – крикнул Шухевич. – Легион ждет!

– Да нет, – сказал Микола. – Пусть он отоспится, он же избитый весь...

Шухевич обернулся к легионерам:

– Петро!

Из каре вышел длинный, медлительный парень; он неспешно приблизился к Остапу, долго смотрел в его лицо, побелевшее под черной кровью, потом достал из ножен кинжал и протянул его Миколе:

– Держи, браток. В поддых. Бей с оттягом.

Микола попятился от длинного, медлительного парня, и тогда тот, став броским и быстрым, ударил невидным движением Остапа и, не обернувшись даже на упавшего, пошел в строй.

Через час после казни Шухевич, не дав легионерам отдыха, поднял людей по тревоге и погнал шляхом на Львов, чтобы войти в город вместе с немцами. Приказ этот, поступивший от Бандеры, был и для Шухевича неожиданным, но, судя по тому, что Оберлендер согласился с «вождем», все было согласовано наверху. Надо – значит, надо: «Вперед, к победе, хайль!»

«Центр».

Среди аппарата РСХА заметна растерянность – то сопротивление, которое оказывают части Красной Армии и пограничники, кажется «коллегам» неожиданностью: Бандера и Мельник говорили прямо противоположное, уверяя своих руководителей, что народ Украины будет встречать Гитлера как освободителя.

«Нахтигаль» заявил себя: в селе Пидлисном, там, где был организован первый на Западной Украине колхоз, бандеровцы расстреляли весь советский актив, причем расстрелы звеньевых, колхозных бригадиров, орденосцев проводились на глазах у маленьких детей и родителей.

Появилась листовка (рукописная), рассказывающая о зверском убийстве Василия и Ольги Коцки, соратников Ивана Франко. Вырезана семья легендарного Пелехатого.

Украинцы прячут в своих домах тех, кто уцелел из русских и еврейских семей, невзирая на угрозу расстрела.

Необходима срочная связь.

Прошу выделить, если возможно, украинского чекиста, знакомого с местными условиями. Пароль связника: «Вы совсем не изменились со времен «Куин Мэри». Отзыв: «Вы тоже плыли на этом судне? В каком классе?» – «Во втором».

Юстас».

Когда трескучие мотоциклеты «Нахтигалья» пронесли по спящим еще улицам Львова, Роман Шухевич склонился к Оберлендеру, сидевшему рядом с ним в тряской люльке, и осевшим от волнения голосом прокричал:

– Сразу за Святоюрскую гору, да?!

Оберлендер молча кивнул головой, поднял на лоб огромные очки, закрывавшие глаза, – лицо серое, только зубы ослепительно белы и белки кажутся переливно-перламутровыми.

– Волнуетесь? – спросил он.

– А вы?

– А я нет. Как говорится, не сотвори себе кумира.

– Это вы без кумира можете, мы – нет. – Шухевич тронул плечо мотоциклиста и приказал ему: – К Шептицкому!

Глава униатской церкви Галиции митрополит Андрей Шептицкий, в миру граф Роман, сидел возле окна, на втором этаже своего особняка, на вершине Святого Юра, и тяжело смотрел на город, расстилавшийся под ним, на купола церквей, не расцвеченные еще солнечными лучами, на тяжелый холод черепичных крыш, которые казались тронутыми ранней октябрьской изморозью, и на строгие линии деревьев, по которым он угадывал улицы.

Он сидел в глубокой задумчивости – громадный старик с седой бородой, ниспадавшей на широкую, уланскую грудь; глаза его, казалось, горели на лице, иссеченном резкими, морскими морщинами; огромные руки лежали на поручне каталки, и нельзя было представить себе, что этот гигант давно уже не в силах опереться, и встать во весь свой двухметровый рост, и подойти к окну, и прижаться лбом к холоду стекла, и ощутить запахи цветов, поднимавшиеся с клумбы, и легкие порывы рассветного, липового, горьковатого, с дымком, ветра с Карпат.

Он сидел в тяжкой задумчивости, и жизнь его медленно проходила перед глазами, и дивился митрополит тому, как сильна человеческая память и похожа на смертельно раненного, который мечтает о будущем, понимая в глубине души, что будущего-то быть не может, и с прежним покончено, а настоящее уходит, становясь холодным, далеким и нереальным.

Он спрашивал себя – в который раз уже, и чем ближе к последнему **краю**, тем требовательней, – зачем в далеком, но столь ясно видимом ему году, в 1888, он снял щегольскую форму австрийского улана и облачился в тяжелую рясу василианского монаха? Что подвигло на этот шаг его, двадцатидвухлетнего магната, красавца, льва венских салонов, жуира и драчуна?

Жажда деятельности просыпается в человеке рано. Поначалу она неосознанна и суетлива: если взрослый человек повторит все движения трехлетнего ребенка, которые тот проделывает за день, – он умрет, не выдержит мускульного перенапряжения. Истинная деятельность, будь то физическая или умственная, начинается тогда лишь, когда и **если** человек осознал свою значимость и свое жизненное предопределение. Как правило, тот, на кого уповали школьные наставники как на образчик воли и дисциплинированности, такого рода истинной деятельностью оказывается обойденным.

Граф Роман поначалу не видел иного пути в жизни, кроме как путь военной славы. Мечтатель, он свою юношескую мечтательность старался скрывать ото всех, но это не удавалось ему: люди особенно зорки, когда дело касается фигур недюжинных, **видных**.

Однажды молодой граф Шлоссберг на рассвете, после вечеринки, когда так же, как сейчас, солнца еще не было и в воздухе пахло горьким миндалем и водяной пылью, пьяно и дружески полуобняв громадоростого улана за осиную, ломкую талию, сказал:

– Я преклоняюсь перед тобой, Роман, право, преклоняюсь. И щемящая жалость порой сердце давит: ты достойнее меня, умней, сильнее, но уж если кому и суждено стать фельдмаршалом, то мне, а не тебе, хотя я этого не заслужу, а ты – заслужишь.

Мягко улынувшись другу, граф Роман спросил (Лучше б и не спрашивал. Как он потом казнил себя за этот вопрос, сколько их на свете, ненужных вопросов-то – ответов ведь меньше.):

– Почему?

– Потому, что я – австриец, а ты – славянин. Ты богаче, умнее, но ты – чужой. У тебя есть **потолок**, а надо мной – небо.

Граф Роман умел пить, и его не могла повалить ни пинта, ни две. Он уснул спокойно, не обратив внимания на пьяный лепет приятеля, но кто-то вдруг словно толкнул его в левое плечо, и он открыл глаза, и поднялся, и оттого, что солнца по-прежнему не было, понял, что спал он всего несколько минут, и ветер все еще был горьким, рассветным, и явственно услышал он голос Шлоссберга, и понял страшный смысл, сокрытый в его словах, и почувствовал свою малость – несмотря на громадный свой рост, силу в руках, мощь торса, несмотря на ум, богатство и славу своего славянского рода, столь уважаемого в габсбургской монархии. И отец, и дед, и прадед были **уважаемы** Веной – не больше. Им позволяли достигать потолка, а коли смели расти выше – хрустко ломались шейные позвонки, летела наземь голова, потолок оставался прежним – раз и навсегда отмеренным для сановитых инородцев, верой и правдой служивших австрийской короне.

В то горькое, самое горькое утро в его жизни он осознал вдруг, а скорее даже почувствовал, что как бы он ни хотел и что бы ни **делал**, ему вправе не позволить **стать** потому лишь, что кровь его была не австрийской.

Рабство противно человеческому духу. Редко кто стремится стать оруженосцем маршала – каждый мечтает о своем жезле, с этим и на смерть идут, но лишь во имя такой жизни, в которой нет потолка – есть небо. Препятствия созданы для того, чтобы их преодолевать, искусственные ограничения – для того, чтобы разрушать их. Но не мог же он, граф Роман, пойти на то, чтобы разрушать монархию?! Это значило бы обратить силу против самого себя. Сила, обращенная вовнутрь, рождает святых или психопатов. Сила, обращенная вовне, рождает **личность**, во имя которой придворные зодчие реконструируют залы, поднимая потолки или рисуя на них звездное небо.

Граф Роман наскоро собрался и вечером следующего дня неожиданно для всех уехал в Киев. Он путешествовал по Украине и России один, встречался с разными людьми в душевных киевских ресторанчиках и за рюмкой слезливой водки слушал. Великая империя трещала, царило безверие и усталость, люди искали веры, ждали точки опоры, **жаждали** идеала. Огромная держава его славянских единокровцев показалась ему нивой, которая ждала Великого Пахаря. Путь к небу – духовен; из России граф Роман уехал в Ватикан, и там, после долгих бесед с людьми веры, отрекся от мирского имени своего и стал Андреем, монахом ордена василиан, того самого ордена, который шел в Россию с унией, который хотел примирить православие с Ватиканом, а путь к примирению один – растворение «низшего» в «высшем». Не граф Роман, а уже брат Андрей сделал выбор: он получит свое небо. Путь к его небу будет отныне путем Духа. Обиженные и оскорбленные Украины и России, Литвы и Белоруссии станут его **детьми**, а он сделается их пастырем, и никто не посмеет преградить ему путь к его небу, потому что **личные** интересы брата Андрея, представляющего общие интересы славян, будут отныне учитываться монархами Европы, а не **регламентироваться** ими; отныне его кровь, славянская кровь, его плоть, славянская плоть, стали второстепенны, несущественны, ибо он предложил свое тело служению католическому, сиречь западноевропейскому, Духу.

София Шептицкая, сохранившая в свои годы красоту и властность, узнав о решении сына, сделалась старухой в считанные часы: лицо ее, с заплаканными глазами, изменилось до неузнаваемости. Папа Лев XII прислал ей письмо: «Решение Вашего сына угодно Богу». И графиня, став маленькой, притихшей и напуганной матерью, а не сановитой матроной, смирилась, утихла, погасла и умерла вскорости: что же ей еще оставалось-то?

За двенадцать лет брат Андрей прошел все ступени церковной иерархии: от монаха до магистра, от игумена до священника, от епископа до митрополита. Ему не исполнилось еще и тридцати пяти лет, когда он был коронован униатским владыкою славянского мира. Отныне путь в небо был открыт, потолок разрушен, ибо митрополит – всегда **над** миром и монархи

приходят к папе и его пастырям за советом и помощью в своих суетных, мирских делах, а никак не наоборот. Две тысячи лет христианство, ставшее государством Духа, добивалось этого положения, и оно добилось его, и никто не вспоминал ни про страшные столетия инквизиции, жегшей на кострах и топтавшей в тюремных казематах светлых гениев человечества, и никто не вспоминал о войнах, которые благословлялись крестом, и никто не укорял пастырей за то, что они выводили темные толпы пьяных нелюдей на погромы: если уж столько веков они выстояли – значит, сильны, умны и могучи, лучше быть с ними, чем против них.

Вначале граф Роман, уланский ротмистр, думал о себе. Став митрополитом Андреем, он приказал себе забыть то изначальное, что подвигло его на отказ от мирских радостей. Он тщился убедить себя в том, что и в то горькое утро, после страшной беседы с другом Шлоссбергом, он думал об одних лишь сырых и обиженных славянах, которым европейская вера откроет путь к добру и благодати, европейская – и никакая иная. Человек тонкий и умный, Шептицкий понимал, что отныне он властен над душами миллионов униатов. Но он чувствовал, что над своей душой – мятущейся, смятенной, дерзкой, постоянно обуреваемой жаждой деяний – он не властен, ибо человек не может **забыть**. Он может приказывать себе, молить, надеяться, желать, истово уповать, но все равно желаемое забвение не снизойдет к нему: это трудней, чем изменить имя и отринуть призвание, это по природе своей невозможно.

А политика, которая немислима без веры (идеи, доктрины, догмы), властно требовала от духовного пастыря земной позиции – «с кем ты?».

Поначалу Шептицкий стоял твердо и думал о своем пути **чисто**. Но когда первая мировая война запыхала в Европе, ему пришлось избрать позицию, ибо человек не властен жить в обществе и быть свободным от него, даже если живет он идеей служения богу. И Шептицкий определил себя, обратившись к украинцам со словом земным, мирским, ясным: «Поднимайтесь на борьбу за святую монархию Габсбургов, против Москвы, Парижа и Лондона!» В мире, разделенном, словно бы разрубленном и кровоточащем, Шептицкий оказался на той половине, которая говорила и думала по-немецки, с венским ли акцентом, с прусским – это уже второстепенно. Паства Шептицкого – украинцы, включенные в австро-венгерскую монархию, – была поднята им на борьбу против своих же братьев на Востоке. Назови призыв к крови крестовым походом за чистоту веры – казнят презрением потомки, хоть мир слишком поздно сдает политику в исторический архив, страдая себя жупелом «секретности». Казнят, казнят, Шептицкий понимал это, потому что призыв к крови братьев, продиктованный идеей «чистоты веры», отбрасывал церковь к временам инквизиции – тогда ведь тоже сжигали во имя «чистоты». Тактика повседневности – политики, дипломатии, экономики – начала уродовать его стратегию Духа. Политика европейских государств затягивала его, словно в воронку, подводя к главному решению. Эта страшная воронка не позволяет остаться **возле**, она требует стремительности движения и статики не прощает. Сказав «а» – нельзя не произнести «б». Шептицкий знал – последовательность позволит в будущем **объяснить** линию, важно только сейчас, начав, свято линии держаться. И он начал работу против России не только как пастырь духовный, но и как человек, знавший структуру армии. Он сказал себе тогда, что его борьба против России угодна Духу и служит она пастве, ибо он хочет привести всех украинцев к европейской культуре, оторвав их от душного и темного российского царства. Когда русские поймут, что их украинские братья **преуспели**, они не преминут обратить себя в католическое униатство, ибо оно будет подтверждено более высоким уровнем мирской жизни: сало – дешевле, сапоги – прочнее, текстиль – ярче. Это была позиция. И когда царская контрразведка уличила Шептицкого в шпионской работе против армии и увезла его в Киев, тысячи людей во Львове скорбели о судьбе «украинского Моисея», попавшего в лапы москалей. А когда после победы Февральской революции Шептицкий смог вырваться в Вену и король Карл I наградил его «Крестом ордена Леопольда

с воинской декорацией», вся Австро-Венгрия устлала путь, по которому медленно двигался «святейший кортеж», цветами славы, и сделано это было по приказу императора, признавшего за Шептицким право на небо, ибо тот в свою очередь подтвердил Карлу I его право на украинские земли не только словом, но и своим страданием в русской, подконтрольной неволе. Шептицкий тогда сгорал от стыда, потому что он-то знал, какая это была «неволя» – апартаменты в киевском «Континентале», свой салон-вагон, покои в Суздальском монастыре, люкс петроградской «Астории», – но он считал этот свой стыд угодным всевышнему, потому что не он становился кумиром, не граф Роман и не митрополит Андрей, но **вера**. Так говорил он себе, понимая, что и это – неправда, что и это – уговор самого себя. И тогда-то возник страшный вопрос: «А во имя чего?» Вопрос этот приходит к человеку **состоявшемуся**, и ответ на него может оказаться поворотным пунктом в дальнейшей его судьбе. У Шептицкого так не вышло: он ехал во Львов вместе с эрцгерцогом Вильгельмом Габсбургом, который прикладывался к его руке и был почитителен до сладости, но митрополит знал, что именно этот человек должен стать «Василием Вишиванным» – новым «украинским гетманом», и тогда-то Шептицкий снова, как в разговоре со Шлоссбергом, до ужаса близко ощутил свою малость и свой потолок, и не видел уж он неба...

Ему пришлось потом поддерживать кайзера Вильгельма, а затем подвергать его анафеме; звать к битве против поляков, а потом ездить в Варшаву для сановных бесед со своим врагом Пилсудским; приходилось ему поддерживать Петлюру, а потом, прокляв, лишать своей поддержки; давать благословение Скоропадскому, а потом лишать его дружбы своей и милости; любезно беседовать с Пуанкаре, с тем, против которого он поднимал гнев украинцев; пожимать руку Гуверу, миллионы которого были обращены против, любимого австрийского императора Карла; со многим ему пришлось смириться, многое пришлось ему **принять** – одного лишь Шептицкий принять не мог и не желал: большевизма, который казался ему самым сатанинским злом на земле.

И вот сейчас он смотрит, как солнце начинает золотить купола костелов и церквей и как листва на платанах делается прозрачной, желто-зеленой, и слышит он выстрелы и треск мотоциклетных моторов, и знает, что сейчас сюда, к нему, придут немцы.

Он дорого поплатился за свою **позицию**. Ватикан после того, как Гитлер начал сажать в концлагеря священников, стал иначе смотреть на Шептицкого: давно уж должен был стать он кардиналом, но так и не стал, был обойден милостью папы – недостойно святой церкви поддерживать «пронемца» – сиречь **гитлеровца**.

И вот сейчас придут сюда немцы, и ему, старцу, в который раз уже надо определить позицию, и снова стать против тех, кто Гитлера считает антихристом, а таких – весь цивилизованный мир, а он ничего, отныне и вечно, не сможет противопоставить немцам, и возразить он не сможет им, потому что, избравши раз линию, надо ей следовать, и будь проклята эта линия, и эти немцы, и эта страшная жизнь, которая требует от каждого открытой определенности и оборачивается взлетом ли, падением ли, но только не **обычностью**, для тех лишь, кто деятелен и кто смог перекричать других, – все остальные обречены на забвенье.

...Роман Шухевич слез с заднего сиденья мотоцикла, чувствуя усталую разбитость в теле и робость в себе самом, в своем духе. Оберлендер вылезал из коляски по-немецки обстоятельно, и не было в нем высокого волнения. Следом за первым мотоциклом во двор Святоюрской церкви влетели еще мотоциклы, и на втором сидел капеллан «Нахтигалья» отец Гриньох в серой военной немецкой форме, и он побежал на крыльцо, и его узнали служки, и склонились к его пыльным, в бензиновых потеках рукам, и он не успел даже толком спросить, где отец Андрей, как его подхватили, повели в покои, и невдомек было маленьким служкам, что отец Андрей сейчас сидит в тяжком раздумье и сердце его сжато тисками странной боли, **своей** боли, которую нельзя показывать никому, особенно малым мира сего.

И когда к нему ввели Шухевича, Гриньоха и Оберлендера, он улыбнулся им мягкой своей улыбкой, и они подошли к руке, и ощутили горький запах ладана, и Шухевич заплакал, и не скрывал своих слез, и Шептицкий положил руку на его пыльную, жесткую голову, и закрыл глаза, потому что в них была сейчас жалость к себе: после императоров, кардиналов, министров он снизошел до этих **маленьких** людей, которые отныне **смеют** входить к нему в покои на рассвете, и поднимать его кресло, и выносить его на балкон, и показывать его толпе солдат, которые заполнили всю площадь перед домом, и как же сияют счастьем их глаза, как много их, какая сила за ними, и как **земны** они, склоняющиеся перед ним коленопреклоненно...

Что-то давнее, забытое заклокотало вдруг в груди Шептицкого, он вновь поверил в свое изначалие, в то, что может вернуться прежнее, когда он был **чист**, опираясь на свою силу; что-то горячее застило глаза ему, и он ощутил свою силу в силе этих солдат чужой армии, но одной с ним крови, и он простер руки, и послал благословенье, и слезы были в глазах легионеров, и слезы были в его глазах, и тишина была, и грянул колокол, и пронесся вздох – освобожденный вздох **свершенья**, и затрещали мотоциклетные моторы, и взбросили свои жилистые тела легионеры в седла, и понеслись по утреннему городу, по пустым и затаенным улицам – вершить свою правду и суд, утверждать новую владу... Ведь они получили благословенье, они **теперь** могут, они все **могут** теперь, ибо бремя с их плеч снято **высшим**, тем, чего у самого Шептицкого никогда не было, – оттого он и ощущал в себе пустоту.

25. ОЧИЩЕНИЕ КРОВЬЮ

Бандера приехал во Львов вечером того же дня – в парике, под чужой фамилией. Поселился он на конспиративной квартире, в доме напротив своего родного Политехнического института – он знал здесь все проходные дворы, похожие на гулкие колодцы, где вместо пахучих желтых бревен – тяжелый камень. Но схожесть с сельским, милым сердцу Бандеры колодцем оставалась, и только потом уже «вождь» понял, отчего это было: балкончики, увитые плющом и горошком, возвращали его к отчему дому в деревне.

Возле двери в маленькой темной прихожей – света в городе не было: большевики, уходя, порушили электростанцию – замерли трое телохранителей из оуновской СБ, «службы безопасности». Бандера и Ярослав Стецко сидели в прокуренной комнате, окна которой выходили в тихий дворик, и молчали – один листал книгу, не понимая, что в ней написано, другой завороченно смотрел на громоздкий телефонный аппарат. Время тянулось **шершаво** и слышно. Сейчас решалось главное: Бандера отдавал себе отчет в том, что тот, кто завоюет Святоюрскую гору, тот завоюет власть. Он отдавал себе отчет в том, что Шептицкий, духовный пастырь Мельника, его давний покровитель, должен принять решение сложное и бескомпромиссное: или он поддерживает украинских борцов, первыми вошедших во Львов под знаменами национальной свободы, или он лишает их поддержки; то, что он благословил сотню легионеров – лишь первый шаг; сейчас он должен благословить одного Бандеру, именно Бандеру, а никак не Мельника, сидящего в далеком краковском тылу.

Бандера знал, что руководитель мельниковской контрразведки Сенник-Грибовский прибыл во Львов так же нелегально, как и он, Бандера, с определенным заданием: уничтожить его, вождя ОУН-Б, прошить игольчатой автоматной очередью, взорвать, подложив в номер гостиницы маленький «подарочек», шибануть автомобиль вождя на яркой скорости в обрыв – мало ли как можно ликвидировать неудобного политика?! Сенник-Грибовский знал **методы** и умел их разгадывать. После убийства Коновальца он сказал крылатую фразу: «Если вам кто-нибудь даст ценный подарок, даже от его преосвященства митрополита нашего, возьмите его и сразу же закопайте где-нибудь в далеком и тихом месте, и бегите, не оглядываясь, памятуя, что вы закопали свою гибель».

Зная **методы**, Сенник-Грибовский не только умел их разгадывать, охраняя Мельника; он мог применить их на деле против Бандеры. Пусть рискнет применить свои методы после того, как и если Шептицкий благословит Бандеру, пусть. Бандера мыслил сейчас четко и цепко. Мельник в свое время говорил о нем Шептицкому: «Это кровавый садист, для которого нет ничего святого, он готов на все». Да, Бандера и сейчас готов на все. Но – главное – он готов к тому, чтобы выжить, а выжив, победить окончательно и навсегда: и конкурентов и большевиков.

Рассуждая сейчас здесь, в прокуренной, тихой комнате, Бандера шел по туго натянутому канату логики. Но одно положение, в определенной мере решающее, осталось за бортом его размышлений. Он никак не исследовал вопрос, казалось бы, маловажный: **кто** и **почему** сообщил его людям о готовящемся на него покушении? Кто и почему, таким образом, подталкивал его к активным действиям? Кто знал его так хорошо, что заранее разыгрывал эту комбинацию: угроза смерти – активные действия напролом?

Телефон зазвонил сухо, резко, и оба – Бандера и Стецко – вздрогнули, хотя каждую минуту этого звонка ждали. Стецко потянулся к трубке, но Бандера глазами остановил его. Только после того, как прозвонило четыре раза, Стецко трубку поднял и **ленивым** голосом пропел:

– Алло...

– Павло! – услышал он страшный женский крик. – Тут Миколку во дворе бандеры расстреливают, Павло!

– Положи трубку, – тихо сказал Бандера, но Стецко слушал женский крик заворуженно, и глаза его широко расширились от ужаса.

Бандера нажал на рычаг, запищали тревожные, быстрые гудки отбоя.

– Нашли? – глухим шепотом спросил Стецко. – Это Сенник...

– Зачем ему играть? – так же шепотом ответил Бандера. – Если б он нас засек, ему не играть, а действовать надо...

– Зря ты запретил оставить у входа в дом мотоциклистов...

– Вот тогда-то нас бы нашли обязательно... Ты старайся действия врага положить на свои, Ярослав. Если ладонь ладонью вся закрывается, тогда надо бояться – совпало, а если ты ладонь кладешь на книгу, и все по-разному, несовместимо, тогда не бойся: враг, как брат, он тоже умный, он как вторая ладонь, ты по ней мерь. Разве ты бы так поступил? – Он кивнул на телефонный аппарат.

Стецко хрустнул тонкими пальцами, поднялся, подошел к большому зеркалу в оправе, крашенной под старинное серебро, и сильно потер свое лицо, тщательно подгоняемое им под лик Гитлера, – даже усики стриг так же, как фюрер.

– Волнуешься, – заметил Бандера, – вегетатика не в порядке, синие полосы на лице выступают, словно пощечину получил... Когда образуется всё, хорошим врачам покажись.

– Меня Зильберман лечил...

– Больше не полечит.

– Хороших-то надо б сберечь.

– Правило нарушать нельзя. Правило только тогда правило, когда нет исключений.

– По-твоему, у немцев ни одного жидовского врача не осталось?

– Не-а. У них свои есть. Здоровье – не тарелка, всякому не доверишь. Ты к Зильберману своему с коликами в сердце, а он тебе клизму от язвы: помрешь в одночасье... Зильбермана я тоже помню, он со студентов денег не брал. – Бандера покачал головой, вздохнул. – Сложная, Ярослав, это штука – жизнь. Все она, брат, примет, только мягкости – никогда. Взятся за гуж, не говори, что не дюж. Ты думаешь, мне этого самого Зильбермана не жалко? Но если я дрогну – потомки не простят, оплошал, скажут, Бандера, слабак он, а не вождь...

Стука в дверь они не слышали – так он был осторожен и почтителен. Охранник осторожно просунул голову, шепнул:

– Скребутся в дверь. Открывать?

Бандера на цыпочках, по-звериному устремившись вперед, словно перед броском, вышел в переднюю и припал ухом к двери, мягко упершись в нее рысьими подушечками бесшумных пальцев, готовый в любую минуту отпрянуть, привалиться спиной к стене – тут пуля не прошибет.

Стук повторился – знакомый, тюремный – «тук-тук».

Бандера отлип от двери, достал из заднего кармана широких брюк вальтер, кивнул охраннику – «мол, открывай», и взвел курок.

На пороге стоял Роман Шухевич. Лицо его, по-прежнему пыльное, было счастливым.

– Ждет, – сказал он. – Едем.

Шептицкий внимательно оглядел Бандеру, потом мельком – Стецко и предложил им – усталым и рассеянным жестом – садиться.

Он увидел все, что хотел увидеть: и то, как Бандера пытался скрыть мелкую дрожь пальцев, и то, как Стецко выжидающе смотрел на «вождя» ОУН-Б, пока тот сядет, и только после того, как Бандера осторожно опустился в большое кожаное кресло, позволил себе последовать его примеру, и то, как капеллан Гриньох горящими глазами смотрел то на Бандеру, то на него, Шептицкого.

Митрополит подавил вздох: после его именитых, титулованных контрагентов ему предстоит иметь дело с мальчишками, лишенными главного, что отличает истинного политика, – **породы** .

– Ваше преосвященство, – откашлявшись так, как кашляют мелкие чиновники, попавшие в канцелярию министра, начал Бандера, – спасибо вам низкое за то, что вы согласились принять нас... Мы пришли к вам, как к отцу нашему, как к украинскому Моисею, за благословением на тот шаг, которого нация ждала многие века. Благословите нас на власть, – Бандера торопливо указал на Стецко, – вот он – премьер-министр новой влады, а отец Гриньох, – он чуть обернулся к капеллану, – духовный наставник...

Шептицкий не торопился отвечать. Он знал, что паства, мирские люди, считают их, служителей духа, людьми схимы, людьми своей лишь божеской идеи, и кажется им, мирянам, что духовники лишены их **быстрых и ловких** качеств – все сразу заметить, понять, просчитать, принять решение. Пусть так думают, это даже выгодно, когда тебя принимают не таким, каков ты есть на самом деле, Шептицкий молчал, и все молчали, и это молчание становилось тяжелым, и Бандера чуть кашлянул, прикрыв – по-деревенски – рот крепкой, квадратной ладонью.

– А почему не вы премьер-министр? – спросил Шептицкий, зная, что Бандера мечтает услышать этот вопрос, ибо митрополит сразу же понял истинную причину назначения Стецко главою влады. Он спросил Бандеру не для того, чтобы выслушать его доводы, но для того лишь, чтобы понять, **как** он эти доводы свои изложит.

Бандера дрогнул лицом, на скулах выступила синева, пальцы, сцепившись, замерли.

– Я не хочу, чтобы моя личность мешала консолидации всех украинцев, – сказал он. – Я оставляю открытыми двери для переговоров со всеми национальными силами. Для меня не личный престиж дорог, а счастье украинской нации.

«Есть порода, нет породы – все одним миром мазаны, – с глубокой горечью и состраданием к себе подумал Шептицкий, – я ведь так же говаривал, когда был моложе, точно так же, только не откашливался и рот не прикрывал ладошкой... Господи, господи милосердный, тяжелы грехи наши...»

– Вы готовы, – сказал наконец Шептицкий, – сесть за стол переговоров со всеми патриотами?

– Да. Если они захотят говорить, а не стрелять в меня из-за угла.

– Свои в своих?

– Свои в своих, – повторил Бандера жестко, потому что по-настоящему ощутил себя, свое тело, неловко устроенное в мягком низком кресле, свои сплетенные пальцы, свой затаенный страх перед старцем, и даже цепляющийся за колени шелк брюк ощутил он сейчас. Это произошло в нем потому, что он до явственного близко увидел себя выходящим из митрополитова дома по каменным ступенькам и парня, который отделится от стены храма с зажатым у живота автоматом, и боль он ощутил явственно, словно пули уже изорвали его тело, большие, острые, холодные пули, пущенные человеком Сеника-Грибовского.

– Нервы расходились, – сказал Шептицкий, – это бывает от перенапряжения.

Он ждал, как ответит ему Бандера. Тот мог открыть карты, назвать имена, привести доказательства, и этим бы он погубил себя.

– Мне жизнь недорога, – ответил Бандера, поняв чутьем, какого ответа ждет старец. – Я ее уже терял однажды и пощады себе не просил. Малое должно подчиняться большому, и пуще всего – служить ему. Обидно, если не смогу отслужить, – всего лишь.

– И с Мельником, и со Скоропадским готовы сесть за стол переговоров? – спросил Шептицкий, чуть подавшись вперед.

– Меня об этом и спрашивать не надо. Их надо спросить...

– Значит, готовы, – сказал Шептицкий и откинулся на высокую спинку кресла. – В добрый час, Степан. Благословляю вас на добро, идите с миром. Провозглашайте государство, я – с вами...

И в это время вошел профессор Ганс Кох с Альфредом Бизанцем – руководители Оберлендера, присланные Канарисом **смотреть** не вмешиваясь.

Бандера, Гриньох и Стецко поднялись, как солдаты при появлении офицера, и это словно бы **ударило** Шептицкого, но еще больше ударило его то, что Ганс Кох протянул руку, не дожидаясь того момента, когда он, пастырь, осенит его, мирянина, крестным знаменем, и это вдруг сроднило Шептицкого с Бандерой, с этим молоденьким поповичем, и он подумал сейчас, что с самого начала ему надо было ставить на таких именно, а не разбивать самому потолок, чтобы достичь неба: эти разбили б, они ведь по-холопски благодарны тому, кто снизойдет, а еще больше тем, кто **поднимет**.

Когда-то, в прошлые годы, Ганс Кох входил к нему в кабинет неслышно, и к руке прикладывался, и словам внимал, но тогда Шептицкий был чужим, тогда он владел умами украинских католиков в Польше, а теперь все изменилось и его, митрополита, католики-украинцы одеты в мундиры армии Коха. Кох – он теперь здесь хозяин, он, а не австрийский император Карл, и не маршал Пилсудский, и не кайзер Вильгельм, а просто-напросто майор армейской разведки, маленький винтик в мощной машине рейха.

– Я буду молиться за вас – не для Бандеры, и не для Коха даже, а для себя, для своего раздавленного самолюбия, – сказал Шептицкий прежним своим, молодым басом. – Докажите миру, как могуча и сильна держава Украинская. Господь вам в помощь...

Провожая взглядом уходивших Бандеру, Стецко и Гриньоха, митрополит знал, что случится сейчас, и он боялся этого момента, но в то же время ждал его: человек всегда хочет определенности, любой, но только определенности, ибо, опершись на нее, можно будет эту маленькую унижительную определенность вновь подчинить своей **линии** – на нее лишь надежда.

Шептицкий не ошибся. Когда дверь за «вождем» закрылась, Ганс Кох достал из портфеля **бумаги**, протянул их митрополиту, сказав:

– Это надо подписать, ваше превосходительство. По-моему, ваш стиль соблюден... Впрочем, какие-то коррективы мы готовы внести.

Шептицкий взял листок плотной бумаги, очки надевать не стал – зрение его сохранилось, особенно если смотреть вдаль; уперся жестким взглядом в строчки: «Слово митрополита к духовенству. По воле всемогущего и всемилостивейшего Бога начинается новая эпоха нашей Родины. Победоносную немецкую армию, которая заняла уже весь Край,

встречаем с радостью и благодарностью за освобождение от врага. В эту важную историческую минуту я зову вас, отцы и братья, к верности Церкви, послушанию Власти и к работе во благо Родины. Все, кто считает себя истинным украинцем и хочет трудиться на благо Украины, должны работать сообща на ниве нашей экономической, научной и культурной жизни, столь униженной большевиками. Чтобы испросить у Всевышнего любви, каждый Пастырь должен отслужить в ближайшее воскресенье благодарственный молебен «Тебя, Бога, хвалим!», испрашивая многолетия победоносной немецкой армии и украинскому народу...»

Шептицкий медленно опустил листок на колени, ощутив всю его литую тяжесть. Закрыв глаза, он какое-то мгновение **чувствовал** в себе гулкую, предсмертную пустоту. Потом, лишь через несколько долгих мгновений, старец услышал какие-то слова и понял, что это мысли мечутся в нем, оборванные, не собранные воедино, стремительные, жалостливые, растерянные. Шептицкий, не открывая глаз, напрягся, заставив тело свое стать хоть на миг прежним, подвластным его воле. Он развел плечи и почувствовал хрусткость хрящей где-то под лопатками, и то, что тело его подчинилось воле, сделало митрополита прежним, давним Шептицким: он снова мог **решать**, он был властен над собой.

Он мог бы порвать этот листок, составленный за него немцами, и отказаться от призыва возносить молебны в честь чужой армии, которая пришла на украинскую землю. Он понимал, что отказ его был бы в нынешней ситуации угоден тем силам в Ватикане, которые считали Гитлера врагом святой церкви. Но он отдавал себе отчет в том, что та **линия**, которой он следовал долгие годы, почти полвека, стала силой материальной, самодовлеющей; она подчинила его и растворила в себе, словно реактив, превращающий в ничто кусок металла. Это осознание своей мелкой несвободы, своей рабьей принадлежности германской идее, своей невластности в поступках было сейчас видно Шептицкому как бы со стороны, и вдруг огромная, детская жалость к себе родилась в нем, и на глазах его выступили слезы, и услышал он тихое слово, сказанное голосом тихим и скорбным: «Поздно».

– Добавьте что-нибудь про соборность и самостийность, – прошептал митрополит. – Я подпишу. Идите с миром, мне надо побыть одному.

Дмитро Михайленко, профессор-египтолог, в списках бандеровцев значился под номером 52.

Он не эвакуировался, потому что **здесьние** дела мало интересовали его: взгляд его был обращен в прошлое, в эру Солнца, к Нильской долине, когда фараон Аменхотеп держал на сильных своих руках новорожденного сына и ощущал, как **греется** под живительными лучами светила сморщенная кожаца на лице младенца, приобретая тугой, глубинный цвет бронзы.

Михайленко размышлял об эре первой реформации, и сухие щелчки выстрелов, лязг танковых гусениц, пьяные песни солдат не волновали его – это все суета, это пройдет, это, как и жизнь человеческая, ненадолго...

Главное – оставить после себя идею. Пусть она достанется не тем, так этим. Появившись, она становится бессмертной, воплощая в себе бессмертие автора.

Он работал по пятнадцати часов, поднимаясь из-за стола, лишь когда затекали больные ноги; Михайленко писал страницу за страницей, чувствуя, что сейчас только и стало получаться по-настоящему, ибо то получается, что любимо, что стало твоим и чему ты себя отдал без остатка.

Слова опережали мысль, надо было **успевать**, надо было следовать за этой слитной неразрывностью идей и действия, образа и движения руки, в которой зажато перо.

«Некогда дерзкие Фивы, возвысившись, создали фараона Амона, провозгласив человека – Всемогущим, – писал он. – Отныне под его знаменами шли колонны войск. С его изображениями в руках запыленные воины врывались в города азиатов, подвергая разграблению дома и лавки побежденных. Повергнутая к ногам египтян Азия была

растоптана и унижена. Амон звал к продолжению агрессии, потому что она была угодна жрецам, получавшим дары и назначения на должности **хранителей** завоеванных областей. Но если бы воины бога Амона продолжали свой поход и дальше, столица оказалась бы лишь номинально столицей, власть царя постепенно деформировалась бы во власть царьков, а величие государства сменилось бы богатством и сытостью тех, кто думал о себе, но не о престиже дела.

...Фараон Аменхотеп, воздвигавший громадные статуи могучего, ушедшего в небытие Амона, оставаясь один, когда жрецы, сгибаясь в поклонах, уходили из его покоев, думал, как свергнуть того, кому он поклонялся на людях, в честь кого он строил храмы и произносил торжественные клятвы: великого свергают самые близкие, познавшие горький вкус собственного величия. Аменхотеп понимал, что жрецы и военачальники, подползавшие к нему смиренно и рабски, лишь **терпят** его, подобно тому, как воин терпит тяжесть щита, защищающего от стрел противника.

Стратег и воин, Аменхотеп знал толк в политической борьбе: при поддержке жрецов, причем не всех, а наиболее молодых, тех, которые еще не были верховными, а лишь мечтали о том, чтобы верховными стать, он провел указ о строительстве собственной статуи.

– Я понимаю, – говорил фараон своим молодым помощникам, – что кое-кто из старцев может бросить в меня камень: придворные скульпторы предлагают сделать мою статую высотой в сорок локтей – в этом конечно же есть доля вызова традициям великого Амона. Но ведь не моя личность будет восславлена художниками, я – слабый символ нашего государственного могущества, которое охраняет земледельцев, обогащает казну и возносит вас, моих советников и друзей.

Аменхотеп рассчитывал победить постепенно. После того как статуя в его честь была высечена и установлена, он – опять-таки при поддержке молодых жрецов – хотел провести закон, по которому фараон отныне становится единственным сыном солнца Ра и выразителем его предначертаний. Эра Амона, таким образом, ушла бы в прошлое.

Молодые поняли: если это свершится, тогда они не смогут получить блага так, как они получали их ныне, используя глухие, скрытые разногласия между стариками верховными и фараоном, который тщится стать над ними всеми вкупе.

Законопроект не был проведен в жизнь. Возвращение к богу солнца Ра не получило устойчивого большинства в совете жрецов, ибо те понимали: признав Аменхотепа сыном солнца, они сами будут обречены во всем **следовать**, в то время как они хотели, чтобы фараон следовал их, помазанников Амона, предначертаниям.

Государственные устремления фараона натолкнулись на личные интересы жрецов. Аменхотеп внутренне хотел мира, понимал, что лишь это укрепит и его власть, и страну. Жрецы, наоборот, хотели сражений, во время которых воины становились их подданными, повиновались их молитвам и следовали их указаниям.

Постепенность хороша, если твои союзники имеют власть. Когда твои союзники только еще борются за власть, действовать надо решительно, ибо узел надо рубить – развязывая его, ты сам рискуешь оказаться разрубленным.

За несколько дней до своей таинственной гибели Аменхотеп был на торжественной службе в честь ненавистного ему бога Амона, которого он хотел свалить постепенно, исподволь, руками молодых жрецов.

Не смог. Свалили его.

Сын его, бронзовокожий, худенький, с тяжелой челюстью на длинном губастом лице, Аменхотеп IV, не был поначалу страшен жрецам: слишком молод; плохой наездник; не любит церемоний, на которых они, его истинные владыки, обязаны оказывать ему знаки рабской преданности; сторонится застолий и женщин; проводит все время с громадноглазой женой Нефертити; ходит по городу в одежде воина, но заходит не в дома военачальников и аристократов, а в пыльные мастерские скульпторов и художников, в

маленькие лачуги беспутных поэтов, лишенных **связей** и богатства, – что ж такого бояться-то, такого славить надо и поклоняться ему, ибо **знак** остается знаком, пустым символом, он удобен, он в руках, его можно поворачивать, им можно управлять.

Так было полгода. Аменхотеп, сын Аменхотепа, нашел друзей не во дворцах аристократов или в храмах жрецов. Он привел в свою резиденцию **единомышленников** : художников с сильными мускулами, ибо они держали в руках молотки, которые тяжелее дротиков; поэтов, которые так яростно дрались друг с другом, доказывая преимущества своей рифмы не только словом, но и оплеухой, что плечи их были налиты неизрасходованной силой. Окружив себя этими людьми, которые поначалу казались жрецам неопасными, Аменхотеп провозгласил:

– Отныне наша земля будет жить по законам «Маат» – «Истины»! Она одна для всех, она от солнца, а я единственный его пророк на земле.

Военный переворот был невозможен: армия – по заветам Амона – оккупировала завоеванные области. Легионы, которые квартировали в столице, были составлены из братьев тех, кто теперь жил вместе с фараоном в его резиденции: простолюдины сделались защитой фараона, его опорой.

Жрецы затаились. Те дискуссии, которые верховные провели с молодым сыном солнца, оказались бесплодными.

– За попытку бунта я буду казнить, – сказал Аменхотеп, сын Аменхотепа. – Я не повторю ошибки отца. Ваше спасение в послушании.

Он приказал скульпторам изваять свое изображение, соотнося творчество с доктриной Истины. Его изваяли: нескладная фигура, простое, нецарственное лицо, слабый человек – совсем не фараон. Скульпторы не спали всю ночь – по прежним временам их должны были казнить за такое. Фараон осмотрел изваяние и бросил к ногам мастеров кошель с золотом. Назавтра скульптура была выставлена на центральной площади Фив. Жрецы возроптали: фараон не может быть изображен слабым и тщедушным человеком. В храмах были оглашены послания верховных жрецов, которые называли свершившееся святотатством. Аменхотеп приказал арестовать двадцать старейших и казнил их у подножия своего изваяния. Старые храмы были закрыты повсеместно. Лик Амона был разрушен. Иероглифы, обозначающие его имя, вырубались: ведь если зачеркнуть имя, носивший его исчезнет, разве не так учили предки?! Все очень просто: надо спрятать, разрушить, зачеркнуть, приказать забыть – забудут.

Началась реформация.

Аменхотеп изменил свое имя – отныне он приказал именовать себя Эхнатоном, «Угодным солнцу». Хватит бога Амона! Разве солнечный диск не выше и не значимей? Разве маленькие солнечные диски, которые опускаются по небосклонам, и замирают, и смотрят на землю, не есть посланцы Неба, которому должны служить все? Разве он, принявший на руках отца солнечное помазание, не сын солнца и не слуга его?!

Эхнатон нагрузил караван судов: камень, рабы, молотки, художники – и отправился по Нилу, и нашел место, и остановился там, и воздвиг новый город – «Небосклон Солнца», святой Ахетатон, и архитектура его была странной, возвышенной, солнечной, великой – архитектура Истины.

Реформация – это увлечение.

Эмиссары Эхнатона рыскали по стране, наблюдая за тем, как воины уничтожали старые, языческие храмы Амона. Сам фараон из своей новой столицы не выезжал: он работал наравне с инженерами, художниками и строителями. Донесения номархов слушал рассеянно – если его новый город будет угоден солнцу, слава и победа придут к народу сами по себе. Азиаты захватили Сирию, их корабли грабили побережье – фараон строил город солнца. Он был увлечен настоящим, он ненавидел прошлое, но он не понимал, что будущее можно утвердить лишь в том случае, если дело его будут продолжать единомышленники,

научившиеся **управлять** государством, а не только умеющие строить храмы. И он не верил, никому не верил: он помнил, как погиб отец от рук тех, кого он научил править и с кем делил тяготы правления.

Можно делить хлеб, нельзя делить власть. Когда Нефертити сказала, что друзья могут помочь хотя бы во время приемов послов, фараон изгнал ее, страдая и плача по ночам: дело требует фанатизма от того, кто верит в его святость. Тот, кто задумал, должен быть уверенным, что все вокруг – такие же рабы его замысла, как и он сам. Тюрьмы были переполнены узниками. Казни проходили и по ночам – солнечного дня не хватало, чтобы умерщвлять тех, кто верил старому, привычному богу.

Желание увидеть замысел воплощенным – пожирающе. Фараон был словно один одетый среди голых, один знающий в толпе темных. Он построил свой солнечный город на крови и ропоте, и город этот стал чудом мира; но казнь не довод, вера не приходит из дворца, провозглашенная вооруженным воином, – вера рождается в беседе дружбы, в разговоре равных...»

Михайленко оторвался от рукописи, потому что услышал какой-то шум и крик, и понял, что кричит его жена; он хотел было отчитать домашних за то, что они ведут себя, как вандалы, но не успел даже повернуться, потому что бандеровцы схватили его за горло, заломили руки за спину, ударили по тонкой, пергаментной шее, поволокли по лестнице вниз, и Михайленко ничего не мог понять и все боялся, что забудет ту фразу, которая была в голове у него, а потом его втолкнули в машину, и бросили на заблеванное днище кузова, и наступили кованым сапогом на ухо, и он тогда только осознал, что идею свою **всем** отдавать нельзя – отдавать ее можно тому, кто вправе мыслить, то есть любить.

Его повесили через семь часов на балконе дома, где обосновался бандеровский штаб. Пахло цветущими липами, хотя время их цветения кончилось.

Тарас Маларчук вышел из операционной, сел на высокое кресло, откинулся на спинку и заставил себя расслабиться: руки его упали вдоль тела; он ощутил дрожь в ногах – пять операций подряд, в основном дети, осколочные ранения...

Он закрыл глаза и сразу же впал в странное небытие: сна не было, но он не слышал звуков окрест себя, далеких выстрелов, криков раненых, суетливой беготни сестер и врачей, тяжелой поступи военных санитаров, которые таскали носилки с трупами, громяхая тяжелыми, не успевшими еще пропылиться сапогами. Тарас Маларчук видел странные цвета – густо-черное соседствовало с кроваво-красным, все это заливалось медленным, желто-зеленым, гнойным; он стонал, и хирургическая сестра Оксана Тимофеевна, стоявшая рядом, не решалась тронуть его за плечо, хотя на столе уже лежал мальчик с разорванным осколком бедром – спасти вряд ли удастся, слишком велика потеря крови.

– Тарас Никитич, – шепнула она, когда крик мальчика сделался нестерпимым, пронзительным, предсмертным, – Тарас Никитич, миленький...

Маларчук поднялся рывком, будто и не погружался только что в липкое забытье.

– Что? – спросил он, чувствуя гуд в голове. – Что, милая? Уже готов?

– Да. На столе.

– Наркоз?

– Да. Ждут вас...

Маларчук зашел в маленький кабинетик при операционной, сунул голову под струю ледяной воды и долго стоял, опершись своими длинными пальцами («Похожи на рахманиновские», – говорили друзья) о холодную эмаль раковины. Он ждал, пока успокоятся молоточки в висках и прекратится медленная дрожь в лице: все те шесть дней (с начала войны), что ему пришлось прожить в клинике, оперируя круглосуточно, были как кошмар и наваждение: ущипни, казалось, себя за щеку, и все кончится, все станет, как прежде, не будет этих выматывающих душу сирен воздушной тревоги, воплей раненых девочек, предсмертных, старческих хрипов мальчишек...

– Тарас Никитич, – услышал он сквозь шум воды, – миленький.

– Иду...

Маларчук выключил воду, растер голову сухим, жестким вафельным полотенцем, которое пахло теплом, попросил хирургическую сестру приготовить порошок пирамидона с кофеином, запил лекарство крепким чаем и пошел в операционную.

Он осмотрел желтое лицо мальчика, страшную осколочную рану, разорванное бедро, раздробленные кости («Сахарные, – странно усмехаясь, шутил профессор, когда Маларчук учился в институте, – разобьешь – не собрать и не слепить»). Маларчук почувствовал вдруг, что плачет: дети играют в войну, взрослые воюют, но погибают-то в первую очередь дети. Добрый разум ученого, который создал аэроплан, что есть шаг в преодолении времени и пространства, обернулся вандализмом; разум как символ вандализма – что может быть противоестественнее? Разум, разбитый злой волей кайзеров, монархов, премьеров, фюреров, фельдмаршалов надвое: разум конструктора самолета, принужденного сделать его бомбовозом, архитектора, сделавшегося сапером, который не строит, а уничтожает, и библиотекаря, который хранит мудрость мира, делая ее доступной добрым и злым: каждый находит то, что ищет.

– Тарас Никитич...

– Скальпель, – сказал Маларчук, – вытрите мне глаза и не болтайте.

...В жизни каждого человека бывают такие минуты, когда он страстно и безраздельно **желает** противопоставить неправде истину. Видимо, это желание угодно той высшей логике, которая движет людскими поступками, влияя на развитие исторического процесса, подчиняя мелкое, корыстно-личное общему, высокому, нацеленному в будущее. Желание это становится выполнимым, если человек обладает не только знанием, но и высшим навыком своего **ремесла**. Мечтатель, лишенный **умения**, может оказаться лишь ферментом добра, и память о нем исчезнет с его исчезновением. Человек, подчинивший свою мечту делу, ремеслу, навыку, остается в памяти поколений навечно, как Леонардо, Фарадей, Менделеев, Эйнштейн и Туполев.

Маларчук сделал невозможное, он спас жизнь ребенку, и осталась последняя малость – зашить рану. Маларчук начал стягивать – жестким, казалось бы, движением сильной руки – концы раны, и в это время в операционную ворвались бандеровцы из «Нахтигалья».

– Вон отсюда! – хриплым голосом закричал Маларчук. – Кто пустил?!

Бандеровцы схватили его за шею – излюбленным своим, отрететированным бандитским приемом, бросили на красно-белый кафельный пол и, пиная ногами, поволокли к выходу.

Маларчук, изловчившись, поднялся, ударил острыми костяшками длинных пальцев что-то красное, пьяное, пляшущее смехом лицо, хотел было ударить следующего, но его стукнули автоматом по затылку, и он потерял сознание...

...В списке Микола Лебеда хирург Тарас Маларчук, депутат областного Совета, значился под номером 516. Поскольку Маларчук был украинец, казнь его должна была состояться после заседания «тройки ОУН», которая была создана для судов над украинскими коммунистами и комсомольцами.

– У нас будет все по закону, – говорил Лебедь, – мы приговоры будем на меловой бумаге писать и протоколы допросов печатать на машинке – в назидание потомству...

...Маларчука ввели в темную комнату – окна забраны тяжелыми порттьерами, дорогая мягкая мебель, в камине полыхает огонь, хоть и так жарко – дышать нечем.

Три человека сидели за большим письменным столом, и Маларчуку показалось, что в этом кабинете совсем недавно все было разгромлено, а потом быстро за несколько часов наведен порядок, но порядок **новый**: портрет Гитлера на стене, бронзовые, дорогие, тяжелые часы на легком, семнадцатого века, столике, которые прежний хозяин никогда бы там не поставил; слишком маленький, женский чернильный прибор на громадном письменном

столе – все это казалось случайным здесь и свидетельствовало о дурном вкусе тех, кто наводил порядок после хаоса.

– Ну что, Маларчук? – сказал тот, который сидел в кресле за столом. – Доигрался?

– Кто вы такие?

– Ты мне еще поспрашивай, поспрашивай, – сказал маленький, примостившийся слева от того, что был в центре, – ты отвечай, сучья харя, спрашивать будем мы: председатель и его коллегия.

– Объясни нам, Маларчук, как ты, украинец, талантливый врач, смог предать Украину большевикам? – продолжал председатель.

– А как ваши сволочи могли убить мальчика на операционном столе? Украинского мальчика...

Маленький бандеровец вскочил со стула, подбежал к Маларчуку, замахнулся, но ударить не успел – полетел на пол: реакция у хирурга была мгновенная.

Маленький заскреб ногтями кобуру, заматерился грязно, но председатель остановил его.

– Тарас, – сказал он особым, **проникновенным** голосом, – ты нравишься мне, Тарас. Я хочу спасти тебя. Я обращаюсь к тебе, как к обманутому. Сбрось пелену с глаз. Вспомни, сколько украинских интеллигентов, таких же, как ты, русский царь бросил в тюрьму и ссылку?

– А ты вспомни, сколько русских интеллигентов царь сгноил на каторге, – ответил Маларчук. – Посчитать? Или не надо?

– Ты ж говоришь со мной на украинском языке, Тарас. А наш язык русский царь запрещал изучать в школе, нас хотели оставить немыми, Тарас...

– А Победоносцев, который запрещал изучать русским русский, а предписывал зубрить церковнославянский? – Маларчук усмехнулся. – Ты со мной в теории не играй – проиграешь.

– Не проиграю, – убежденно сказал председатель и, обойдя стол, предложил Тарасу немецкую сигарету. Заметив усмешку хирурга, пояснил: – Скоро свои начнем выпускать, не думай... Ответь мне, Тарас: как мог ты служить москалям, когда они столько лет погнали нашу землю, топтали ее, как завоеватели?

– Не Москва пришла к нам, а мы пришли к Москве за помощью. Хмельницкий просил у Москвы защиты, когда и Швеция, и Крым, и Турция отказались помочь нам в борьбе против Польши. Это же хрестоматия, председатель... Ты древностью не играй – говорю же, проиграешь: ты Дорошенку вспомни, который отдал Украину турецкому султану, ты Выговского вспомни, который отдал Украину Польше, ты Мазепу не забудь, который отдал нас Карлу Шведскому, ты Петлюру не забывай, который передал нас всех скопом Пилсудскому... Ты Москву не трогай, председатель, без нее трудно было бы Украине, ох как трудно... Так что кончай спектакль, председатель, начинай уж лучше свои **методы**, я про них слышал...

– Чекисты инструктировали?

– Это неважно кто... Наши, во всяком случае.

– Ладно. Вот тебе перо и бумага, пиши текст и отправляйся домой, на тебе вон лица нет, отоспаться надо...

– Какой же текст мне писать?

– А вот какой: «Обманутый большевиками, московскими бандитами, принудившими меня стать членом их преступной партии, я заявляю, что ныне, когда Украина стала свободной, отдам все свои силы и знания на благо моей Державы». Число и подпись.

– Не число, а дата, – поправил его Маларчук. – Председатель, ты языка нашего не знаешь... Написать я тебе могу вот что: «Был, остаюсь и умру коммунистом. Да здравствует Советская Украинская Республика. Дата: 30 июня, подпись – хирург Маларчук, украинский большевик».

Тараса Маларчука утопили в ванне, здесь же в квартире, где обосновалась бандеровская «тройка». Его жену Наталку сначала изнасиловали на глазах у детей, а потом закололи штыками. Дочку, пятилетнюю Марию, выбросили из окна, и она, подпрыгнув, словно мяч, осталась на асфальте маленьким комочком с льняными волосами, а сына, трехлетнего Михаила, застрелили из дамского браунинга, пробуя силу этого маленького пистолетика, купленного по случаю на краковской толкучке...

26. ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НАДО?

...Трушницкий оглядел свой хор (музыкантов везли в обозе, следом за кухнями): серо-зеленые мундиры пропылились и казались вытасченными из старой рухляди. От щегольского лоска, наведенного ночью двадцать первого июня, не осталось и следа.

Лица людей тоже казались пыльными, хотя всем были предоставлены комнаты для постоя, где можно умыться и отдохнуть. Видимо, волнения этих дней наложили свой отпечаток: волнение либо красит человека, если это волнение **открытое**, радостное, свое; либо старит, отражая тревогу и ответственность, особенно когда события развиваются стремительно, неуправляемо и неясно, куда **повернет**.

Трушницкий смотрел на своих музыкантов усталыми глазами, в которых медленно закипали слезы. Все они, да и он сам мечтали войти сюда, на родину, по улицам, засыпанным цветами, среди криков радости, в том шуме всеобщего веселья и **освобожденности**, в котором всегда слышится музыка, огромная музыка Вагнера или Глинки, но здесь, на Украине, на их Украине, музыки не было; встречала их тишина безлюдья – днем, выстрелы украинских патриотов, ушедших в подполье в первые же часы оккупации, – ночью.

А Глинка и вовсе теперь был запрещен; русский.

Все его хористы и сам он мечтали, как выйдут они со своими песнями на улицы, но немецкий офицер в черном, который пришел к ним с адъютантом Романа Шухевича, строго приказал:

– Без нашего разрешения никаких публичных сборищ не устраивать. До нас дошли сведения, что вы собираетесь дать сегодня открытый концерт, – это недопустимо. Все ваши ноты я возьму с собой: ваши песни должны пройти военную цензуру.

Трушницкий тогда подумал, как это страшно, когда маленькие гитлеры доводят человека до такого состояния, что он вынужден оправдывать для самого себя идиотизм происходящего. А поскольку даже несвободному (как в условиях нацистского господства) человеку довольно трудно лгать себе, он должен придумать такую **логику**, чтобы она была убедительной и доказательной, а это трудно, очень трудно, ибо «второе я» не прощает «я первому» слабину в доказательствах, и делается человек вроде змеи – вертким, хитрым, умным и – в самой глубине души – глубоко, безвозвратно нечестным, понимающим эту свою нечестность, а потому падшим. Особенно это страшно для художника, думал Трушницкий, потому что он **создает**, а создание, покоящееся на зыбком фундаменте изначальной лжи, всегда страдает ущербностью, метаниями и той зловещей худосочностью мыслей, которые обрекают человека на постоянное ощущение собственной второсортности – ненужности, говоря иначе...

– Ну что? – спросил Трушницкий коллег. – Начнем репетицию?

Хористы легиона собрались в доме Просвиты, на площади Рынка, в тесном и пыльном зале с плохо вымытыми окнами, дребезжащими от гусеничного лязга проезжавших мимо танков.

Кто-то сказал:

– Да уж и некогда. Через час будет собрание.

– Слова «Хорста Весселя» все помнят?

– Помним, – ответили хористы устало.

– Начинаем с «Хорста Весселя», очень приподнято, с силой, – негромко сказал Трушницкий, – а потом наш гимн... Да, да, – словно угадав возражения хористов, еще тише добавил Трушницкий. – Все понимаю, друзья. Но таково указание руководства: сначала немецкую песню, сначала немецкую.

– Тут пластинки трофейные, есть академическая капелла из Киева... Может, послушаем? – предложил кто-то,

– А граммофон? – спросил Трушницкий. – И потом – репертуар каков?

– Классика, – ответил ведущий бас. – Украинская классика. А патефон достал Пилипенко.

Хористы собрались в тесный круг, завели патефон и поставили пластинку. Когда обязательное змеиное шипение кончилось и зазвучал спокойный бас Паторжинского, все сникли, словно бы стали меньше ростом.

Музыка кончилась, все долго молчали, а потом Трушницкий, жалко откашлявшись, сказал:

– Давайте-ка в качестве спевки «Аве Мария»...

Он устыдился слов «в качестве», но понял, что они рождены его растерянностью и острым чувством своей одинокой ненужности, и, чтобы хоть как-то подавить это **безнадежное** чувство свое, взмахнул рукой, приглашая музыкантов к работе...

И полились сладкие звуки вечной музыки.

«Это память по детям пана Ладислава и старухе, – ужаснулся вдруг Трушницкий, – поэтому тянет меня к ней, по ночам ее слышу. Я ведь виновен во всем, один я, – признался наконец он себе, продолжая рождать рукою слитный хор голосов, возносивших любовь святой деве, – только я и никто другой. Господи, прости меня, во мне ведь не было дурного умысла, ведь я же только просьбу выполнил...»

Тонкий слух Трушницкого резко ударило – кто-то хлопнул дверью и, грубо топая сапогами, пошел по залу. Трушницкий обернулся: ему улыбался Лебедь – раскрасневшийся, молодой, в щегольском мундире.

– Послушайте, Трушницкий, – не обращая внимания на великую музыку, сказал он, и никто бы его не услышал – только музыкант может отличить среди сотни инструментов в оркестре неверный фа-диез от фа-бемоля, а уж резкий, высокий голос, столь противный духу и смыслу музыки этой, тем более. – Послушайте, – повторил Лебедь, – прервите репетицию, надо съездить в театр. Мы назначили вас главным режиссером. Или главным дирижером – что у вас считается важней?

Хористы – вразнобой, набегая друг на друга замиравшими тактами, – замолчали.

– Надо завтра дать спектакль, – продолжал Лебедь. – Наш. Национальный. Поехали. Пусть, тут вместо вас кто-нибудь помахает. – И он засмеялся.

...Много ли надо хормейстеру? Только что казнился он, и плакал, и ненавидел Лебеда, – каждый норовит свою вину переложить на другого, на того, кто **больше**, а вот пришел **он**, Лебедь этот, и сказал про театр и про то, что он, Трушницкий, назначен главным режиссером, и уж не кажется лицо «идеолога» таким красным, сытым, самодовольным, и уж видятся хормейстеру молодые морщиночки под глазами, и допускает он мысль, что морщинки эти рождены страданием, таким же глубоким, каким видится Трушницкому его собственное страдание, и не понимает он, что разница между понятиями «**страдание**» и «**неудобство**» недоступна Лебедю: каждому уготовано и отпущено только то, что отпущено и уготовано, – а что Лебедю, кроме бандитства и злобы, уготовано?

...В театре было сумрачно, тихо, торжественно: Трушницкий прикоснулся пальцами к тяжелому, цеплючому бархату кресла, и вдруг дикая, забытая, мальчишеская гордость взметнулась в нем, и он услышал многоголосый рев зрителей, и увидел себя – во фраке, за дирижерским пультом, со взмокшим лбом, в низком поклоне, и почувствовал он глаза

музыкантов, их быстрые пальцы, легко державшие смычки, которыми они мерно ударяли по струнам, – оркестр только так выражает свой восторг и поклонение дирижеру.

Трушницкий всхлипнул, схватил горячую руку Лебеда своими холодными, длинными и быстрыми пальцами, сжал ее и прошептал тихо:

– Спасибо вам, милый! За все огромное вам спасибо!

Но когда он произнес это, перед ним снова появилось лицо пана Ладислава, который рвался к детям. Трушницкий напрягся весь, и отогнал это видение, и сказал себе, что это от дьявола. Ведь только он, только дьявол часть выставляет впереди целого. Эта мысль родилась мгновенно, и он так же мгновенно придумал стройную логическую формулу, по которой все ладно и разумно выстраивалось: страдание одного угодно господа во имя счастья тысяч. Страдание пана Ладислава, который дал ему, Трушницкому, кров, и поил на кухне самогоном, и оставлял от своего скромного ужина свеклу и ломоть хлеба, было, по логике человека, получившего во владение театр, угодно всевышнему. И ни при чем здесь он, Трушницкий, – он только выразитель воли, пришедшей **извне**.

А как же со слезинкой обиженного младенца, за которую можно и нужно весь мир отдать?

Член Союза советских писателей Тадеуш Бой-Желенский, в списках бандеровцев 777-й, не успел уехать из Львова, потому что его огромная библиотека, которую он подбирал более двадцати лет, работая над переводами Стендаля, Бальзака, Доде, Мериме, Диккенса, Теккерея, была еще не до конца упакована: никто не мог предположить, что немцы ворвутся во Львов через неделю после начала войны.

А библиотека стала частью самого Бой-Желенского, каждая книга была для него как любимый собеседник, добро открывающий свои сокровенные знания и чувства: он не мог оставить своих друзей – он не питал иллюзий по поводу того, что может случиться с книгами, когда придут нацисты.

Ночью тридцатого, поняв, что он не успеет собрать свою библиотеку и не сможет отправить ее в тыл, Бой ходил вдоль стеллажей, доставал книги, оглаживал их, словно котят, потом раскрывал страницы религиозным, легким, благоговейным движением, касался ласковым взглядом строк, впитывал их, находя успокоение в высокой мудрости знаний и чувств.

– Бедные друзья мои, – шептал он, – любимые мои, я не оставлю вас.

Глаза его натолкнулись на строку: «Родители передают детям не ум свой, а страсти». Бой улыбнулся, подумав, что друзья в отличие от родителей отдадут другим свои мысли, а мысли выше страсти: отдать мысль может лишь тот, кто свое «я» считает принадлежностью мира и думает не о себе – обо всех.

Он начал доставать книги, шептать вслух номер страницы, называть строку и читать фразы: раньше он так гадал себе по библии. Он помнил несколько таких гаданий, в самые трудные дни его жизни: «Что город, разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим»; «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих»; «Лучше открытое обличенье, чем скрытая любовь»; «И нет власти... над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого».

Бой открывал страницу, читал строки – они были странные, несвязные, но в этой странной несвязности он чувствовал ту тревогу, которую испытывали его друзья; они словно бы молили его: «Беги, спасись, мы не ропщем. Мы знали целые века безумий и крови – мы пережили это. Мы пережили это оттого, что люди, создавшие нас, смотрели поверх барьеров времени, они думали о **конечной** правде, а не о минуте несправедливости. Уйди, и ты вернешься; оставшись, погибнешь».

Бой ходил вдоль стеллажей, на которых стояли его старые друзья, и качал головой, словно бы отвечая им: «Я знаю, что ваши слова искренни, но когда я уйду, в сердца ваши придет разочарование: часто мы говорим только для того, чтобы услышать возражение, мы

ждем несогласия, а ведь согласиться всегда легче. Когда раненый боец просит друга уйти, чтобы тот мог спастись, он искренен в своей просьбе, но как же он бывает благодарен, если друг не уходит, и остается с ним, и встречает гибель вместе. Умирать страшно одному, на миру смерть красна, на миру легче **отдать** себя, ибо ты веришь, что это запомнят другие и память о тебе останется – значит, останешься и ты, смертью смерть поправ».

Бой-Желенский часто думал, как условен был тот мир, в котором он начал свою жизнь. Со многими людьми сводила его судьба; переводы западноевропейской классики на польский язык снискали ему известность; его исследования о Мицкевиче и Пушкине вызвали яростные споры в Польше: одни считали эти работы новым словом в литературной критике, другие не оставляли камня на камне, обвиняя писателя в предательстве «национальных интересов»; его антиклерикальная публицистика была как бомба, а известные слова Льва Толстого: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев», повторенные Бой-Желенским в разгар националистического террора пилсудчиков, когда пылали хаты украинских крестьян на Галичине, сделали его имя символом мужества и честности для коммунистов и «гнусной измены» – для польских черносотенцев. Условность и странность того мира, который обступил Бой-Желенского душной толпой издателей, цензоров, кредиторов, оппонентов, редакторов, должников, журналистов, сановно-шляхетских «ценителей», критиков, агентов полиции, поклонниц, завистников, казались ему чем дальше, тем все более зловещими и безысходными. Он, когда только начинал, думал остаться навсегда свободным в своих мнениях, привязанностях, манерах. Но нет, чем большей становилась его известность, тем меньше оставалось ему свободы, тем больше он делался рабом представлений, составленных о нем людьми. Огромная мера ответственности, которая обычно отличает истинного писателя, ранимость, желание сделать добро всем, кому только можно, подвигали его на то, чтобы не только быть тем, кем он был, но и казаться таким, ибо люди не умеют распознавать истину вне ее хрестоматийного проявления, удобного и понятного для каждого. Мораль, созданная людьми безнравственными, мораль банкира, воеводы, ксендза, требовала от высоконравственного Бой-Желенского внешнего соблюдения условностей. Ему не нужно было это и грязно, он не желал быть двуликим Янусом; он не искал себе снисхождения; он судил каждый свой поступок судом чести. Условность мира капитала, в котором он жил, однако, не позволяла ему назвать подлеца подлецом, потому что сто других людей не знали, что подлец и есть подлец на самом деле. В их глазах, назови Бой подлеца подлецом, он немедленно стал бы «зазнавшимся метром». Он не мог расторгнуть договор со старым издателем, который многие годы обворовывал его, потому что все расценили бы это как рвачество и алчность. Он не мог расстаться с женщиной, которую разлюбил, потому лишь, что люди, **читатели**, могли посчитать его прелюбодеем, а какая вера прелюбодеем? Был бы он хирургом, финансистом, актером – ему бы простилось, многое бы простилось, но он был вооружен Словом, которое всегда есть Закон, ибо с него все начинается и все кончается им.

Бой постепенно все дальше и дальше уходил от встреч, пресс-конференций, торжественных застолий, щедро оплаченных банковскими меценатами, велеречивых дискуссий, официальных завтраков, – он искал себя и находил себя, чувствовал свободным в кругу молчаливых друзей – книг. Он давал им вторую жизнь, занимаясь переводом, он знакомил далеких, умерших писателей с миллионами новых товарищей, верных и благодарных, – он отдавал их в руки читателей, а сам оставался в тени, и постепенно вновь обрел самого себя и ощутил прежнюю, утерянную было свободу. Одно время он был на грани внутреннего краха: люди, казавшиеся друзьями, гостили у него, радовались его радостям, горевали о его горестях, но они уходили в свои дома, когда наступало время уходить; считается ведь, что воспитанному человеку нельзя засиживаться допоздна, а он просил их задержаться, но они думали, что он просит их задержаться из приличия, а кто и понимал, что не из приличия Бой просит об этом, все равно уходили, потому что мир, словно соты, составлен из ячеек, каждая из которых живет своим, но подчиняется одной, общей для

всех морали: дома была жена, которая волновалась, мать, которая хворала, дети, которые ждали.

– Я-то не уйду, мои любимые, – тихо сказал Бой-Желенский, оглаживая корешки книг, – куда мне от вас уходить?

...Трагизм творчества в условиях одиночества и разобщенности он понял, когда к нему пришла слава. В том обществе, где труд не стал призванием, обычные люди, которым не дано создавать Словом, Нотой или Резцом, живут унылой, мелкой жизнью, в них нет постоянного разрыва между испепеляющим, высоким **ожиданием** начала творчества и застоьем, смехом детей, ворчанием (поцелуем) жены, ссорой с соседом (инженером, врачом, пахарем, сапожником). Честно проработанный день с его заботами и волнениями отходит и забывается, когда человек переступает порог дома, ибо здесь он находит **отвлечение** от забот и трудов. А творец, если он служит передовой идее добра, ждет и жаждет, все время жаждет и ждет, – когда ласкает сына или завтракает с женой, слушает граммофон или зашнуровывает ботинок, стоит на тяге или окапывает куст черной смородины. Это тяжело для него; еще тяжелее для окружающих.

Бой-Желенский услышал протяжный звонок в передней, подивился тому, кто бы мог прийти к нему ночью, и, поставив на место томик Мериме, пошел открывать дверь. Он никогда не спрашивал, кто пришел к нему, потому что навещало его множество людей, особенно часто заглядывали студенты, располагались у стеллажей и читали, читали, читали, а он был счастлив, глядя на сообщество друзей-единомышленников, которым было хорошо здесь; ему становилось еще лучше, чем им, ибо он воочию ощущал свою нужность.

Бой открыл дверь. На пороге стояли люди в немецкой форме, с оуновскими трезубцами. Один из них – потому, верно, что Бой открыл дверь, не спрашивая, кто пришел и зачем, – сказал невпопад:

– Как у вас с водопроводом? Трубы на кухне, кажись, текут...

Бой все понял сразу: он знал, что, когда **приходят**, обычно представляются водопроводчиками или газовщиками. Он горько усмехнулся, почувствовав свою высокую правоту перед друзьями, которых не оставил в беде.

Тот, что показался ему самым длинным, словно связанным из канатов, оттолкнул низкорослого плечом, вошел в прихожую, схватил Бой-Желенского за воротник рубахи, приблизил к себе и белыми, истеричными, сухими, истрескавшимися, сивушными губами прошептал:

– Ну, собака, гад, нелюдь, ну, кончилось твое время!

Потом он отшвырнул Бой-Желенского, и тот упал, а жилистый начал бить его ногами. Он бил его ногами, как мяч. Когда Бой ударился о стеллаж и локтем разбил стекло, тогда только закричал:

– Книги, осторожней же, книги!

Нельзя называть свое горе или любовь по имени. Никому нельзя показывать свою боль, а уж палачу – особенно. Палачи быстро понимают, где она, боль человеческая. Жилистый ударил по стеллажам прикладом автомата, молочное, игристое, сверкающее, темное стекло обрушилось на пол. Маленький пыльный человек вывалил книги на пол и стал бить их ногами, как только что жилистый бил Боя. И Бой понял, что ничего страшнее того, что свершается сейчас, уже не будет, и слова больше не произнес, и когда его пытали в мрачном доме «бурсы Абрагамовичей», и когда Лебедь прижигал ему губы горячей сигаретой, и когда его лицо опускали в грязный унитаз, и когда вели на Кадетскую гору, и когда грянул залп и пули разорвали грудь, тогда он даже облегчение испытал: «Слава богу, кончилось...»

...А для других начиналось только...

(Два года назад всех профессоров Ягеллонского университета гитлеровцы арестовали, бросили в концлагерь и расстреляли в первые же месяцы оккупации Кракова. В мире поднялась волна протеста, это мешало дипломатам фюрера в Вашингтоне, Стокгольме и

Берне, **надоедливо** мешало. Во Львове решили сделать все быстро, сразу, как в хирургической камере. Только теперь уж не руками своих «хирургов», а руками бандеровцев: на них – при случае – свалить можно будет вину.

В течение двенадцати часов бандеровцы и гитлеровцы расстреляли, повесили и забили насмерть тысячи украинцев, поляков, русских, евреев и цыган. В городе слышалась пальба, крики; пахло кровью и дымом – пришло «освобождение».)

27. МЕХАНИКА МЫШИНОЙ ВОЗНИ

Первым о вступлении «Нахтигаля» во Львов и о том, что там произошло тридцатого июня, сообщил в свою берлинскую газету военный корреспондент Трауб. Задумчиво глядя на черную мембрану телефона, он медленно диктовал в редакцию из своего номера, прислушиваясь к далеким выстрелам на улицах и к быстрым шагам патрулей, которые то и дело проходили под окнами гостиницы, занятой немецкими офицерами.

«Сегодня вечером, – диктовал Трауб, – во Львове состоялось собрание ста представителей украинцев западных земель. Собрание открыл Стецко. Передавая собравшимся поздравления от Бандеры, он прочел акт следующего содержания:

«Украинская националистическая армия будет бороться за соборную Украинскую державу, за новый порядок в Европе и за великого фюрера Адольфа Гитлера.

Слава Степану Бандере!»

Следом за Стецко выступил отец Гриньох, являющийся духовником «Нахтигаля», и передал собравшимся пламенный привет от коменданта легиона Романа Шухевича. Был прочтен указ Бандеры о назначении Ярослава Стецко председателем краевой управы. Отец Слипый передал собравшимся благословение митрополита Андрея Шептицкого.

Православный отец Поликарп заверил собравшихся, что и восточные украинцы, все, как один, пойдут за великим фюрером Адольфом Гитлером.

В заключение собравшиеся приняли приветствие Бандере и Шептицкому».

Трудно предположить развитие дальнейших событий, если бы эта корреспонденция была единственной, попавшей в поле зрения официального Берлина.

Однако Бандера, прислушавшись к советам мил-друга Шухевича, решил опередить события. Именно поэтому легионеры «Нахтигаля», ворвавшись на радиостанцию, провели к микрофону диктора, и он под пистолетом после торжественных позывных «Всем, всем, всем!» за три часа перед тем, как Трауб передал свою корреспонденцию в Берлин, прочел декларацию Бандеры.

Естественно, ни в Москве, ни в Киеве, ни в Берлине, ни в Лондоне, ни в Берне не обратили внимания на истеричное заявление неведомого «украинского освободителя», гитлеровского «карманного квислинга».

Однако Европа того периода помимо сил реальных, государственных, включала в себя силы иллюзорные. К числу таких «государств» относились Словакия Тиссо и Хорватия Анте Павелича, в фарватере нацистской политики следовали фашистские режимы Венгрии, Румынии и Болгарии.

Когда чиновники венгерского МИДа услышали о провозглашении «независимой Украины», они срочно приготовили доклад заместителю министра иностранных дел.

– Как ты оцениваешь этот факт? – спросил чиновника заместитель министра, расхаживая по громадному кабинету, отделанному тяжелым мореным дубом.

– Трудно утверждать, ваше превосходительство, что-либо определенное. Увы, Берлин ставит нас в известность далеко не по всем своим запланированным мероприятиям.

– Я думаю, с Бандерой легко будет договориться о пересмотре границы в нашу пользу, учитывая нашу преемственность по отношению к Австро-Венгерской монархии. Я изучил карту: примерно три тысячи квадратных километров нынешней украинской земли должны

отойти к нам. Я пока не ставлю в жесткой форме вопрос о других землях, но Буковина и прилегающие районы явно венгерские.

– Думаю, что Берлин на это не пойдет.

– Думать надо после того, как сделан первый шаг.

– В таком случае первым шагом должно быть признание «самостийной и соборной Украины».

– Мы пойдем на это после того, как ты проведешь первые консультации с властями во Львове.

– Да, но они пойдут на консультации только после того, как мы признаем их.

– Разве среди всех дипломатических хитростей нет такой, которая бы позволила совместить два эти мероприятия? Словом, действуй. Возьми эту карту. – Заместитель министра тронул мизинцем большую старую карту с районами Украины, закрашенными в ярко-синий цвет – видимо, он это сделал только что. – Не откладывай на завтра то, что можешь начать сегодня.

Румынский МИД прореагировал на сообщение из Львова почти так же, как венгерский. Заведующий восточным отделом тоже достал из ящика письменного стола карту, тоже очертил районы Буковины, которые, по его мнению, должны войти в состав великой Румынии, с той только разницей, что карандаш для этой цели он использовал ярко-оранжевого цвета.

Заведующий восточным отделом понимал, что Венгрия, «заклятый союзник» по Тройственному пакту, наверняка созвала сейчас совещание. Поэтому Бухарест решил действовать быстрее: был приглашен немецкий посланник, и (о постоянная повторяемость ситуаций!) перед ним была разложена карта с территориальными претензиями «Великой Румынии» к «соборной Украине».

– Нами движет чувство исторической справедливости, – заметил дипломат, вхожий к Антонеску.

– Не слишком ли все это рано? – усмехнулся немецкий посланник.

– Почему? В дипломатии, – ответил шеф восточного отдела, – опасно оказаться последним.

Дипломат явно пережимал, и германский посланник понял это. Однако сам «жать» не стал – незачем. Следовало щадить самолюбие румынского дипломата: он считает себя римлянином, представляет не что-нибудь, а великий мир латинян в Тройственном союзе. Муссолини выродился в политикана, им не владеет великая государственная идея, и лишь Антонеску думает о возрождении могучего государства румын, которое будет доминировать на Черном море и контролировать проливы, ключ к Средиземноморью. Пусть себе думает. Рано или поздно румыны будут оттеснены с побережья Черного моря, которое станет внутренним, великогерманским.

– Я снесусь с Берлином, ваше превосходительство, – пообещал посланник.

На этом аудиенция окончилась. Шеф восточного отдела считал ее важной: он «застолбил» Буковину первым.

...В Загребе и Братиславе сообщение из Львова изучалось еще более пристально, но уже в силу причин открыто амбициозных, **маленьких**. Марионеточные государства Хорватии и Словакии переживали особую пору «самоосознания». Это «самоосознание», естественно, не могло быть приложимо к народам, которые отдавали себе отчет в том, что живут они под германской оккупацией. Такого рода «государственное осознание» следует определять как бюрократическое, или, скорее, плутократическое. Маленькие бездарности, болезненно честолюбивые политиканы, клянясь национальной идеей, служили чужеземцам, подчинялись беспрекословно их приказам, старательно организовывали «всеобщенациональные волеизъявления» дружбы к «великой Германии» и старались при этом побыстрее и поухватистей устроить свою жизнь – в расчете на неизвестное будущее:

квислинг, приведенный к власти оккупантами, а не пришедший к власти по закону, живет в постоянном ощущении неуверенности в завтрашнем дне.

Поэтому иллюзорная «независимость» бандеровской Украины рассматривалась здесь на еще более низком уровне теми в первую очередь, кто рассчитывал на посольский чин, на получение соответствующего отдела в «министерствах» иностранных дел, государственной безопасности, обороны, торговли, транспорта, культуры и связи.

Поэтому реакция режимов Павелича и Тиссо была несколько более медленной: следовало отладить «цепь интересов» – тот, кто мечтал о погонах «чрезвычайного министра и полномочного посла», должен был найти союзников, пояснить им выгоду своего назначения; союзник этот, в свою очередь, призван был заинтересовать тех, кто метил на новый департамент, и среди трех-четырёх десятков плутократов обязательно должен был отыскаться такой, который бы мог обсудить эту идею непосредственно с Тиссо или Павеличем.

Однако на соответствующе низком уровне – с секретарями германских посольств – этот вопрос предварительно обсуждался, а секретарь, в отличие от посла, не о политике думает, а о себе, о своей **продукции**, о том, насколько оперативно он отправит в Берлин запись беседы с ответственным чиновником той страны, где он аккредитован. Причем в этом сообщении он, опять-таки радея о своей карьере, а никак не о государственной политике, будет многое выдумывать, приписывать себе лавры **узнавания** и **обращения**, и в силу этого его сообщение может оказаться в центре внимания руководства восточного департамента МИДа, а там повторится та же история: чиновник, к которому попала эта запись, проявит максимальную оперативность, ибо думать будет об обращении **этой безделицы** в свою выгоду: маленькие чиновники Риббентропа любили дипломатические **интриги** и часто повторяли, что политика начинается с пустяков, которые вовремя замечены, верно оценены и **запущены** в нужном направлении.

Так и случилось: пока посланники в Будапеште и Бухаресте составляли свои пространные меморандумы, рапорты быстрых секретарей из Братиславы и Загреба уже легли на столы чиновников МИДа.

Люди Риббентропа поняли: пришел час их торжества. Их удар по аппарату Розенберга – новому министерству (как-никак конкурент) будет сокрушающим.

В это же время сотрудники Гимmlера – особенно Риче, адъютант Гейдриха, – напряженно ждали, когда все документы придут в МИД, к Риббентропу: секретарь германского посольства в Загребе был агентом шестого управления РСХА и заранее оповестил Шелленберга, что беседа о «самостийной Украине» состоялась с директором восточноевропейского отдела МИДа «Независимой державы хорватской», и подробная запись ее отправлена в Берлин с нарочным. (Против того, чтобы секретарь **расписал** эту беседу своему формальному начальству в МИДе, ведомство Гимmlера не возражало; даже наоборот – всякого рода липогонство поощрялось, ибо способствовало росту своего агента в **чужом** ведомстве.)

...Узнав, что все документы о «независимой Украине» пришли в МИД, адъютант Риче доложил об этом Гейдриху. Тот предупредил о случившемся Гимmlера, который собирался на просмотр нового пропагандистского фильма о «кровавых злодеяниях большевиков», подготовленного Геббельсом. Гимmlер попросил секретаря вызвать его к аппарату, если позвонят с Вильгельмштрассе.

Риббентроп позвонил через сорок минут.

Через час он был у Гимmlера.

Через два часа они отправились к фюреру.

(Интрига, затеянная штандартенфюрером Риче, дала результаты: после радиообращения Стецко высшие чины рейха узнали о Бандере.

Риче верно учел механику гитлеровского аппарата – он был повышен в звании, ибо Гейдрих не мог не оценить его ловкости, поскольку тот оказал помощь бонзам в постоянной борьбе амбиций.)

Гитлер бушевал. Он метался по своему громадному кабинету, выложенному серыми мраморными плитами, и выкрикивал:

– Я начинаю ощущать свое бессилие! Меня хотят поссорить с армией! Меня хотят поссорить с нацией! Где, когда, кому и при каких обстоятельствах я обещал независимость Украины, скажите мне?! Я всегда утверждал, что земли восточнее Одера, вплоть до Урала, подлежат колонизации. Эти земли будут отданы немецким солдатам и колонистам!

Гиммлер посмотрел на Риббентропа. Тот соболезнующе вздохнул:

– Мой фюрер, я возмущен не меньше, чем вы. Когда я обменивался мнениями по этому вопросу с рейхсфюрером, он понял мое негодование, но, право, армия в этом деле играет вторичную роль. Идея, как мне представляется, исходила из нового министерства восточных территорий. Я понимаю рейхсминистра Розенберга... Его могли подвести сотрудники...

Гиммлер заметил:

– Я согласен с Риббентропом во всем, мой фюрер, кроме одного – абвер в этой гнусности сыграл роль далеко не вторичную. Особая линия Канариса, который рвется в политику, вместо того чтобы заниматься своим прямым делом, давно беспокоит меня...

– Не трогайте армию, – резко бросил Гитлер. – Сейчас не время!

– Да, но...

Фюрер обернулся к Шмундту, своему адъютанту, белый от ярости, с глазами, запавшими после бессонных ночей:

– Розенберга ко мне!

Он проводил стройную, прямую и недвижную спину Шмундта воспаленными глазами, казавшимися сейчас круглыми из-за резких теней, их окружавших, и обернулся к Гиммлеру и Риббентропу:

– Гиммлер, по-моему, вам следует вылететь к гауляйтеру Коху. Он представляет интересы партии, а не мрачные утопии Розенберга. Украинцы стреляют в наших солдат, они **воюют** с нами, они защищают Советы, а Розенберг говорил, что они будут подносить нам цветы! Словом, наведите там порядок. И вызвать в Берлин всех чиновников, которые допустили это славянское свинство! Виновных растоптать!

Бормана не устраивал блок Гиммлера с Риббентропом: слишком сильные ведомства, представляемые столь ловкими игроками, могли оттеснить его на третий план.

Поэтому Борман нашел возможность проинформировать Геринга и Розенберга о негодовании фюрера в связи со львовским «свинством».

Геринг и Розенберг встретились с Кейтелем: надо было выработать общую позицию, конечная цель которой заключалась в том, чтобы не дать возможности Гиммлеру сделаться **первым** ...

28. ГАННА ПРОКОПЧУК (VI)

Эссен и его сотрудники довольно быстро осмотрели маленький лагерь – бараки такого же типа, как тот, где жила Ганна. Построены лагеря были наскоро, колючая проволока кое-где провисла, провод от генераторной станции был слишком заметен – почти тридцать метров тянулся по территории зоны, поддерживаемый громоздкими бетонными балками.

– Обратите внимание на это уродство, – попросил Эссен Ганну.

– Я уже думала. Только я не понимаю назначения этого провода.

– По нему идет ток.

– Зачем? Освещение привязано к движкам на другой половине территории.

– Это иной ток, – поморщился Эссен, – высокого напряжения. Продумайте, как его загнать в подземный кабель.

– Хорошо.

Все эти дни в пыли, спешке, постоянных переездах, среди лязга танков, громкого смеха чумазных солдат с обгоревшими под нещадным солнцем лицами Ганна смотрела только на Эссена, смотрела на него преданными глазами, стараясь не думать о том, что они здесь делают и зачем она с ними. Она знала только одно: этот человек отвезет ее в Краков, этот, именно этот человек разрешит ей найти мальчиков. Ганна боялась думать о том, что может быть потом; она старалась гнать от себя мысль, что Ладислав не позволит ей взять с собой детей; она была даже готова попросить Эссена, чтобы мужу **приказали**, если он сам не согласится уехать с нею вместе с детьми и со старухой. В конце концов он хороший лесной инженер, он специалист, немцы в нем заинтересованы. Глядя на Эссена, Ганна заставляла себя считать его неким устойчивым поплавком в темной, яростной быстрине (ее несколько раз возил с собой на рыбалку капитан Морис Грашан – он погиб под Дюнкерком; видимо, он был серьезно увлечен Ганной, потому что писал ей с фронта письма, и ей же пришла похоронная из военного министерства – такова была воля покойного. Образ поплавка на коричневой, пенной быстрине, где Грашан ловил рыбу, казался Ганне с тех пор неким символом спокойствия. Грашан, пожалуй, был единственным мужчиной, который не раздражал ее: он не жаловался на свою первую жену, не пытал Ганну, любит ли она его и лучше ли он других мужчин; не предлагал жениться, просто звонил, спрашивал, свободна ли она и нет ли у нее желания провести вместе день).

Ганна выполняла все, что Эссен просил ее сделать, выполняла быстро и четко, и он успевал проверять ее работу, несмотря на огромное количество забот, свалившихся на него (пищевые блоки для лагерей надо было отнести подальше от домов охраны СС; крыши офицерских коттеджей сначала были спроектированы из гофрированного железа, но штаб обергруппенфюрера Поля попросил срочно изменить расчеты под черепицу – немцы, которые будут нести здесь службу, должны чувствовать себя как на родине, в привычной обстановке; представитель рейхслайтера Бормана обязал Эссена предусмотреть строительство клуба в комплексе СС – иначе негде будет проводить торжественные митинги и совещания членов НСДАП). Наброски Ганны нравились Эссену своей экономичностью и изяществом. Ганна заметила, как в глазах других членов их группы появлялась постепенная и нескрываемая неприязнь к ней. Сначала ее не замечали, она была вроде чемодана – немного мешает, занимая место, но чемодан он и есть чемодан, надо же в чем-то возить вещи. Однако постепенно ее **осознавали** как человека, который стал ближе всех к шефу, но при этом как человека чужой крови, иностранного специалиста, лишенного каких-либо прав в рейхе.

Ганна отдавала себе отчет в том, как это опасно, но когда поняла, что без мальчиков ей незачем жить, ощущение личной опасности притупилось, словно у той козы, которая не убегала в лес, принимая на себя возможный выстрел, потому что рядом с тропой стоял ее маленький.

Когда их группа отправилась посмотреть «действующий объект» в Освенциме, Эссен какое-то время колебался, брать ли с собой Ганну: в конце концов она увидит там своих соплеменников, но потом он решил обязательно взять, чтобы до конца убедиться в надежности своего нового, талантливое, столь неожиданно доставшегося ему сотрудника.

Офицеры СС провезли группу Эссена через леса, сосновые, мачтовые, в которых струился тяжелый, размороженный запах ладана. Дорога была белая, песчаная; в лесу гомонили птицы; их, казалось, было огромное множество.

Лагерь открылся внезапно: железнодорожный путь, несколько составов, высокая труба, ограда на бетонных, частых опорах, уютные коттеджи СС, окруженные маленькими, точно распланированными садиками, бараки в зоне и люди с пепельными, мучнистыми лицами, которые что-то делали за проволокой, но понять, что именно они делали, Ганна не смогла,

потому что сразу же увидела среди арестантов высокую фигуру в полосатом одеянии, непропорционально большое лицо и громадные руки, судорожно сжимавшие металлические держалки тяжелой тачки.

– Стойте! – закричала Ганна.

Шофер от неожиданности затормозил. Ганна выскочила из машины, побежала к проволоке, услышав тонкий голос Эссена: «Там ток, не прикасайтесь, там ток!»

– Ладислав! – не понимая Эссена, кричала Ганна. – Ладик, Ладушко!

Ладислав съехался, стал вдруг маленьким, до страшного маленьким. Он медленно оглянулся, увидел Ганну и бросился к проволоке:

– Ганнушка, девочка, Ганна!

– Почему?! – кричала Ганна. – Почему ты здесь?! Где мальчики?!

По зоне бежали люди в черном, с собаками на длинных поводках.

– Их арестовали, их увезли! Ганна, Ганнушка, ты здесь! Ищи мальчиков и маму, маму ищи, ее с мальчиками тоже привезли сюда! Ищи их где...

Он не успел докричать, потому что на него бросились собаки, свалили с ног, а Ганна в это же мгновение ощутила на своих руках резкие пальцы, которые больно, до кости, сдавили, потом рванули на себя, и она увидела бешеные лица офицеров СС и Эссена – с таким же мучнистым, как у арестантов, лицом, и больше она ничего не смогла увидеть, потому что потеряла сознание.

...Дух **деятельного** немца, для которого с младенчества главное – работа, проснулся в Эссене, когда гестаповцы, глядя на него с тяжелой неприязнью (они уже сообщили о происшествии в краковское управление РСХА и теперь ждали указаний от бригадефюрера СС Крюгера, который, в свою очередь, сидел у аппарата, дожидаясь распоряжения обергруппенфюрера Поля, записавшегося на прием к Гейдриху), доложили, вынуждены были доложить этому архитектору, старше их по чину в СС, что дети украинки уже ликвидированы и что арестована ее семья по просьбе некоего агента абвера Лебеда как люди, представлявшие угрозу для конспирации ОУН.

– В деле было указано, что мать этих несчастных, – медленно, чеканя каждое слово, произнес Эссен, – работает на рейх и приносит нашему делу существенную пользу?

– Было известно, что она живет в Париже и занимается архитектурой. В деле есть ходатайство Бандеры о передаче госпожи Прокопчук в ведение кадровой группы ОУН.

– Так кто же будет отвечать за то, что меня лишили работника?! ОУН с каким-то вонючим Бандерой или наши бюрократы?!

Офицер гестапо, взглянув на Ганну, лежавшую на диване, сухо заметил:

– Ваш работник уже пришел в себя, штурмбанфюрер.

– Она может прийти в себя, но она никогда не сможет делать того, что делала, и так, как делала раньше! И вы хотите с таким бардаком выиграть битву?! Вы хотите, чтобы тыл отлаженно и четко работал?! Вы хоть думаете о будущем?! Вы можете проявлять трезвость, а не зоологизм?!

Гестаповец взорвался:

– Вы подвергаете обсуждению приказ бригадефюрера Крюгера! Это противоречит нормам партийной этики! Я сообщу об этом руководству!

– Вы?! Это я сообщу руководству, я, а не вы!

...Он ничего не сообщил руководству. Генерал Польш, не входя в объяснения с Эссеном, отдал приказ лишить его звания и отправить на фронт – рядовым. Гейдрих бушевал: «Взять в зону украинку, паршивую славянку?! Как он посмел?! Это ваш либерализм, Польш! Это все ваш либерализм! Эссен стал считать себя незаменимым! Мы найдем тысячу архитекторов, которые будут целовать нам руки за то, что мы дали им возможность работать! Экий благодетель, скажите на милость! На фронт! Под пули! Это хорошо лечит от зазнайства!»

Лишение звания было инициативой Поля – он решил подстраховаться, ибо все знали, как он благоволил Эссену. Надо проявить высшую принципиальность и должную инициативу, чтобы потом Гейдрих не смог при случае ударить его. Гейдрих говорил просто о фронте. Поль в приказе добавил от себя – «рядовым».

...Ганна сделалась странной, тихой, робкой; она постарела за эти дни, лицо ее осунулось, но при этом было отечным; веки тяжело нависли над потухшими глазами, которые казались пустыми, словно бы без зрачков.

Новым руководителем архитектурной мастерской СС была назначена зодчая из Кельна фрау Нобе. В инструктивной беседе, сообщая об откомандировании на высокий пост, обергруппенфюрер Поль сказал, что, видимо, в ближайшие дни большинство мужчин из ее мастерской будут мобилизованы на фронт – наступление на Восток приняло такие грандиозные размеры, что квалифицированных офицеров-строителей не хватает, а строить придется много: русские не оставляют после своего ухода ни одного завода или электростанции.

– Мы будем присылать к вам пленных специалистов, и они обязаны будут делать то, что до сегодняшнего дня делали немцы, – сказал Поль, чувствуя, что он продолжает внутреннюю полемику с несчастным Эссеном. Он любил Эссена, но всему есть предел – подводя себя, Эссен подводил его: надо уметь выбирать, во всем и всегда надо уметь выбирать, точно взвешивая возможности и вероятия. – Они обязаны будут делать для нас то, что мы требуем, не хуже немецких специалистов. Я даю вам все права – добейтесь от них отличной работы. И никаких поблажек! Победитель должен чувствовать свою силу, лишь это внесет точность в баланс наших отношений с побежденными. При этом, естественно, – добавил он, – разумная строгость обязана быть корректной – мы, национал-социалисты, не будем унижать себя неразумной пристрастностью.

В отличие от Эссена фрау Нобе не стала ничего скрывать от Ганны: да, надо быстро спроектировать особые бараки для детей и женщин, да, это концентрационные лагеря, да, они необходимы до той поры, пока не будут выкорчеваны все последыши зла в Европе. Где дети Прокопчук? Это неизвестно, это выясняется, это будет выяснено в зависимости от результативности ее работы. В чем обвинен ее муж? В антигосударственной деятельности, и чем скорее Прокопчук вычеркнет его из памяти, тем будет лучше для нее: враг немецкой нации не заслуживает снисхождения.

Ганна выслушала рубленые ответы пятидесятилетней поджарой немки и ушла к себе в каморку, хранившую горький запах сигарет Эссена.

Она долго смотрела пустыми, недвижимыми глазами на большой белый ватман, прикрепленный мелкими кнопками к доске, сжимала в холодных, малоподвижных пальцах карандаши и не слышала себя, не могла задержать в голове ни одной мысли. Она лишь постоянно чувствовала своих мальчиков, их лица, но в отличие от Парижа, когда мальчики виделись ей бегающими, играющими, смеющимися, сейчас она видела их не живыми, во плоти, а как на фотографиях – испуганные, козы, напряженные глаза, которые ждали, когда же наконец вылетит птичка из объектива.

Ганна видела замершие, вырванные из вечного движения, а потому неживые лица своих мальчиков, и за этими неживыми лицами иногда появлялась высокая фигура их отца в страшной полосатой пижаме, с тачкой в руках, и колючая проволока, и тогда Ганна слышала крик Эссена: «Там ток!» – а после этого в ней снова наступала ленивая пустота, и словно бы кто-то другой тихонько нашептывал ей: «Дальше не думай, не надо».

...Ганна пугалась, когда кто-то подходил к ее двери, сжималась вся, но не могла заставить себя начать работу.

Фрау Нобе, заглянув к Ганне вечером, спросила:

– Обдумывание кончилось? Пора бы начать, Прокопчук. Время не ждет.

– Да, да, – ответила Ганна, – конечно. Я уже все обдумала. Мне только надо собраться, госпожа Нобе.

– Завтра к вечеру покажете первый набросок.

– Хорошо. Обязательно. Я постараюсь.

– Стараться не надо. Нужно сделать.

...И Ганна сделала. Она нарисовала на ватмане странный, со сплошными стеклянными окнами коттедж. Крыша была односкатной, словно изгибчивая женская ладонь, застывшая в молитве, обращенной к солнцу. Возле громадного, во всю стену, окна – маленький бассейн... Ведь малыши так любят плескаться, когда видят воду, и потом вода сильно отражает солнце, оно постоянно в ней, даже если лежат низкие облака. Проволочные ограды Ганна наметила пунктиром, вдали, так, чтобы проволока не была видна детям.

– А что это? – спросила фрау Нобе, ткнув карандашом в странные горки возле бассейна.

– Это песочек, – ответила Ганна. – Маленькие любят строить. Пусть они строят из песка, это ведь недорого – завезти песок.

Фрау Нобе ничего не сказала Ганне. Она вышла из ее каморки в задумчивости: эта украинка нашла форму дома, который улавливает солнце, она осуществила мечту Корбюзье, не понимая этого.

Фрау Нобе посоветовалась с партайляйтером НСДАП, и тот согласился, что украинка, видимо, действительно невменяема, и было принято решение отправить ее в тот концлагерь, где помимо работы в карьерах проводились медицинские эксперименты над душевнобольными.

...А проект Прокопчук фрау Нобе взяла себе. Через год она представила его в министерство пропаганды на конкурс приютов для сирот, потерявших отцов на Восточном фронте, а матерей – под английскими бомбами. «Проект фрау Нобе» был отмечен премией имени Гитлера, но в серийный запуск так и не был отправлен, потому что промышленность рейха целиком переключилась на нужды обороны. А в 1944 году, во время бомбежки, проект сгорел, и не осталось никаких черновиков, а возобновить его так, как это смогла бы Ганна Прокопчук, никто не смог бы – для этого надо было потерять то, самое дорогое, что потеряла она.

Умерла Ганна счастливой: когда ее, вконец изголодавшуюся, взяли для опытов в госпиталь доктора Менгеле, она, ощущая пустоту в себе, увидела наконец своих мальчиков такими, какими оставила – смеющимися, звонкими, пахучими, шершавыми, и ногти грязные, некому им чистить ногти; они всегда так боялись стричь ногти, только она умела это делать, когда выносила их из ванны закутанными в белое мохнатое полотенце, и рассказывала им сказки, и они не плакали, глядя на ножницы, а слушали ее, и глаза у них были такие же, как у того голенастого козленка. Менгеле даже отшатнулся от ее лица – так счастлива была маска смерти, так спокойна она была, и так нежна и благодарна людям, давшим ей возможность увидеть ее мальчиков и пойти к ним легко и просто, по мягкой дороге, в тишине, которая только потому была тишиной, что вокруг пели птицы, великое множество веселых, нежных птиц.

29. ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ

Штирлица разбудил телефонный звонок. Здесь, во Львове, на Красноармейской улице, пока еще не переименованной в Герингштрассе, звонок этот показался ему зловецким. Медленно, как это всегда бывало с ним в минуты опасности, Штирлиц включил ночник и посмотрел на часы: было три часа утра. Телефон звонил по-прежнему, и было что-то обреченное и тоскливое в этой повторяемости звонков и тревожных пауз тишины.

«За мной ничего нет, – решил Штирлиц. Мыслил он в эти мгновения, словно просматривая кинохронику, только в резко убыстренном темпе. – И потом, если бы за мной

что-то было, вряд ли стали бы звонить. Они бы пришли без звонка, бесшумно открыв дверь, как я, ломая Дица».

Он потянулся к трубке, и вдруг кровь прилила к лицу, и он почувствовал, как похолодели пальцы и отяжелел затылок.

«А если это связано с Магдой?»

Он не успел ответить себе, не успел решить, как станет поступать, если случилось что-нибудь с ней, и сразу же поднял трубку:

– Штирлиц.

– Говорит Диц, – услышал он раскатистый, необычайно самодовольный, какой-то **особый** голос гестаповца.

– Пораньше не могли позвонить?

– Не было смысла. Самолеты из Берлина не были высланы.

– Самолеты из Берлина? А в чем дело?

– Это не телефонный разговор. Отправляйтесь к Фохту – это в ваших интересах. А я захвачу Оберлендера и сразу же к Фохту. Мне не хотелось обращаться ни к кому другому: вы знаете эту сволочь лучше всех других. Договорились?

– Хорошо. Только я не понимаю, в чем дело.

– Это не телефонный разговор, – повторил Диц ликующим голосом, – я смог доказать, кто он есть, – и положил трубку.

Штирлиц рывком поднялся с кровати, сунул голову под кран. Вода была ледяная, и вкус ее показался Штирлицу забытым, **русским**.

Одеваясь, он думал о том, что разница между водой в Берлине и той, которую он помнил с юности, была поразительной: дома вода была по-настоящему студеной, с голубинкой, именно с голубинкой, потому что сказать о воде «с голубиной» – нельзя, это слишком неповоротливо. Все то, что неповоротливо, – жалко и глупо, потому что любая неповоротливость – в мысли или движении – прежде всего тщится сохранить достоинство, а постоянное внимание к собственному достоинству вырождается в болезненную подозрительность и неверие в добро.

«Стоп, – остановил себя Штирлиц. – С водой – это я, верно, глуплю. Вода всюду одинакова, мы наделяем ее качествами фетиша в зависимости от нашего внутреннего состояния. И не надо сейчас уходить в эмпиреи, хотя я прекрасно понимаю, отчего я так настойчиво ухожу в них: это я успокаиваюсь и хитрю с самим собой».

Именно в это время Гуго Шульце затормозил возле особняка Боден-Граузе – они возвращались с праздничного приема в люфтваффе, – помог Ингрид выйти из «вандерера», проводил ее до тяжелой, с чугунными **выкрутасами** калитки и сказал:

– Обнимите меня и сыграйте пьяную – сейчас они выскочат из-за поворота.

Ингрид поднялась на носки, обняла Шульце, прижалась к нему. Из-за поворота выскочил «оппель-капитан», набитый рослыми, сосредоточенно **смотрящими** гестаповцами, натренированными замечать все, что нормальному человеку замечать не следовало бы; они увидели тех, за кем следили; шофер сбавил скорость, гестаповцы заученно сыграли «рассеянность», фото, однако, сделали и скрылись за поворотом.

– Сейчас они вернуться, – вздохнул Гуго, – так что продолжайте стоять подле...

– Потереть затылок?

– Я не люблю, – ответил Шульце. – Чему вы улыбаетесь?

– Это я так плачу.

– Курт пока молчит. Если он выдержит до конца, за нами будут следить еще месяца два так же липко, а потом станут работать иначе. Всем нам сейчас надо продолжать контакты, светские контакты. От работы, от **нашей** работы, следует воздержаться.

– Значит, в Краков меня больше не отправят?

– А вы там не были, Ингрид. Вы не были там. Никогда. И никого не встречали.

Ингрид покачала головой:

– Встречала, Гуго... Встречала... Но ведь Курт тоже встречал, а ведет себя достойно...

Она поцеловала Гуго, когда «оппель» вновь показался из-за поворота, и, отворив тяжелую калитку, медленно пошла домой.

...На улицах, когда Штирлиц ехал на квартиру Фохта по пустынному, рассветающему, тихому, тревожному Львову, он увидел, как немецкие солдаты срывали желто-голубые знамена Бандеры и водружали красные, с белым кругом и черной свастикой посередине – трескучие, огромные стяги рейха.

«Это начало драки между ними, – подумал Штирлиц. – Или нет? Или я забегаю вперед и желаемое выдаю за действительное? А почему бы драке не начаться? Армия устремлена в атаку, на тылы ее не хватает. Значит, здесь будет схватка Гимmlера, Бормана и Розенберга. Итак, драка между бонзами возможна? Почему вчера знамена Бандеры пакостили весь город и солдаты СС ходили спокойно и спокойно обменивались гитлеровскими приветствиями с пьяными от крови гитлеровскими нахтигалевцами? Почему вчера патрули были сплошь из «Нахтигалья», а сегодня ни одного бандеровского легионера нет и лишь «черные» на улицах? Почему Диц позвонил мне и говорил ликующим голосом? Почему он посмел сказать о Фохте как о «сволочи», ведь Фохт сейчас над ним, он выше? Нет, это все-таки начало драки. Но если я навязываю мою волю событиям, которые развиваются сами по себе, вне моей логики, тогда я могу здорово проиграть. Диц готов пойти на все ради того, чтобы взять реванш за Елену. Или нет? Мне нельзя проигрывать, потому что очень мало наших людей находится сейчас в таком положении, как я. Но, с другой стороны, если я прав, тогда нам будет очень важно иметь то, что я хочу получить. Риск? Риск. Смешно пугать себя риском».

...Фохт сидел возле телефона, бледный до синевы, тщательно скрывая от Штирлица дрожь в пальцах.

«Кто-то сработал раньше Дица, – понял Штирлиц. – Видимо, армия успела его предупредить. Армия принимает самолеты, без ее санкции ни один самолет, хоть трижды эсэсовский, на военный аэродром не сядет – война есть война».

Штирлиц включил радио, дождался, пока нагреются лампы в большом «Филлипсе», прослушал первые такты музыки, которая становилась все громче, словно бы силясь прорвать чуть трепещущий матерчатый диск приемника, закурил, показал Фохту глазами на отдушину в стене и медленно погасил спичку.

Фохт сначала непонимающе посмотрел на отдушину, а потом в его глазах что-то мелькнуло, но тут же погасло, и Штирлиц понял, почему погасло.

*«Он не верит мне. Надо объяснить ему разницу, – решил он, – разницу Фохт поймет, он знает по своему ведомству, что это такое – **разница**».*

– Сейчас приедет Диц. Он берет Оберлендера, а потом заедет за вами, чтобы отвезти на аэродром, – тихо сказал Штирлиц. – Самолеты из Берлина уже вылетели. Аресты здесь начались? – полуутвердительно спросил он.

– Я не знаю, – ответил Фохт, не разжимая рта (тряслись губы), – меня не соединяют ни со Стецко, ни с Лебедем, ни с Бандерой.

– Спасти вас могу я, – негромко продолжал Штирлиц. – Я спасу вас не из чувства сострадания – я лишен его, это химера. Я спасу вас ради наших интересов, ибо я из политической разведки, а не из гестапо.

– Простите, но я не понимаю, – ответил Фохт, замотав головой. Он начал тереть виски белыми, плоскими пальцами с посиневшими ногтями, и Штирлиц вдруг ощутил, какие они у него холодные и влажные.

– Постарайтесь понять. Времени в обрез. Вы ведь все помните, Фохт. Вы помните все. Значит, вы меня быстро поймете. Я бы мог уничтожить вас в Загребе, когда вы с Дицем заигрались с нашим агентом Косоричем. Я этого не сделал. Почему? Потому, что вы для меня

более выгодны, чем Диц. Он из гестапо, а вы из другого ведомства, которое имеет выходы за границу. Вы мне **выгодны**, Фохт. Если вы согласитесь стать моим агентом – я называю вещи своими именами, у меня нет времени на сантименты – и мы сейчас оформим наши отношения, я дам вам ключ к спасению.

– Что я должен сделать?

– Выполнить формальность.

– Каким образом вы меня спасете? Я не понимаю, о каком ключе идет речь? Я ни в чем не виноват. Я верен фюреру и рейху...

– Это уже песни, – поморщился Штирлиц и взглянул на часы. – Я слышал такие песни, и они меня не интересуют.

– Я офицер, Штирлиц.

– Ну и прекрасно. Тем более – какие же вас сомнения могут мучить? Либо вы становитесь моим агентом, а вы знаете, что мы имеем свою агентуру повсюду; либо с вас срывают погоны СС, и тогда ставьте на себе крест.

– Что я должен написать? – Фохт захрустел пальцами, и Штирлицу показалось, что ломают сухой валежник.

– Я – псевдоним придумайте – обязуюсь выполнять все указания Бользена, знакомить его с теми материалами, которые потребуются, и приглашать к сотрудничеству с ним тех моих подчиненных, которые попадут в сферу его интересов. Все. И подпишитесь вашим псевдонимом. Второй документ – идентичного содержания, только вместо псевдонима напишите свое имя и фамилию и подпишитесь так, как вы подписываетесь на документах.

(Если Штирлиц погибнет, второй документ, будучи переправлен в Центр, даст основания тем, кто придет ему на смену, заставить Фохта выполнять то, что во всех иных случаях будет делать Штирлиц.)

– Я не смогу смотреть в глаза руководству, Штирлиц...

Голос у Фохта был жалобный, и Штирлиц заметил, что раньше голос его казался более низким – вероятно, он очень следил за собой, справедливо полагая, что тембр и мощь голоса играют заметную роль в продвижении по службе в условиях тоталитарного государства, когда кандидаты на «сильных мира сего» изучаются в канцелярии Бормана со всех сторон, причем такие данные, как внешность, голос, обаяние, юмор, заносятся в папки, идентичные тем, где хранятся данные об уме «объекта», о его деловой подготовленности, расовой полноценности, образовании и мере преданности идеалам национал-социализма.

– Я не даю вам ключ, Фохт, – сказал Штирлиц, – я ни к чему вас не принуждаю. Просто я не успею дать вам ключ.

– Я напишу первую расписку, и дайте мне ключ. Тогда я напишу вам вторую... Неужели вы мне не верите?

– Конечно, нет. Вы слишком испуганы для того, чтобы я мог вам верить. Поймите только, постарайтесь понять, что я заинтересован в вашем **выживании**, если я беру у вас расписки. Мы не вербуем бесперспективных людей.

Фохт написал вторую расписку, протянул ее Штирлицу, и зрачки его расширились от ужаса: по улице мчалась машина.

– Это не то. – Штирлиц понял испуг Фохта. – Это грузовик. Итак, когда вас начнут допрашивать в Берлине – да, да, вас будут допрашивать там, – смело говорите, что вы неоднократно просили Дица быть особенно внимательным по отношению к Бандере. Скажите, что, насколько вам известно, не только вы говорили ему об этом. Подчеркните, что Штирлиц был обеспокоен линией ОУН-Б, предписанной абвером, и предупреждал об этом Дица и вас. Настаивайте на том, что вы были убеждены в санкционированности действий Бандеры, поскольку гестапо должно было **знать** все. Вы не могли допустить мысли, что такого рода замыслы – а действия Бандеры были следствием дальнего замысла абвера – неизвестны Берлину. Вы отвечали за **линию**. Ваша линия была абсолютной. Все выявленные

украинские коммунисты, русские, евреи и поляки изолированы и занесены в списки на ликвидацию, нет?

– Далеко не все.

– Утверждайте, что **все**. Материалы готовил Мельник, он ведь отвечал за тыл, не так ли?

– Да.

– А Мельник – человек гестапо в первую очередь, абвера – во вторую. Таким образом, вы выходите из-под удара... А вот это приехал Диц. Ну, ну держите себя в руках. Я дал вам ключ, а вы в самолете отприте дверь в вашу память и выстройте систему **нападения**. Ни в коем случае не защиты. Ясно?

Штирлиц потушил сигарету, закурил новую и улыбнулся Фохту, как мог, мягко.

– Если вы кому-либо, где-либо, когда-либо признаетесь в том, что я вас завербовал, вот тогда ваша карьера действительно кончится, ибо вам – ни в партии, ни у Розенберга – никто не сможет **поверить**, а мы своих агентов в кадры СД не берем. В крайнем случае, если Диц давно капал на вас и что-то смог здесь собрать, обвиняйте его в непорядочности, сведения личных счетов и моральном падении, – он мстил вам за гибель Косорича, ибо вы были свидетелем его провала. Вторым свидетелем провала Дица в его работе с Косоричем был я. Понятно?

...Когда самолеты ушли в солнечное уже, безбрежно-высокое небо – было приказано Оберлендера с его людьми и Фохта отправить в разных самолетах, – Штирлиц улыбнулся Дицу:

– А теперь самое время хорошо позавтракать, нет?

– У меня есть полчаса. Потом надо ехать на допросы.

– Вы провели интересную операцию, дружище.

– В общем, ничего, – согласился Диц и не сдержал горделивой улыбки, хотя улыбаться он сейчас, в минуту своего торжества, не хотел. – Довольно занятная комбинация.

– Ну-ка, научите, как надо делать такие фокусы, – попросил Штирлиц, когда подошли к машинам. – Или нельзя открывать?

– Вам можно, – со значением ответил Диц. – Я подвел к Бандере нашего человека. Он подбросил ему мою идею. Остальное сработало само по себе. Вы верно угадали, Штирлиц, когда говорили о лаврах Бандеры. Не сердитесь, я тогда вынужден был молчать. Мельник – наш человек, и он сейчас будет делать то, что мы ему прикажем. А Бандера – это абвер, это армия, вы же понимаете... Какая на него ставка? Когда мой агент – а это близкий друг Бандеры, это мы разыграли **нотно** – оказал ему, что, только заявив о себе во весь голос, на весь мир, по радио, он сможет пробить наших «бюрократов» и выйти напрямую к фюреру, Бандера поверил.

– Готовьте место для креста, Диц.

– Разве мы сражаемся во имя наград? – Диц вздохнул и сел в машину. – Награды понесут воины СС на черных подушках перед нашими гробами, Штирлиц.

– Завтракать будем у меня?

– Можно у меня. В холодильнике есть пиво, ветчина и сало.

– А в моем – водка, пиво, сало, сосиски и сыр. Едем ко мне, я запасливей... Как фамилия вашего человека?

– Шухевич, – ответил Диц, чуть помедлив.

Он понимал, что, отвечая сейчас Штирлицу, он связывает себя с ним. Но, решил Диц, лучше это сделать самому, чем после того, как Штирлиц **нажмет**. Инициатива должна быть во всем, в предательстве тоже, тогда это и не предательство вовсе, а **стратегия**: на войне побеждает тот, кто остается в живых. На войне всякое может быть: шальная пуля в спину тоже...

30. КУРТ ШТРАММ (VI)

А сейчас наступило спокойствие, блаженное, расслабленное спокойствие, потому что конвоир, поддерживавший его под локоть, свернул налево, и Курт увидел коридор, именно такой, о каком мечтал, – длинный, узкий, с белыми стенами, а в конце, в самом конце, желтоватая, старая, потрескавшаяся кафельная стена.

*«Наверное, мне лучше лечь в кровать и выздороветь, – подумал вдруг Курт, – а уже потом я сделаю то, что обязан сделать. Сейчас я могу не добежать. У меня жар, сильный жар, и конвоир схватит меня за шею и повалит, и они всё поймут и потом лишат меня возможности **распорядиться** собой так, как я обязан распорядиться».*

Он точно ощущал каждый свой шаг, понимая, что расстояние до кафельной стены становится все меньше и меньше.

*«Ты дрянь, Курт. Ты смог обмануть седого эсэсовца, ты написал ему много чепухи о прошлом, это будет смешно, если он прочитает всё Ингрид, Гуго или Эгону. Они поймут, они все поймут, потому что ты **прокричал** им то, чего не мог бы никогда сказать отсюда. Они обязаны понять твой бред, и потомки поймут, вчитавшись в те показания, которые ты дал: чем глупее и нелепее будут твои слова, записанные седым эсэсовцем, тем яснее станет всем, что ты держался стойко и не был мерзавцем и никого не подвел, спасая свою жизнь. Ты смог обмануть седого, а сейчас ты хочешь обмануть себя. Не спорь. Не отговаривайся слабостью, жаром, тем, что рядом конвоир. Когда ты выздоровеешь, их будет двое. И потом, ты можешь бредить и в бреду скажешь про нашего связника из Швейцарии. И про Ингрид. И про Гуго с Эгоном».*

Курт чувствовал, как желтоватая, в трещинах, кафельная стена надвигается на него.

*«Боже милосердный, помоги мне! – взмолился он. – Дай силы мне, боже! Как просто жить на земле, ходить по ней, чувствовать боль, страдать из-за любви, нестись с гор, когда холодный снег игольчато бьет тебя в лицо... Ох, зачем же я думаю об этом?! Я не должен об этом думать сейчас! Я должен думать про иголки, которые входят под ноготь, медленно и упруго раздирая кожу, доходя до мозга и до сердца, и о том страшном холоде, который появляется внутри за минуту перед тем, как они **начинают**. Неужели я обычное животное, для которого возможность дышать, получать похлебку и ложиться на нары важнее, чем право остаться самим собой, распорядиться тем, что мне принадлежит? Ну, Курт, милый, это ведь только одно мгновение ужаса, а потом наступит счастье избавления от самого себя, от того **себя**, который уже увидел внутри трещину, и трещина эта будет все шире и шире, как разводья на мартовской реке после первого теплого дождя, который хлещет тебя по лицу, и ты высываешь язык и чувствуешь, какая холодная и пресная вода падает с небес...»*

Курт обернулся к конвоиру, жалко улыбнулся ему, а потом спружинился, ударил его двумя пальцами в глаз, и почувствовал мокрый холод глазного яблока и горячую трепетность век, и услышал страшный крик конвоира, но это был не крик боли, а скорее крик испуга **не уследившего**, что-то вроде жалобного визга охотничьей собаки, которая потеряла след подранка.

Курт опустил голову, оттолкнулся от пола и понесся, как раньше, когда он приезжал на стадион заниматься легкой атлетикой перед началом сезона в горах, чувствуя, что сейчас, через мгновение, он ощутит удар, и он представил явственно и близко желтую массу своего мозга на желтой стене, и закричал от невыразимой жалости к себе, и услышал, как где-то рядом хлопнула дверь, и понял, что за ним гонятся, и замахал руками, чтобы стена скорее обрушилась на него и расколола его череп, в котором грохочет имя связника, и пароль к Гуго, и адрес, где можно укрыться в случае провала кого-то из них, и любовь к Ингрид...

Тьма.

Избавление.

Ночью в номер Штирлица постучали.

– Кто?

– Из городской управы, – мягко ответили по-украински, – из медицинского отдела, доктор Опанас Мирошниченко.

– Что? – удивился Штирлиц, накидывая халат. – Говорите по-немецки, пожалуйста! В чем дело?!

Он отпер дверь: на пороге стоял черноокий мужчина в расшитой украинской рубашке.

– Извините, забылся, – сказал он, переходя на немецкий, – я доктор, отвечаю за дезинфекцию гостиницы... А вы, господин Штирлиц, совсем не изменились со времен «Куин Мэри».

– Вы тоже плыли на этом судне? В каком классе? – спросил Штирлиц, почувствовав певучую, усталую, но в то же время уверенную радость: слова пароля – слова надежды.

– Во втором... Я стажировался в Штатах. – Это был отзыв.

– Проходите, доктор, – сказал Штирлиц и включил приемник: Берлин передавал победные марши.

31. РАВНОЕ РАВНОМУ ВОЗДАЕТСЯ

Трушницкого арестовали в семь утра. Все было так, как в доме у пана Ладислава: в дверь осторожно постучали, и Трушницкий решил, что это пришел кто-нибудь по поводу завтрашнего, нет, сегодняшнего уже концерта в театре, в **его** театре, и спросил хриплым со сна голосом:

– Кто?

– Из домовой управы, – ответили ему, – у вас трубы лопнули.

Трушницкий оглянулся во тьму комнаты, воды нигде не увидел, но решил, что это могло случиться в ванной, и дверь отпер. На пороге стояли офицер СС, два солдата и один в штатском. Лицо его показалось Трушницкому знакомым, но он не успел вспомнить, где они виделись, потому что солдаты споро втолкнули его в комнату, а человек в штатском вежливо сказал:

– Собирайтесь быстренько, будьте добры.

– А в чем дело? – спросил Трушницкий, леденя от ставшего перед глазами лица пана Ладислава.

– В вашей квартире небезопасно оставаться, в городе начали орудовать красные подпольщики, – объяснил штатский. – Мы увозим поближе к немецким казармам тех, за чью жизнь опасаемся.

– Ой, господи, а я уж перепугался, – вымученно улыбнулся Трушницкий, теперь только ощутив дрожание под коленками. – Одну минуту, господа, прошу садиться, я мигом.

Он быстро оделся, потер ладонью щеки – побриться бы, да времени нет, – господи, за что ж на него красным руку поднимать? Надо поскорее съехать отсюда, заботливый народ немцы, ничего не скажешь, охраняют цвет нации, понимают, что без нас им ничего здесь не сделать, привезут на другую квартиру, там и побреюсь...

– Господа, а как же с вещами? – спросил он. – Тут у меня партитуры.

– Один из солдат останется, сложит все в чемодан и привезет вам.

Трушницкий ничего не понял даже тогда, когда машина, в которой он был до странного **тесно** зажат между офицером и штатским, въехала в тюремный двор. И лишь когда его вытолкнули из машины, и к нему подошел эсэсовец, и ударил в спину, кивнув головой на кованую дверь, тогда лишь Трушницкий увидел решетки на окнах, высокие стены, вышки с пулеметами и трупы, аккуратно, словно дрова, сложенные в тени, под навесом.

Он хотел идти, однако ноги не слушались: колени, казалось, выгнулись в обратную сторону, и ему пришла дикая мысль, что если он сделает шаг, то это будет шаг назад, а не вперед.

Допрашивал его высокий эсэсовец, мгновенно менявший улыбку на тяжелую маску гнева. Тот, что в штатском, обращался к нему почтительно: «Господин Диц». Трушницкий наконец вспомнил: штатский был секретарь Мельника, тихий и быстрый Чучкевич; его в бандеровских кругах называли «мышшонком».

– Послушайте, Трушницкий, – быстро заговорил Диц, слюняво сжевывая черный табак сигареты, – в ваших интересах сказать нам всю правду. Всю, понимаете?! Если вы решите утаить хоть самую малость, я прикажу вас расстрелять немедленно, ясно вам?! Идет война, и у нас нет времени разводить антимионию!

– Я ничего не понимаю. Что я должен... В чем я виноват? – тихо спросил Трушницкий, ощущая дрожь во всем теле.

– В чем он должен признаться? – перевел Чучкевич. – Вы ведь спрашивали, – он глянул на Трушницкого, – в чем вам надо признаваться, да?

– Да, да, – быстро ответил Трушницкий, словно бы цепляясь за спасательный круг – за украинскую речь Чучкевича, который сейчас поможет все объяснить этому длинному гестаповцу.

– Ну, это я вам подскажу, – сказал Чучкевич. – Вам трудно самому понять, в какую гнусную игру вас втянул Лебедь. Вы художник, вы о прозе жизни не думаете, вы в эмпиреях, – ласково, теперь уже неторопливо продолжал он. – Он же втянул вас в игру, Трушницкий. Он вам приказал устроить концерт в театре?

– Да.

Чучкевич сказал Дицу по-немецки:

– Можно начинать записывать, с этим будет просто.

Диц вызвал стенографиста, тот устроился в уголке, включив яркую настольную лампу, и Чучкевич придвинул свой стул поближе к ввинченному, металлическому, холодному, **обрекающему** табурету, на котором было приказано сидеть Трушницкому, и колени их соприкоснулись, и Трушницкий захотел, чтобы это касание продолжалось, потому что этот человек был своим.

– Так вот, по поводу концерта, Трушницкий. Лебедь просил обсудить программу с представителями оккупационных властей?

– Нет.

– Не просил, – медленно повторил Чучкевич, дожидаясь, видимо, пока ответ Трушницкого запишет стенографист.

– Но он ведь должен был знать, что программа торжественного концерта обязана быть утвержденной представителями новой власти? Должен ведь, да?

– Да, – медленно, стараясь понять спасительный **смысл** в словах Чучкевича, повторил Трушницкий. – Конечно.

– Лебедь сказал, что назначает вас главным режиссером театра?

– Главным дирижером.

– Что?

– Я говорю – главным дирижером.

– Ну, знаете, разница невелика.

– Да, да, невелика, – быстро согласился Трушницкий.

– А он должен был согласовать этот вопрос с новой властью? Как думаете?

– Должен.

– Он никогда не говорил вам, что надо попросить новую власть назначить немецкого директора вашего хора?

– Нет.

– Вот и получается, что он хотел стать над новой властью, этот Лебедь? Разве нет?

– Я не знаю... Мне кажется...

– Нет, погодите, – мягко перебил его Чучкевич, – как же так – «не знаю»? Такой ответ может показаться неискренним господину Дицу. Вы все прекрасно знаете, Трушницкий. Эмпиреи эмпиреями, но ведь хлеб вы едите земной, а не небесный. Мы ведь существуем только потому, что в мире есть великий фюрер Адольф Гитлер и его нация. А если Лебедь всё брал на себя? Если он всё хотел решать сам? Тогда как? Он ведь всё хотел решать сам – так?

– Он самостоятельный, – согласился Трушницкий, почувствовав, как в нем рождается особое, испуганное подобострастие и желание во всем следовать за Чучкевичем. – Это вы верно отметили: он действительно очень самостоятельный человек.

– А может, заносчивый? – подсказал Чучкевич. – Может быть, точнее сказать – заносчивый?

– Вообще-то это есть в нем. Но по поводу новой власти...

– Что по поводу новой власти? Он хоть раз приветствовал вас так, как все честные люди новой Европы приветствуют друг друга? Он хоть раз, встретив вас, сказал «хайль Гитлер»?

– Говорил... Зачем же клеветать... Это он всегда говорил...

– Но чаще он, видно, говорил «хай живе фюрер Степан Бандера», разве нет?

– Это так, это истинно, он, конечно, тоже говорил «хай живе наш фюрер Степан Бандера»!

– Вот и ответьте мне теперь, – поняв до конца Трушницкого, повторил Чучкевич, – старался Лебедь поставить себя над новой властью? По-моему, ответ может быть только одним – утвердительным. Старался?

– Не то чтоб старался, но вообще это в нем есть... Это отрицать трудно, – ответил Трушницкий, сглотнув тяжелый комок, застрявший в горле. – Я только теперь начинаю понимать, – добавил он, силясь улыбнуться, – сразу-то разве все поймешь? Это вы совершенно правильно заметили: я живу миром музыки, а она отделяет человека от земной суеты, она...

– Погодите, – осторожно прервал его Чучкевич. – Погодите, мой дорогой. Если мы с вами сошлись на том, что вы знали о желании Лебеда стать над новой властью, то должен родиться следующий вопрос: «Кому это выгодно?» Это не может быть выгодно украинцам: они погибнут без новой, немецкой, культурной власти, сгниют заживо, в помоях утонут. Кому же в таком случае выгодно стать **над** властью?

– Кому? – Доверчиво, моля глазами о помощи, Трушницкий повторил вопрос Чучкевича.

– Ну а вы как думаете? Кому?

– Что-то у меня голова идет кругом... И потом я не могу понять: меня арестовали?

– Это зависит от того, что и как вы будете отвечать, Трушницкий, все от вас зависит. Всегда все зависит от человека.

– Но сегодня же концерт должен быть...

Он подумал с ужасом, что никогда он не станет за пюпитр, никогда, никогда, **никогда** не услышит оваций зала, и стало ему до того жаль себя, что Трушницкий сказал:

– Господи, за что все это? В чем моя вина? В чем?

– Корыстной вины за вами нет, – уверенно сказал Чучкевич, – все можно поправить, только надо быть честным, предельно честным. И не только перед господином Дицем или мною, его помощником. Честным надо быть перед самим собой, Трушницкий. Ответьте мне, пожалуйста: кому было выгодно желание Лебеда стать над новой властью? Врагам новой германской власти, разве ж нет?

– Вы думаете, врагам?

– А вы как думаете? Как вы сами об этом думаете?

– Кто бы мог представить себе...

– Вот это дело другого рода... Представить себе этого никто не мог, ни у кого в голове подобное не могло уместиться – тут вы правы, спору нет. Значит, вам кажется, что поступки Лебеда объективно служили врагам новой власти. Так?

– Теперь мне, конечно, так кажется, но раньше я не мог об этом и подумать.

Чучкевич посмотрел на Дица. Тот кивнул головой, Трушницкому дали подписать протокол и увезли в камеру. Там он и потерял сознание, когда пан Ладислав, обнимая детей своих, вошел к нему, подмигнул пустой, кровавой глазницей – глаз был выбит, висел на длинной синей **жилке** – и сказал:

– В Опера, в Опера, хочу в Опера, мой друг!

...К десяти утра Чучкевич «оформил» еще пятерых, которые в картотеке Мельника проходили как «слабаки». «Улики» против Лебеда и Стецко были, таким образом, «неопровержимые».

...Ознакомившись с показаниями арестованных, Лебедь закричал, срывая голос:

– Да вы что, озверели?! Господин Диц, мы ж свои! На кого руку поднимаете?! Это все штучки Мельника! Мы ж очистили Львов, мы все для новой власти делали! Что ж это такое, господин Диц! Это ж навет Мельника, как вы не понимаете?!

Чучкевич поднялся со своего табурета и лениво ударил Лебеда толстой потной ладонью – словно кот.

Диц вскочил из-за стола, рывкнул:

– Чучкевич! Вон отсюда!

Тот какое-то время недоумевал, потом выпрямился, щелкнул каблуками и вышел из камеры. Диц подошел к Лебеду, снял с него наручники, улыбнулся заговорщически и шепнул:

– Неужели вы не понимаете, что так сейчас **надо** ?

– Что **надо** ? – так же тихо спросил его Лебедь. – Что?

– Нужно **страдание** , – сказал Диц. – Разве трудно понять? Кто-кто, а уж вы-то должны были попятить это, **господин** Лебедь. Вам и вашим друзьям нужен терновый венец национального страдания. В серьезную, **самую** серьезную борьбу вы включитесь чуть позже. Вы меня поняли, господин Лебедь?

...Гестапо зафиксировало три самоубийства членов ОУН. Один из самоубийц, учитель Гребенюк, написал в предсмертной записке: «Я был самостийником, а сейчас я понял, что я обычный наймит. Я считал себя патриотом вольной Украины – оказалось, что я обезьяна, таскавшая каштаны из огня для гитлеров. Мне стыдно жить».

...А девятнадцатилетнего legionera «Нахтигаля» Миколу Шаповала, сына крестьянина Степана, повесили во дворе львовской тюрьмы. Было выстроено каре немецких солдат. Поодаль стояли оуновцы из штаба Мельника.

– Предавший идеи рейха украинец Микола Шаповал за измену делу великой Германии приговаривается к смертной казни через повешение. Так будет с каждым украинцем, который мыслью, словом или делом изменит великой Германии, – прочел приговор Диц, глядя на лица мельниковских штабистов.

Те стояли тихие: и в глазах у них был страх и затравленное, рабье почтение...

...Полковник Лахузен, помощник адмирала Канариса, все-таки успел встретить Оберлендера – все берлинские аэродромы контролировались армией, поэтому о сроке прибытия «юнкерсов» из Львова в штабе ОКВ (и соответственно в абвере) узнали незамедлительно.

Поскольку Оберлендер не был арестован, а лишь вызван в партийную канцелярию для объяснений, Лахузен посадил его в свой «майбах» и сказал:

– Гиммлер выиграл. На этом этапе выиграл. Но Розенберг и Канарис настояли, чтобы Бандера был помещен в особый «коттедж» Заксенхаузена: там держат «национальные резервы», с которыми предстоит работа. На определенном этапе и при определенных

обстоятельствах мы вернемся к Бандере. Он будет в ореоле мученика национальной идеи – это впечатляет. Вам следует опередить события: внесите предложение немедленно отвести «Нахтигаль» в генерал-губернаторство. Предложите придать легиону полицейские функции на польских или сербских землях. – Лахузен закурил и, глубоко затянувшись, добавил: – Или на французских. Главное – сохраняйте лицо. Канарис, мне кажется, уже договорился о вашем откомандировании в Прагу по линии моего отдела с продолжением работы в университете. Потом мы снова переведем вас в Россию, как только падет Москва: надо будет налаживать сельское хозяйство в черноземных областях – это ваш конек.

– Обидно, – сказал Оберлендер, и его мягкое, округлое лицо ожесточилось. – Обидно, когда проигрываем в мелочах.

– Всякий проигрыш чреват выигрышем. Относитесь к проигрышу как к обещанию победы. Гитлер уйдет, но дух нации вечен. Он сделает то, что должен был сделать, – доделывать предстоит нам, прагматикам великогерманской идеи.

Оберлендер посмотрел на Лахузена изучающе, скосив глаза, словно конь.

– Не слишком ли рискованно говорите, полковник?

– Я веду машину, радио включено, вас вызвали для головомойки – какой вам смысл доносить? Обсуждая личность Адольфа Гитлера, я думаю лишь о величии Германии, ни о чем другом. И знаете ли, лучше получать тысячу марок за то, что держишь язык за зубами, чем сто – за то, что держишь кирку в руках.

– Разумно, – согласился Оберлендер. – Для себя – не для дела. Значит, идея вассальных славян исчерпала себя?

– Пока еще трудно ответить определенно. Армия поддерживает Розенберга. Возможно, нам удастся внести в один серьезный документ несколько весьма важных абзацев. Мы думаем, что фюрер – на этой стадии – подпишет наш документ: у него нет времени вчитываться в абзацы, поскольку большевики отчаянно дерутся. Абзацы, необходимые на будущее, трудно протаскивать в дни мира; война помогает тем, кто рискует...

...Розенберг отправил во Львов директивы, поручив партийному аппарату гауляйтера ознакомить с ними всех сотрудников министерства восточных территорий; копия была вручена им фюреру, чтобы «отвести всяческие инсинуации по поводу моего так называемого либерализма по отношению к славянам».

Первый документ назывался «Памятка для молодых работников рейхсминистерства» и гласил следующее:

«1. Не ошибается тот, кто не посвятил себя борьбе.

2. Краткие указания в форме приказа – никаких разъяснений: украинцы хотят видеть в нас авторитетных руководителей.

3. Если у тебя и есть основания возмущаться немцем, твоим коллегой, – не делай этого при украинце. Перед украинцем защити и покрой любую ошибку немца.

4. Решающее: занятые нами территории на Украине принадлежат немцам отныне и навечно. Поэтому следует применять крайне жестокие меры по отношению к населению, если этого потребует государственная необходимость.

5. Не терзайся последствиями твоих действий для украинца – думай об интересах Германии.

6. Не вздумай привлекать украинцев к национал-социализму! Не подпускай их к нашим задачам!

7. Бедствия и голод украинцы переносили столетиями. Не вздумай предложить им немецкий стандарт!

8. Никакого сострадания к украинцу! Вы хозяева – отныне и навсегда!»

Следующая директива носила чисто экономический характер, разъясняя, каковы должны быть нормы выдачи продуктов на душу населения.

«Работающий украинец получает по отрывным талонам двести граммов хлеба в день. Ребенок – сто граммов. Работающему – и только ему – в месяц выдаются по карточкам следующие продукты: 60 граммов масла (из расчета 2 грамма в день); 400 граммов муки, 300 граммов крупы, 1,5 килограмма мяса, 250 граммов сахара, 2 коробки спичек, 30 штук папирос».

По поводу промышленных товаров директива гласила следующее:

«Если украинец пожелает купить пальто, костюм или туфли, он обязан написать мотивированное заявление управляющему домом, который должен создать комиссию для обследования заявителя: в какой мере тот нуждается в ботинках или пальто; две пары ботинок или два костюма украинцу иметь запрещено. Заключение об истинном экономическом положении заявителя и о состоянии его обуви и костюма должно быть передано в районную управу, а оттуда – с заключением авторитетного служащего (желательно завизированное немецким руководителем) – пересылается в городскую управу, которая выносит окончательное решение».

Другие предписания исходили уже не от Розенберга, а из различных управлений рейхсминистерства, но все они были завизированы руководителем «украинского отдела» Смаль-Стоцким.

Предписания эти были сугубо конкретны:

«Все библиотеки сразу же закрыть. Университет не открывать. В театр разрешить вход украинцам только по вторникам и пятницам. В кинотеатры, кроме «Глории», «Метро» и «Коперника», украинцам вход запрещен. Район бывших Красноармейских улиц, где размещены офицеры вермахта и СС, для украинцев закрыт. За нарушение расстрел на месте. Гетто для тех евреев, которые будут обнаружены после **акций**, определено в районе Подзамче. За нарушение светомаскировки расстрел. За появление на улицах после 22.00 и до 6.00 расстрел (пропуска и разрешения на перемещения по району получать на улице Чернецкого, в бывшем здании Воеводства). Всех душевнобольных в клиниках уничтожить как дармоедов. За укрывание украинских, русских коммунистов и евреев расстрел. Для вновь открываемых врачебных кабинетов, принадлежащих собственникам, установить расценки, превышать которые не разрешено: операция по удалению аппендикса не должна стоить больше 750 рублей; удаление гланд – не более 600 рублей; удаление паховой грыжи – не дороже 1500 рублей. Собственникам, открывающим аптеки, запрещено продавать лекарства по ценам выше, чем: порошок от головной боли – 13 рублей, таблетку красного стрептоцида – 25 рублей, кальцекс и аспирин – не дороже 10 рублей за один порошок. Целую упаковку (десять порошков) украинцам продавать запрещено. Разрешить украинцам, проверенным по линии службы безопасности, открыть частные лавки и магазины. Обязать владельцев лавок и магазинов вывесить объявления на немецком и украинском языках. Обязать владельцев лавок и магазинов поместить в красном углу портрет великого фюрера германской нации и новой Европы Адольфа Гитлера».

...Прочитав эти директивы, Штирлиц какое-то время сидел оцепенев. Он еще раз посмотрел подпись Смаль-Стоцкого, и брезгливая, дергающаяся гримаса появилась на его лице.

Сделав фотокопии, чтобы передать их новому своему связнику для отправки в Центр, он спрятал документы в сейф и поехал к Дицу. Он ехал по городу, облик которого за несколько дней стал иным. Он видел, как немецкие солдаты срывали таблички с названиями улиц: площадь Рынка стала Кракауэрштрассе, улица Абрагамовичей сделалась Кляйнштрассе, Пидвальна – Ам Грабен. Штирлиц ехал медленно, яростно сжимая руль, и думал о том, что сейчас надо держаться, как никогда раньше, потому что, прочитав документы Розенберга, он еще раз убедился в обреченности гитлеризма – вопрос времени, и только. А то, что первыми прольют кровь и погибнут лучшие, те, что с самого начала принимают бой со злом, – что ж, от этого не уйти.

Штирлиц рассуждал сейчас спокойно, впервые за последние дни спокойно. Он рассуждал о том, почему нацисты решили сделать ставку на мелких лавочников – не только в рейхе, но и повсюду, куда они приходили. Это только кажется, думал Штирлиц, что собственность делает человека свободным. Нет, собственность делает человека своим рабом, а разве рабы могут быть проводниками нового? Пушкин и Кант были богаче тебя, Геринг, с твоими концернами, и с твоими «народными заводами», и с твоими «народными германскими банками», потому что они были свободны в своей мысли и им было о чем мыслить, а тебе не о чем мыслить – тебе надо принимать парады люфтваффе, выслушивать доклады адъютантов, давать санкции на расстрелы, читать победные сводки, и все это подминает тебя, а в душе у тебя нет ничего, ибо ты лишен страсти познавать. Тебя ведь не интересует, есть ли конец у вселенной, а если нет, то как это уместить в разуме; тебя не интересует, что такое людская память, как она живет в веках и кто хранит ее, эту память. Глупые наци, вам не понять, что мечты детей – это будущее общества. О чем мечтают дети? Вы думали об этом в своих рейхсканцеляриях? Разве вы помните свои детские мечты? Разве вы умеете узнавать мечты своих детей? Ведь нормальные дети мечтают стать пилотами или музыкантами, хирургами или шоферами, маршалами или актерами, но никто из них не мечтает стать лавочником. Дети хотят иметь гоночный автомобиль, но не таксомоторный парк. Лавочник – раб достигнутого. Для него нет иных идеалов, кроме как удержать, сохранить, оставить все, как есть. А это невозможно в наш век – оставить все, как есть. Миру сообщена скорость, новая, особая скорость, и ее нельзя погасить, и мелкий лавочник, раб вещи, ее владелец и собственник, смешон в мире новых скоростей, которые целенаправленны, то есть идейны.

Мир определяют причина и случай. Но если причина – это свидетельство разумной необходимости, следствие развития разума, то случай чаще всего есть выражение хаоса.

Если бы ты, фюрер, служил идее серьезной, реальной, а не химерической, ты бы ставил на иных и на иное. А ты случаен, фюрер, от начала и до конца случаен, хотя кажешься сейчас таким сильным и несокрушимым, и так все орут в твою честь «хайль» и так благоговееют перед тобой. Но ведь важно **быть**, а не казаться, фюрер. Надейся на лавочника, фюрер, надейся! Я очень прошу тебя, считай его своей опорой. Думай, фюрер, что благополучие нескольких тысяч в многомиллионном море неблагополучия – та реальная сила, которая будет служить тебе опорой. Тысяча не может быть опорой, если дело касается миллионов. И эти миллионы должны узнать, что им приготовил твой Розенберг. И они узнают об этом. Я уж постараюсь.

Штирлиц увидел, как в тюрьму заехали три машины, три **крытые** машины. Штирлиц остановил свой «вандерер» у проходной, показал жетон и вошел в тюремный двор. Трупы, раздетые донага, с двумя огнестрельными ранами – на груди и голове – лежали возле стены. Деловитые эсэсовцы ходили среди трупов, переворачивали тела и склонялись над лицами. Слышался быстрый перестук металла: эсэсовцы выбивали молотками золотые коронки.

Штирлиц почувствовал дурноту, отвернулся, пошел в умывальню, ополоснул лицо студеной, с голубинкой водой и, деревянно ступая, вышел из тюрьмы. Он долго сидел в машине, не в силах повернуть ключ зажигания. А потом он приказал себе ехать к Мельнику,

говорить с Дицем, писать рапорт Шелленбергу – надо было работать, чтобы все знать и все помнить. Это очень плохое качество – месть, но если за все это не придет возмездие, тогда мир кончится, и дети будут рождаться четвероногими, и исчезнет музыка, и не станет солнца, и будет вечная, черная, беззвездная ночь. Память хранят люди и выражают ее борьбою, когда иначе поступать нельзя, ибо во всем, всегда и для каждого есть предел.

Берлин – Львов
1973